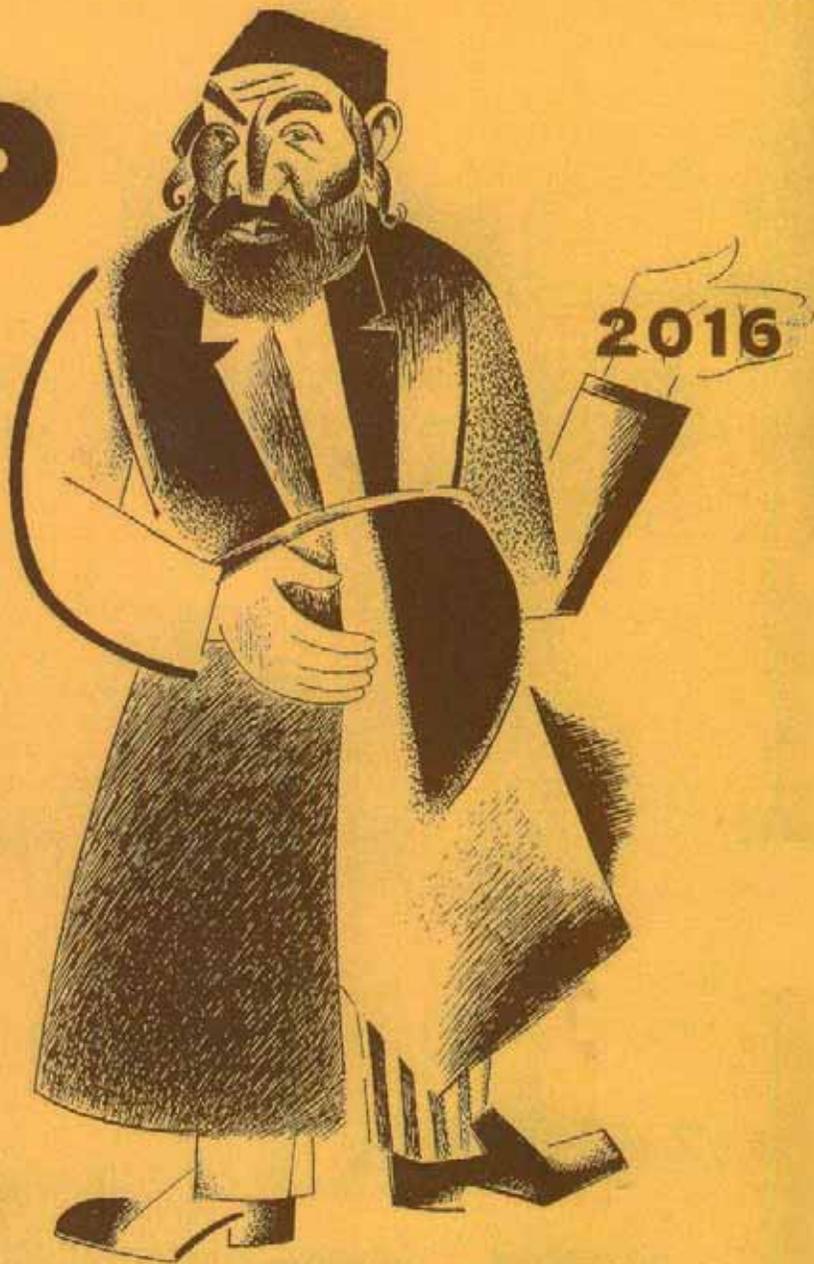


20

ДО И ПОСЛЕ



литературный альманах

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

Д и П

№ 20

Берлин 2016

Редакционная коллегия:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ,
КАРА АБРАГАМ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ.

Компьютерная вёрстка
и оформление
Иосифа Малкиэля

Альманах иллюстрирован
работами
М. И. Эпштейна
(см. статью на стр 260)

ISBN 978-3-926652-94-2

Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются в Берлине впервые.

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка на Альманах
обязательна.

Альманах отпечатан:
Druckerei CONRAD CmbH
Breitenbachstrasse, 34 – 36,
13509 Berlin, Tel.40 20 53-0



Der Klub der Literatur und Kunst bedankt
sich ganz herzlich beim Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin für die
Unterstützung bei der Herausgabe des
Literarischen Almanachs «Do i pośle» № 20

Берлин, 2016

ДО И ПОСЛЕ

**Литературно-художественный
альманах №20**

Берлин, 2016

«TEMPUS FUGIT» – БЕГ ВРЕМЕНИ

Миниатюра предисловия

Дорогие Читатели!

Известно, что Книга начинается с обложки. Ежегодный Альманах «До и после», который вы держите в руках, имеет на обложке номер двадцать.

Кажется, что совсем недавно собрались четырнадцать пожилых эмигрантов из бывшего Советского Союза и решили издать литературно-художественный альманах о жизни «до» эмиграции и «после» неё. Совсем недавно... Недавно?

Невольно вспоминается четверостишие нашей современницы, большого Поэта, Анны Андреевны Ахматовой:

*«Что войны, что чума?
Конец им виден скорый,
их приговор почти произнесён.
Но кто нас защитит от ужаса, который
был бегом времени когда-то наречён?»*

Нет защиты от бега времени, никому его не остановить... Но есть возможность удержать память о событиях, которые наполняют и овеществляют время. Именно события являют собой суть времени и оставляют следы его бега.

Думается, что литература и искусство, благодаря многообразию и красочности творческих форм и приёмов, особенно ярко запечатлевают время и его бег. Они не только сохраняют и оживляют память прошлого, «останавливают мгновенья» настоящего, но и дерзают провидеть будущее.

Почти все «зачинатели» и многие из тех, кто впоследствии вошёл в авторский состав Альманахов, чудом пережили страш-

ные события, начиная с Великой Отечественной Войны. Но и родившиеся после неё хлебнули горького послевоенного варева из сталинского культа, антисемитизма, засилья КГБ, нищенского унижительного существования, коммуналки, очередей, жизни за Железным занавесом, холодной войны, затем войны в Афганистане, распада СССР, обновлённого антисемитизма, бегства ради спасения будущего детей и внуков... В памяти старших сохранились к тому же судьбы их предков, лагеря... Не стоит продолжать... Мы – поколение, живущее «на сломе эпох», и память наша – мост между памятью прежних и будущих поколений. Поэтому попытаться творчески выразить эту «связь времён» – не баловство, а осознанная обязанность.

Первые номера Альманахов были небольшими по объёму, но постепенно набирали силу. Увеличивалось количество разделов, расширялся круг тем. Одной из ведущих стала еврейская тема, знакомящая читателей, в частности, с наследием еврейских поэтов в переводах авторов Альманаха, а также с творчеством малоизвестных широкой публике еврейских художников. Начиная с восьмого номера Альманаха, их талантливо-неожиданные работы украшают его обложки, делая каждую своеобразной, неповторной.

Росло мастерство авторов, которые объединились в «Клуб литературы и искусства». Еженедельное творческое общение в нём приносит свои плоды в виде персональных книг членов клуба.

Альманах «До и после» востребован крупными библиотеками не только в Германии, но и за её пределами, получил известность, благодаря чему в нём появились публикации некоторых значительных литераторов.

К сожалению, многих авторов время неумолимо вырывает из жизни, но появляются новые, которыми можно гордиться. За двадцать лет в Альманахе были опубликованы произведения более двухсот авторов.

Итак, перед вами, дорогие читатели, двадцатый – юбилейный номер Альманаха, в соответствующей случаю обложке с фоном цвета старого золота, словно торжественный металл слегка тронут патиной времени.





**Леонид
Бергичевский**

ОТ АЗА
И ДО ИЖИЦЫ

От аза и до ижицы,
вовсю, алфавит
на скорости движется,
куда-то спешит.

Врываться приученный
в слова, и в строку,
по звуку, по случаю,
подобно звонку.

Им тут же разбужена,
танцует строка
ритмическим кружевом,
по струнам витка.

Становится сразу же
понятен сюжет,
строкой взбудораженный
и ею согрет.

Страницами книжицы,
как опытный гид,
от аза и до ижицы
спешит алфавит.

ОДНО СЛОВО

Заискрилось в сумбуре слов
одно заманчивое слово,
оно ответ держать готово
за множество ритмичных стрóf.

Оно не прячется в строке,
пусть даже набрано петитом,
в контекст повествованья влито,
оно всегда на языке.

Когда слипаются глаза
и мысли тонут в сновиденье,
не возникает искушенья
ослабить слову тормоза.

Но главное, найти его,
не мчась, как за пером жар-птицы,
лишь взглядом проглотив страницы,
в сюжет вгрызаясь глубоко.

СЛОВА. СЛОВА

Слова всегда конкретны и упрямы, –
они несут собою мыслей груз.
В них есть зачин комедии и драмы,
чтоб сразу накатить слезу и грусть,

иль распаляясь в долгом монологе,
вдруг задохнутся, уронивши смысл.
Так путник, потерявший нить дороги,
забыл, что путь извилист и тернист.

В них часто зашифровано желанье,
иль откровенную являют месть.
Из молчуна их тащат на аркане,
затем смакуют, как деликатес.

Порой они, как гром или наркотик,
и в горле собираются в комок.

Они смолкают на тяжёлой ноте,
теряя равновесье, как волчок.

Порою, слово подменяет взгляды, –
исчерпан их запас для строгих строф.
Финал беседы так и не угадан, –
на это не хватает главных слов.

ПОЭТЫ

Поэтов невозможно перечесть,
являли их народы и эпохи,
Как дань земле из глубины небес,
как зарева всемирного сполохи.

Гомер, Овидий, Данте и Шекспир,
Вийон, Саади, Мандельштам и Пушкин, –
всех факелов огромный, яркий мир, –
на книжной полке Гениев пирушка.

Прав был когда-то Туллий Цицерон,
что невозможно стать Поэтом всуе.
В наследство получают деньги, трон,
но Музу никому не адресуют.

ГОЛОС

Как возник он? Откуда пришёл и куда,
может, с неба свалился он, словно звезда.

Но остался его несмываемый след, –
Негасим, не тускнеет он, как самоцвет.
В голове он, во вздохе и в каждой строке,
шепчет кроной деревьев, воркует в реке.
А порою, настойчив и вроде бы, нем,
постоянно он с мыслями входит в тандем.
Он всегда наготове, – в прогулке, во сне,
и средь общего рынка он, и в тишине.

Это Памяти голос и голос Судьбы,
перед ним все иные ничтожно слабы.

Он замрёт, когда жизни закончится нить,
но потомкам он будет волнение дарить.

ТАРАНТАС

Собран здесь комплект гримас, –
уморительные вздохи.
Их бродячий тарантас
сыплет зрителям по крохе –
грусть и смех – они, пестро
разбивают шуткой грёзы,
а задумчивый Пьеро
начинает с ариозо.

Ироничный Арлекин
мысли переводит в хохот,
Под трубу и тамбурин
расплясались скоморохи.
Шляпу полнят медяки.
Коломбина босонога,
развалились башмаки, –
подчеркнули вид убогий.

Темень в парке. Бубенец
кликнул всех под звон мелодий.
Представлению конец, –
разбрелось простонародье.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Он ясен, чётко без загадок,
без маскарада, без намёка.
Он вроде рядом, но далёк он, –
запретный плод, –
он кисло-сладок!

Вот, кажется, прильнёшь губами,
но ускользнёт он незаметно.
Плывёт в обнимку с облаками
и недоступен, как комета.

В крови он бродит аллергеном,
настойчиво несёт желанья.
Но постоянно, откровенно
о том напомнит, что за гранью.

И нет с ним никакого слада,
хотя ночлег его в сознанье.
Прописан там, как завещанье, –
запретный плод, –
 он кисло-сладок!

Я ВЫШЕЛ В НОЧЬ...

Я вышел в ночь покоем насладиться,
там ветер спит, не шелохнётся лист.
Там дня и ночи пролегла граница.
по небу проплывает лунный диск.

Там нет нужды заботам возвращаться,
и в неизвестность канули мечты.
Среди ночных застывших декораций
сохранена лишь мера высоты.

Ждёт с нетерпеньем духота квартиры,
в ней суету сопровождает вздох.
Там шум висит на шее чёрной гирей,
и, кажется, покой навек заглох.

ЕВРЕЙСКИЕ ШТЕТЛАХ

Еврейские штетлах,
 от вас не осталось следа.
Вслепую вы бродите
 где-то в крови у потомков.
Но память слабеет,
 она ведь болезненно-ломка,
И может любого
 легко подвести иногда.

Негаданный жест
или фраза напомнят о вас.
Улыбка скользнёт
по губам виноватой волною.
И кажется, вновь
возвращается время былое,
которое нам
генетически вас воссоздаст.

[13]

Еврейские штетлах,
и только прищуренный взгляд
замечит, как катится
робко слеза по жилету.
И памятью предков,
дыханием горьким согретый
вздохнёшь, и себя возвратишь
на столетье назад.

НОЧНЫЕ СТИХИ

После вечера, как положено,
ночь упрямо в окно глядит,
чёрной, плоской, безмолвной рожею, –
это ночи надёжный щит.

Но однажды, под настроение,
ночь к окну пригнала луну,
на стекле отразилась тень её, –
ведь она прильнула к окну.

Подмигнула неба жемчужина
с хитрым присвистом колдовства,
заговорщицки и простужено
полетели в меня слова:

«Распрощайся со сновидением,
в нём достаточно чепухи,
я дарю тебе вдохновение, –
сочини ночные стихи».

Испытал я луны воздействие,
понял, – ах, как она мудра,
подчинился эпикурейству* я,
и кропал стихи до утра.

* склонность к удовольствиям.

[14]

* * *

Моей жене

Осень явилась к сроку. День угасает к ночи.
Серая мгла тумана небо заволокла.
Сердцебиенья ритм мерно дыханье точит,
и безуспешно ветер рвётся в квадрат стекла.

Вечер в глазах играет нашу первую осень.
Там мы вдыхали, как воздух, шёпотные слова.
Не отмахнуться нынче, воспоминанье носит,
ведь душа не стареет, хоть седа голова.

Как это получилось, что пролетели годы,
скорость заняв у ветра, и превратившись в прах?
Осень! Всё также осень, сердцу неся в угоду,
нам оставляет привкус юности на губах.

ВИЗАВИ

Полузакрытых глаз загадка
замыслила немой упрёк.
Рассматривает, но украдкой,
кому свой преподать урок.

Глазницы распахнули жерла,
зрачки черны, как два ядра.
И визави готова жертва,
и глаз реакция быстра.

Но кто кого осилит в схватке,
чей убедительней азарт?
И тает замысел загадки,
как льдинка летом, на глазах.

И нервы у кого надёжней,
кто стоек в перепалке глаз, –
заёрзает от сыпи кожной,
кого упорство не предаст?

ЯНВАРИ

Обычно, январь
снежат, свистят и мокнут...
Ночные фонари
подмигивают окнам.

Зима всегда щедра,
морозом удостоит.
И неба колера
швыряет на обои.

Приносит день возню:
удачу, шум, досаду,
пустую болтовню
и безразличье взгляда.

За всё благодари, –
за радость, за напасти...
Ночные фонари
на улице погасли.

* * *

Жду от мгновенья я всегда отдачу.
Мгновение – не рядовой пустяк.
Мою судьбу оно порой дурачит,
процеживая мысли, как дуршлаг.

Мгновенье – жизни крохотный отрезок
пред нею ставит множество задач.
Оно не взмах оконных занавесок,
хотя швыряет время, словно мяч.

Пусть часто выглядит оно надменно,
но как его не принимать всерьёз?

Укажет на коварство и измену,
иль одурманит, словно бы наркоз.

* * *

Не получится – назад,
сзади долгая дорога,
а осталось ведь немного, –
потускнел уже закат.

В мыслях я возобновил
детство, юность, даже зрелость,
почему-то захотелось
возвратить свой прежний пыл.

Растворилось и ушло,
вновь не справить новоселье,
и теперь, уж на похмелье, –
время в старость занесло.

Правда, память-акробат
крутит, вертит, но впустую,
хоть душа еще плутует, –
не получится – назад.

МОИ ГЛАЗА

Ничем не удивить мои глаза,
я близорук, но истина маячит.
Я вижу тех, кто слов недосказал,
и тех, кто глубоко обиду прячет.

Для глаз моих, и правда – налицо,
и ложь, которой часто я проколот,
Тех, кто бросает льстивое словцо,
и тех, кто притворяется, что молод.

В моих глазах настороже сигнал,
он мне тогда туманит роговицу,

когда несправедливости запал
взрывается, и медленно дымится.

Пусть я порою жму на тормоза,
чтоб участить волнение в диалоге,
тогда предательски мои глаза
рассеяны, прищурены, но строги.

[17]

ВЕСЁЛОЕ ЗЕРКАЛО (сонет)

Забавно и немного стыдно,
когда я в зеркало гляжу,
и мысль воспроизвожу,
хотя и так – всё очевидно.

Реально то, что я ношу:
тоску, морщины, взгляд ехидный, –
весь вид, признаться, незавидный,
он шарж, подобный муляжу.

А может, зеркало – мой враг,
чтоб, глядя, я попал впросак,
иль, вообще, оно кривое,

а тот, кто в зеркале, – остряк?
Ему я показал кулак,
но сердце, не на шутку, ноет.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

[18]

ДиП / 2016

Деревня, как десятки других – вдали от районного центра. Население женское, да несколько мужиков. И те, либо слабые, либо пьянчуги. В центре – автобусная станция, посреди – клумба, зажатая скамьями с памятником «всесоюзному старосте» Калинину, имя которого носит деревня. Здесь, по вечерам собираются бабы посплетничать и поделиться новостями. Выделяется Дашка. Высокая, хромая, лет тридцати, всё обо всех знающая, лгунья и фантазёрка. Она и принесла новость, захлестнувшую любопытством деревню.

– Знаете, девчата, – выпалила она одним дыханием, – Катька с курорта мужика привезла.

– Мужика? Врёшь, – ответила Галка, рябая, тощая девка, – с чего, Дашка, взяла это? Мужика...

– Вот вам крест, – хрюкнула Дашка. – Видела издалека.

– Катька серьёзная баба, не гулёна, на первого не бросится, вот те раз? Не верится, – хором ответили бабы. – С чего бы она?

– Ты, Дашка, крестом не дави, грешно, – вступила молчаливая Груня. Поговорили ещё о всяком и разошлись.

Но любопытство раздирало. Устроили дежурство в кустах, у Катиного дома. Наконец, ближе к двенадцати, увидели мужика. Замерли. Он вышел, явно по малой нужде. Точно – мужик, делал дело стоя. Большого разглядеть не смогли, – темно и прохладно.

Катя – известна на деревне, заведовала магазином и складом при нём. Две недели её отсутствия были заметны. Магазин почти пустовал. Стёпка, подмена Кати, лентяйка, всего на час приходила.

Утром Катя открыла магазин, но никто не спешил с покупками. Переглядывались, не зная с чего начать.

– А, правда, Катя, что ты мужика себе привезла? – решила бойкая Дашка. – Не томи.

– Правда, я ещё в соку, организм требует, что плохого? – ответила Катя с вызовом.

– Не сердчай, – согласились бабы...

Купили крупы, материи, спичек и разошлись удручёнными.

Всю неделю мужик будоражил волнение баб. Катя не выводила его «на люди».

За время отсутствия её на работе товары раскупили. Вот-вот привезут новые. Катя решила подключить к разгрузке своего мужика.

Он оказался статным, широкоплечим, белобрысым с красным лицом да бычьей шеей. Легко справился с мешками. Умылся, Катя поливала на его обнажённый торс воду из ведра. Зевак собралось много, рас-

сматривали откровенно. Катя даже отгоняла любопытных:

–Что, мужика не видели? – возмущалась она.

–Такого, давно к нам не заносило, – залилась смехом Дашка. – А тебе жаль? Не сманим.

Мужика звали Петром. Катя подхватила его под руку, и они направились домой. По дороге, среди фраз, разобрала: «Стол бы накрыла за удачу, а то – жмётся».

И потекла у Кати новая жизнь: с мужиком да с завистью.

Любил Петро крепко выпить и хорошо закусить. Да и отработывал хлеб-соль отменно.

Катя раздобрела, косметикой стала пользоваться.

Бабы не унимались, прислушивались, приглядывались к Катиному счастью. К ахам и охам, к залиvistому смеху, к репликам: «У-у, силище».

Уж пятнадцать лет, как муж Кати – Василий сгинул, ушёл, сбежал с городской кралей в неизвестном направлении. Оставил пятилетнюю дочку Кате, и след его простыл. Казалось, Катя хочет наверстать годы бабьего одиночества, торопясь, без оглядки, безрассудно. Не замечая возраста и времени, здоровья, смены погоды и настроения. Ошалело мчит, и всё тут.

Забыв о дочери, что была уже замужем и жила, по месту службы мужа, на Дальнем Востоке.

А Петро? Режим дня определился. Спал допоздна, затем опохмелялся после вечернего самогона и обжорства, вроде готовился к ночной смене – любви в Катино удовольствие. Окончилось лето, осень летела дождями и туманами, скука захлёстывала Петра. Не с кем и словом переброситься. За домом был сарай. В нём похрюкивал огромный кабан, по кличке Колюша.

К нему хозяйки приводили свиней на расплод. Таковую он службу нёс. Ему-то Петро и докладывал о житье-бытье, кормил и поил его, чистил сарай. Кабан слушал важно, вроде соглашался. Ну, словом, сдружился Петро с Колюшей и даже посреди ночи, выходя по нужде, будил кабана, исповедовался.

Как-то, когда Петро спал на сеновале, пришла к Кате сестра её, Настя. Оглянувшись, тихо, никого, и говорит:

– Катя, пришла я с просьбой, одолжи мне Петра на ночь. Не за себя прошу, за дочь, Марию, тридцатник ей скоро, а мужика не вкушала. Помру я, – одна останется, а так может дитя случится. Будет по жизни не одинокой. Знаешь ведь, никого в округе нет. А Мария, девка неплохая на лицо и фигуру. Сделай по-сестрински доброе дело. Я заплачу, сколько назначишь. Чего, жалко? «Не мыло у него, – не смылится». Будет это наша, бабья тайна.

Катя не перебивала, только кровь к голове прилила, да губы запеклись. Наконец, нашлась:

– Знаешь, Настёна. У нас с Петром – любовь. Забудь, что сказала. И я забуду. Хватит. Иди себе, с Богом!

Петро невольно слушал беседу сестёр, и думал: «Ну, я прямо, как Колюша, только на своих двух и рыло не пятаком. А так – всё то же» Сошёл вниз. Затаился.

Прошла осень. Зима в деревне холодная, скользкая. Снега прибавляет три месяца, то серого, то голубого. Петро ежедневно чистил тропинку к дому, к сараю да к отхожему месту. Скука терзала душу. Даже птицы молчали, хохлились на морозе. Колюша храпел днями напролёт, молодые свиньи не привлекали, косился на них враждебно, загоняя в угол.

Петро помогал вести учёт на складе. И всякий раз получались излишки. То мешок гречихи притащит, то муки, то соли. Катя не могла нарадоваться. Хлопала Петра по лбу, приговаривая: – «Ленинская моя головушка», вот, умница.

И жизнь плыла своим темпом, своим течением, не убыстряясь, не сокращаясь.

Катя сердилась на Колюшу. Соседки жаловались, что не несёт он свою службу – не реагирует на свиней. И Кате накладно стало. Не появлялись поросята, и ей сало перестали носить в благодарность за Колюшины труды. Вот и надумала она заколоть его, и вырастить нового кабана, работающего и охочего до свиней. Предложила она Петру заколоть Колюшу, мяса и сала будет впрок. Петро категорически отказался. Мол, Колюша, его друг, а друзей не колют. Возмущённая Катя призвала мужиков из соседней деревни, и сделали они своё дело. С того и началось. Стали Катя и Петро холоднее друг к другу. Даже в пылу гнева обозвала его дармоедом.

Жизнь пошла скучная, с безразличными взглядами. Спал Петро только на сеновале, пил мало, ел неохотно, особенно при Кате.

Как-то, хватив стакан самогона в одиночестве, вышел ночью во двор, взглянул на небо. Одна из туч образовала знакомый силуэт. Взвыл Петро, приговаривая:

– Тебе, Колюша, хорошо, ты уже там, а мне какво? – И ясно услышал: «Смени хозяйку, не ценит тебя Катька, всё пойдёт по-иному», – и туча поплыла дальше.

Вернулся Петро на сеновал, мысли собрались в одну, сверлили: «Может и взаправду уйти, но куда?» Встал перед ним тот разговор Кати с сестрой.

С утра собрал свой небольшой скарб. Вошла Катя: «Ты куда, ни свет, ни заря?»

– Не знаю, – неопределённо ответил он.

– Брось, повздорили и хватит. Раздевайся, чего уж там, – побелела Катя.

– Не вздорили, всё само собой разрешилось. Надоел я тебе, – спокойно произнёс Петро, спасибо за ласку, за хлеб-соль да самогон.

Впервые за полгода вышел на дорогу. Пошёл наобум. Интуиция привела к Насте. Пригласили в дом. Вышла Мария, молодая, ладная, спокойная. Поставили на стол миску с варениками и стакан. Пить не стал. «Бросил я, новую жизнь хочу» – смущаясь, пролепетал Петро.

– И правильно, а где – полюбопытствовала Настя. – Если не тайна?

– Какая тайна, прямо здесь, коль не прогоните, человек я работающий, староват, правда, под сорок, чего скрывать. Дочку твою буду беречь и всё, что скажете.

– Добре, оставайся, не моргнув глазом, согласилась Настя.

– А как она, дочка? Что молчишь, Мария, или сказать нечего? – спросил, улыбнувшись, Петро.

– Как решите, я послушная, – покраснела Мария.

И пошла для Петра другая жизнь, – размеренная да правильная.

Анжелла Погольская



ВЫХОДНОЙ

Рано проснувшись, женщина спрятала руки под одеяло. В небольшой, продуваемой ветрами квартирке на последнем этаже, было холодно, вероятно холодней, чем на улице. Услышала, как где-то хлопнула дверь, щёлкнули открывающиеся жалюзи. Рассвет только начинался, но на их небольшой старинной улице понемногу просыпались расплывшиеся в последнее время кафе. Это была не улица, а Бехтеревский переулок, в тупике которого за высокой, красной оградой находился Свято-Покровский женский монастырь, основанный в конце девятнадцатого века Великой княгиней из Дома Романовых – Александрой Петровной. При монастыре, настоятельницей которого стала принявшая постриг Великая княгиня, ею была создана и лечебница для неимущих, в которой был в то время единственный в городе рентгеновский кабинет. В те далёкие годы медицинское обслуживание входило в обязанности монахинь и послушниц. Сама княгиня ассистировала хирургу на операциях. После революции больница сменила много хозяев, ныне принадлежала железнодорожному ведомству.

Звон колоколов оторвал женщину от раздумий. Звонили к «Заутрене» – монастырь оставался действующим по сей день.

Воскресенье, совсем рано. Женщина встала, выпила стакан отстоянной воды, оделась и вышла из дома. По дороге, в кафе, которое открывалось раньше других, купила свежеспечённые булочки и пошла к монастырю. Она не переставала удивляться переменам, произошедшим с городом. Он стал стихийным и отчаянным местом, из которого улетали, уезжали навсегда, которым в последние годы овладели люди совсем с иными лицами. Рекламные вывески, отреставрированные дома. Новоявленные дворцы, по соседству – захудалые, старые постройки,

в одной из которых проживала и она. Блеск и нищета. Всё рядом. Её переулкa, к счастью, перемены почти не коснулись. А стоило пройти через ворота монастыря, и вовсе открывался иной мир, словно попал на сто лет назад.

Она зашла в монастырь, как всегда заходила сюда по дороге на работу. Послушала молитву и, не дождавшись окончания службы, вышла. Много лет проработав в больнице, не смогла с нею расстаться и поныне. Начинала когда-то нянечкой в гинекологическом отделении. Потом, закончив медицинское училище, стала медсестрой в кожном, из которого вышла на пенсию, мизерную по нынешним временам. Её тянуло в эти старые, но крепкие стены, где в палатах по шесть-восемь коек, а при входе в каждую – висит распятие. Зайдя в отделение, надела белый халат и приступила к работе. Заправила больным постели, кому-то помогла с утренним туалетом. Разнесла подоспевший завтрак. Одиноким старикам, которых никто не навещал, добавила по купленной сладкой булочке. Ведь ей так хорошо было знакомо одиночество.

Сестринскую работу ей давно не доверяли, но она и этой была рада. За работу платили очень мало, но пробел этот восполнялся человеческими отношениями. Женщина совсем не могла находиться дома, впадая в панику от клетки из четырёх стен. До чего же схожи ощущения одиноких людей, которым часто нет лечения. Своё одиночество она старалась лечить состраданием к страждущим, внушая не только им, но и себе жизнелюбие, без которого, как говорят, до старости не дожить.

После завтрака, ещё до врачебного обхода, снова по палатам, с «болтушкой» – лечебным средством, которое пользовали почти все кожные больные.

В отделении устойчивый кислый запах, напоминающий о недомогании, об извечной человеческой слабости перед возрастом, болезнью. Он расплзался исподтишка, словно вторгавшийся противник. Полз из щелей, из шкафчиков с лекарствами.

После врачебного обхода, медсёстры приступают к лечению больных. А она, разведя в ведре хлорку, моет полы в палатах, давно избавившись от чувства брезгливости к откровенной немощи, запаху гниющей плоти, усугублённым кожными заболеваниями.

Моет полы, моет. Кому – доброе слово, кому – одеяло поправит. Кого в туалет отведёт. Разные больные, есть среди них и добрые, и равнодушные. Встречаются злобные... Большая редкость, если болезнь оставляет человека добрым. Просветление не каждому посылается. И не здоровым их судить.

Она помнила лица многих, прошедших через это отделение. Стоило закрыть глаза, они вставали перед нею. Кто с улыбкой, кто с мольбой,

кто – в виде ухмыляющейся маски. Иногда среди них были лица тех, которые после выписки из больницы умерли.

Палата за палатой. Наконец – последняя. Здесь самые старенькие. Почти все спят. Только один старик бодрствует, мечтательно улыбаясь. Его лицо приобретает виноватое выражение. Он сидит на стуле у окна, понимает, что нужно встать, освободить пространство для уборки. Приподнимается, хватается за поломанную спинку стула, колени его слабеют. Она помогает ему добраться до кровати. Он садится как-то боком, подтягивая к себе колени и грустно улыбнувшись, отворачивается лицом к стенке.

– Ничего, милый. Ничего, – успокаивает она. – Приберусь, крепкого чайку принесу. А там, и обед скоро.

Закончив с палатами, «драит» пол в коридоре. Потом бегом в лабораторию – анализы отнести.

Во время обеда медсёстры, закрывшись в манипуляционной, позвали и её. Наскоро проглотив суп, она торопится к пожилой больной, которая немного «не в себе».

– Беги, – смеются медсёстры. – Что ты всё возишься с ними? Благодарности ждёшь? Тебе что, больше всех надо? – Но женщина заставляет себя не расслабляться, хоть и устала немного.

Женщина, которая «не в себе», выскочив в коридор, хохочет и приглашает всех на свой день рождения, который на самом деле только в конце года. Смех у неё рыхлый, словно кашель, выходящий из самой глубины живота. Слова прорываются тревожной скороговоркой.

Наконец-то, удаётся её успокоить, пообещав непременно отметить день рождения после ужина.

«Тихий» час проходит без особых происшествий, если не считать что кто-то разлил в палате суп, кто-то неаккуратно сходил в туалет. Ну, а она-то тут зачем? Раз-другой взмах тряпкой, и опять всё чисто, блестит.

После сна сёстры суют всем градусники, раздают таблетки. А она опять со своей «болтушкой». Только теперь сама уж смажет кому-то ногу, кому-то спину или ещё что-то. Не хочется снова бегать по отделению с тряпкой.

С ужином всё просто. Рисовая каша почти вся остаётся на тарелках. Нужно только спустить их в пищевой блок.

Стемнело. Можно и домой. Но женщина, что «не в себе», караулит, напоминая о дне рождения.

«Ладно, ладно. Сейчас». Из палат в коридор «высыпают» те, которые «на ходу». Кто – в пижаме или ночной рубашке, кто – набросив поверх одеяло.

Взявшись за руки, начинают водить хоровод вокруг «именинницы»:

– Как на Людины именины... А, ты Татьяна? Как на Танины именины... Испекли мы ка-ра-вай... – та, что «не в себе», приседает вместе со всеми, вместе со всеми приподнимается на цыпочки. – Вот та-а-кой вы-ши-ны-ы, вот та-а-кой ши-ри-ны-ы... Ка-ра-вай! Ка-ра-вай! Ка-во любишь – вы-би-рай!

Из круга выскакивает вполне ещё бодренький мужчина:

– Я-лю-блю ка-неч-но всех... – тут стало страшно, что выберет не ту. Но выбрал правильно. – Но вот эту... Бо-льше всех!

Все засмеялись. Из нескольких одеял больные сооружают нечто похожее на шатёр. «Именинница», захлёбываясь от восторга, хлопает в ладоши и кричит так громко, что «звенит» в ушах. Потом требует подарок, свой законный подарок. Прерывисто дыша, с гримасой подозрения, следит за всеми. Пообещали, что завтра непременно получит его.

Уже поздно, время для сна. Медсёстры разгоняют пациентов по палатам. У них много работы: врачебные назначения на завтра, таблетки рассортировать, результаты анализов, не перепутав, разложить в истории болезней.

Пожелав больным добрых снов, женщина заглядывает в манипуляционную и слышит, как судачат о ней медсёстры:

– Конечно. Просто нет других забот. Если бы была у неё семья, если бы и дома должна была «смену отработать», не бегала бы сюда каждый день.

Вблизи ночь казалась прозрачной... Город уже спал, на Бехтеревском машин почти не было, и она пошла прямо посередине мостовой. Голые ветви деревьев графикой отражались на тёмном небе, на мгновение превращая его в паутину.

«Что же придумать? У той, что «не в себе», отменная память. Ведь не отвяжется, чего доброго и скандал закатит. Ладно. Может быть, к утру что-нибудь придёт в голову...»

Дома женщина тяжело опустилась на стул у двери. Старенький телевизор, холодная постель. Пустота. «Как они ошибаются, эти молоденькие медсёстры. Как ошибаются».

Ведь на самом деле у неё когда-то была семья, из которой она была изгнана бывшим мужем точно так же, как и Великая княгиня своим. И в этом было сходство их судеб. Обе, с разницей более, чем в сто лет, нашли прибежище для души в помощи больным. И Великая княгиня, канонизированная под именем преподобной Анастасии, и она, простая женщина, не княжеских кровей.

За окном мерещились скорбные тени, слышались стоны, шёпот...

Она вспоминала прожитый день, тех, кто остался в отделении со своими страхами, надеждами. Сама же боялась лечь, боялась не про-

ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНОТЕ

снуться. Женщина понимала, что устоять на краю помогает лишь погружение в глубину человеческих судеб... Морок жизни, где так часто человек – нечто второстепенное. Погружаясь в судьбы других, ненадолго забывала о своей. Но всегда помнила о колоколе, который пока продолжал звонить.

Лето обрушилось внезапно. Казалось, это не май, скорее – август, когда от зноя лоснятся лица, и даже кондиционеры бессильны. Для полного впечатления не хватало дынь, арбузов и сумерек, поглощающих длинный день. Жара не отпускала и ночью. Хотелось раздеться, снять с себя «кожу». Вглядываясь в темноту, Вадим не спал. Ночь – время раздумий и сомнений. Он прикоснулся рукой к жаркому, влажному телу жены.

– Что? – вскинулась она, отодвинувшись.

– Ничего. Прости.

Закрыв глаза, отвернулся к окну: «Уснуть. Заставить себя. Легко сказать. Жара... При чём тут жара? После сегодняшней новости... Лгать? Улыбаясь, притворяться, что всё в порядке? Не в его характере... А что в его характере? Разрубить этот узел без промедления? Или дождаться удобного момента, как советует та женщина?» – Вадим не знал, правильно ли поступил, согласившись встретиться с ней. Иногда, лучше – неведение. Но неожиданный звонок, настойчивость собеседницы, доводы, что встреча в его интересах – перевесили. Нельзя сказать, что известие ошеломило Вадима. Последнее время чувствовал: что-то происходит... Что-то не так... Замечал, как манипулируя словами, жена скрывала пустоту и непонимание, возникшее между ними, которые оплели, словно паутина.

Утром, выпив кофе, уклонился от привычного поцелуя и, сославшись на занятость, поспешно ушёл. Всё-таки невыносимо смотреть в глаза женщине, зная, что она изменяет... Его преимуществом перед женой было знание...

Вечером Ника встретила, сидя в кресле:

– Устал? Ужин в микроволновке.

Сняв очки, он сжал её руку:

– У меня ощущение, что в последнее время я раздражаю тебя. Неужели лучшие годы исчезли из твоей памяти?

Она высвободила руку. На лице не дрогнул ни один мускул. Губы улыбнулись, но взгляд остался спокойно-холодным:

– Не придумывай... Чепуха какая-то. Вздор. Просто, устала. У тебя, кстати, тоже вид не ахти. Ешь и иди отдыхать.

– А ты? – он задержался на пороге комнаты.

– Немного посижу. Завтра – статью сдавать.

Долго ворочаясь в постели, Вадим подумал, что необходимо вновь повидать ту женщину – ему неприятна была мысль, что пообещал молчать. Как она тогда сказала? «Не делай резких телодвижений. Наблюдай. Жди. Страсть уступит место привычке. И тогда... Всё предсказуемо». По-коробило, что она сразу перешла с ним на «ты», как со старым знакомым.

– Пришёл? Знала, что позвонишь. И правильно, общаться придётся. Мы не познакомились в прошлый раз. Ты – Вадим, знаю. Я – Алла.

У него вспыхнуло лицо: это имя было ему неприятно. Так звали первую, школьную, любовь: та девочка предпочла другого мальчишка. В новой знакомой всё раздражало: манера поведения, откровенная необразованность, которую выдавала речь. Была вызывающе красива, но не в его вкусе. Намного моложе Вероники, но проигрывала той в утонченности и интеллигентности.

Но больше всего раздражало то, что Алла принесла ему дурную весть:

– Собственно, я попросил о встрече... Хотел предупредить, что не стану бездействовать, делая вид, что ничего не знаю. У вашего мужа с моей женой роман? Или, просто, постель?

– А какая разница?

– Большая. Ежели – роман, это не пройдёт. Чем он её зацепил? Умом? Мужественностью? Что-то же должно быть.

В глазах Аллы читалась жалость:

– Он – мужик. Понимаешь? Мужик.

Вадим смешался:

– Я не стану создавать видимость, что ничего не происходит. Хочу увидеть глаза жены, когда спрошу об этом... Глаза человека, с которым прожил пятнадцать лет.

– Да, делай, как знаешь, – усмехнулась Алла. – Глупо. Ничего она не скажет. Будет врать.

– Почему?

– Потому, что ещё не решила, разбежаться с тобой или... И, главное, он не определился...

– Кто?

– Олежек, муж мой. Ведь и я, когда узнала, что у него – баба, прям вся изрыдалась. Хотела сразу этому козлу «отворот-поворот». Потом поня-

ла. Нет, нельзя. Выждать надо. Хитрее быть. Я понять пыталась, чего в ней такого, чего нет у меня. И моложе я, и покрасивше, как видишь? А он запал на неё. Только думаю, временно это. Не дурак же он, в самом деле? Зачем ему сороковка?

– Послушайте, Алла! Выбирайте выражения.

– Ты чего? За жену обиделся?

– Не обиделся, вульгарщины не выношу. Во всех её проявлениях. Ни развязной манеры общения, как у вас, и прочее... Вы эпатируете даже одеждой... Ярко, но крикливо. Существуют же какие-то критерии, мода, наконец.

– Мода? – расхохоталась Алла. – Хрень это. Своеобразная ярмарка тщеславия.

– «Ярмарку тщеславия» читали?

– А ты думал, что я такая «овца»? Что вместо мозгов яркие тряпки?

– Ну... – прокашлялся Вадим.

– Говори. Не стесняйся. Просто я не напяливаю на себя личину приличия: «вот я какая – вся из себя, интеллигентка». Я – простая баба. Естественная. Мужикам это нравится больше, чем всякий там «гламур». Поверь. Ты, конечно, привык к другому. Но ведь вкус может и измениться... Вот – я. Прежде, суши терпеть не могла. С непривычки. А теперь... Вполне, даже. Слушай, а тебе сколько лет?

– Допустим, тридцать девять.

– Так ты моложе её?

– Какое это имеет значение?

– В общем, никакого... Но, естественней бы было, чтоб ты от неё бежал... Ладно, не сердись. Угости мороженым. Я знаю одно кафе, где оно вкусное-превкусное. Угостишь?

– Да, сколько угодно.

Поглощая мороженое, запивая кофе «гляссе», Алла вдруг сказала:

– Хочешь, заключим сделку? За несколько месяцев я из тебя классного мужика сделаю. «Твоя» ахнет. Станешь другим. Идёт? Будешь дарить бабам наслаждение. Экстаз, понимаешь? Ты не возражай! Просто запоминай! Скажи, когда в последний раз был в тренажёрном зале? Ещё до гражданской войны? А «мой», три раза в неделю, как часы. У него и тело другое, не каша, как у тебя, – Алла потрогала предплечье Вадима.

– Что вы себе позволяете? – отдёргнув руку, Вадим вскочил. – Допивайте «гляссе» и...

– Да-а, – протянула Алла. – Кавалер из тебя... Если и в постели такой же, то я не удивляюсь...

– Послушайте, мадам! Вы мне порядком... – очертив рукой в возду-

хе овал, в который попадала Алла, он тихо сказал. – Знаете ли, и я не удивлён, что ваш муж предпочитает более изысканный десерт. И не утруждайтесь более, – бросив на стол деньги, он направился к выходу.

– Да, подожди! Чего взъерепенился? – побежала за ним Алла. – Не права была. Прости.

Жара. Толпы спящих людей... Рассекая эту живую массу, Вадим врзался в неё, как бур. Хотелось побыть среди посторонних людей. Когда не надо заполнять молчание ничего незначащими словами, о которых забываешь, произнеся их. В ушах продолжали звучать слова Аллы: «Возможно, она права?» Может быть, действительно, попробовать? – Вспомнил горьковато-терпкий запах, исходивший от неё, и у него защекотало в ноздре. – Ох, уж эти женщины! На какие только ухищрения не идут, чтобы подчинить себе мужчину. Специально используют духи, действующие как дурман. Думают, побрызгали, и мужчина – готов».

Веронику клонило ко сну. Отгоняя его, прикуривала сигарету за сигаретой. Комната покачивалась в дыму, во всем теле странная слабость, но мозг четко фиксировал происходящее: «Как это случилось? В сущности, какая разница? Чужая квартира... Торопливый секс, из-за растущего раздражения не приносящий прежнего удовлетворения. Дома надо быть не позднее одиннадцати... Что-то придумывать... Изворачиваться... Устала... Странно. Муж называет её Никой. Олег – Верой. Возможно, в ней действительно две разные женщины?» Вспомнила, как впервые оказалась здесь. Тогда, сидя перед ней на коленях, он снимал с неё туфли. Взгляд – снизу вверх. Потом – пропасть... Безумие к безумию... Плоть к плоти... Когда объятия – отчаянны, нагота – бесстыдна. Их голоса звучали не прощальным блюзом, а подстёгивали этот бешеный танец – самый вечный на земле, обжигающие волны которого поднимались из самых глубин, вздымаясь подобно цунами. Они рождались и умирали в одно мгновение, каждое, как последнее. Она совсем не хотела впускать эти чувства в свою жизнь, так не похожие на размеренные отношения с мужем. Они ворвались... Сокрушили...

Теперь, отвернувшись, он спит... «Одеться? Уйти? Насовсем? Банальная интрижка? Не у неё одной так... Разве от этого легче? Как могла? А дома – оставаться хранительницей семейного очага... Улыбаться, когда порой хочется взорваться... Вновь ссылаться на недописанную статью, головную боль... Испытывать ненависть к выходным... И ждать звонка... И вновь – чужая квартира... Так, по кругу, до головокружения... А Олег? Он возвращается не к ней...»

– Алуся, я – дома. – Олег бросил ключи на комод, внимательно оглядев себя в зеркале: «Слегка помятое лицо, но в остальном – порядок». Прошёл в гостиную, поднявшись по резной лестнице двухэтажной квартиры, заглянул в спальную комнату. Не обнаружив жены, вернулся вниз. Стол сервирован на одного, ужин прикрыт красивой салфеткой. «Где её носит? – произнёс вслух, не зажигая свет, опустился в удобное кресло. – Карусель, какая-то. – В принципе, он любил подобное состояние. Когда есть динамика в отношениях с быстро сменяющимися картинками, когда не «застаивается» тестостерон. Когда испытываешь удовлетворение от хорошо развивающегося бизнеса. – Наверное, пора уже разрешить Алке «завести» ребёнка. А то шляется последнее время неизвестно где».

Раньше он считал появление ребёнка непозволительной роскошью. Память хранила воспоминания о почти нищете, о безуспешных поисках работы по специальности... Кем только не работал... Правда, не грабил и не убивал. Хотя, встречались на его пути типы, вполне заслуживающие этого... Он отчётливо помнил момент, когда начался медленный, но верный путь наверх. Тогда и встретил будущую жену, красивую провинциалку, приехавшую покорять столицу. Она по-прежнему притягивала его, как женщина. Но больше он ценил в жене хозяйственность, заботливость, терпимость. Он услышал звук открываемой входной двери и, когда Алла вошла в гостиную, включил настольную лампу:

– Привет!

От неожиданности она вздрогнула:

– Напугал, дурак. Ужинал? Чего не спишь?

– Не ужинал. Не сплю. Волновался за тебя. Где была?

– На фитнесе. Беру пример с тебя...

– Где?

– Есть такое слово: «фит-нес».

– С какого перепугу? Почему не знаю?

– Говорила. Забыл?

– А-а – протянул он. – Интересненько. Вообще-то, здорово. Молодца. Слушай, я тут подумал, – поднявшись, он обнял её. – Не сделать ли нам ребёночка, детка?

Алла включила яркий свет и иронично поинтересовалась:

– Чо, вдруг? Созрел?

– Почему «вдруг»?

– Ты же не хотел... Сопrotивлялся... Говорил – не время...

– Так, то раньше.

– А чо изменилось?

– Ну, многое... Знаешь, хочется, чтобы эта большая квартира заполнилась детским топотом... Зачем откладывать? Займёмся...

– Может, раньше душ примешь? От тебя чужой бабой несёт, её духами.

Олег принялся:

– Серьёзно? Прокол, прости...

Он был убеждён: хороший «левак» только укрепляет семейную жизнь. Зайдя после душа в спальню, увидел свернувшуюся калачиком, спящую жену.

[31]

Вадим не мог дозвониться Нике... Мобильный отвечал: «вне доступа». Потом какой-то шорох, похожий на затаенный вздох: «Ну, что же... Рано или поздно что-то меняется в жизни. Исчезло главное в отношениях...» Прежде, ночью, прижимаясь к спине жены, он обретал ощущение покоя, уверенности. Утром, сидя на кухне, улыбались друг другу, пили кофе. Позади остались безумные, бессонные ночи... Теперь, между ними – тень, как холодная полоса тумана: «Неужели, всё настолько серьёзно?»

Из-за работы, ставшей главным приоритетом в жизни, он не заметил, когда это началось. Компьютерный бизнес требовал невероятных усилий. Возможно, Нике чего-то недоставало... Квартиры, машины, увлечённости собственной работой... Оказалось мало и дозированной любви.

Вадим вспомнил об Алле. Почти три месяца, как она вручила ему абонемент, заставляя несколько раз в неделю трудиться над собственным телом. Сама не отставала. Он улыбнулся: «А она – «ничего». Не глупа, как показалось вначале. Главное, оказалась права – он пощупал свои окрепшие мускулы. – Хотя, вначале все эти усилия давались с большим трудом».

Не дождавшись прихода жены, ушёл спать в кабинет.

– Ты любишь меня? – Веронике показалось, что прошла вечность, прежде чем он ответил:

– Я не люблю тебя, скажем так.

– Забавно, как лихо ты закутил. Но отсутствие нелюбви не означает любовь...

– Вера! – напрягся Олег. – Зачем усложнять? Нам замечательно вместе. Кажется, этого достаточно?

– А твоя жена?

– При чём моя жена?

– Вы спите?

– Позволь не отвечать на этот идиотский вопрос. Я не из тех, кто с любовницами обсуждает жену. Кстати, я ничего не обещал. Это твои фантазии. Расслабься, получай удовольствие.

– Хорошо, я не стану впредь задавать неудобные вопросы. Поцелуй меня.

– Ну, как там «твоя благоверная»?

– Не надо, Алла. У меня, всё же, сохранилось уважение к ней. Не стану «полоскать» её в своих комплексах и обидах.

– Ладно, – согласилась она. – Не буду больше. Ты делаешь успехи. Видишь, обещала, что займусь тобой, и вот... Так не хочется идти домой, – застегнув рюкзак, Алла повернулась к Вадиму. – А надо.

– Почему надо? Зачем себя насиловать? – вслед за Аллой Вадим вышел на улицу из «Центра Здоровья». Отбросив условности, он тоже перешёл на «ты» и находил это вполне удобным. – Зайдём куда-нибудь. Чего-нибудь выпьем, поужинаем.

– Молодой человек! Что это, никак на свидание приглашаете?

– Называй, как хочешь.

– Ты чо, всерьёз? А я всё гадала, когда он о своей фифе хоть на минуточку позабудет, одним глазком заметит, что перед ним не чучело какое-то, а красивая и молодая, заметь, молодая женщина.

– Заметил. Идём?

– Вадимушка! Я бы с радостью. Только посмотри, мы чо, вот так, с рюкзаками в ресторан попрёмся? Видок у нас ещё тот... Давай, завтра?

– Ловлю на слове. Завтра, так завтра. Я подвезу, как всегда? – он открыл машину.

– Ладненько, только останови за два квартала.

Встретились у метро минута в минуту.

– Хотел купить цветы... Замотался... Прости...

– И я хотела...

– Мне?

Они расхохотались, ловя недоумённые взгляды прохожих.

– Вадим! Я подумала, зачем в ресторан? Вот, прихватила кое-что с собой...

– Ты в парке на скамейке предлагаешь устроиться? «Завтрак на траве»? Или «Пикник на обочине»?

– Зачем на обочине? У меня подружка... Она к матери в деревню уехала... – произнесла это, Алла стала пунцовой.

– Где живёт наша подружка? – Вадим словно не заметил её смущения.

– Автобусом надо...

– Машины туда ходят?

– Ходят.

– Пойдём на стоянку. Будешь вперёд смотрящей.

Их взаимоузнавание скользило медленно, словно они боялись что-то упустить. Чтоб потом из обрывочности впечатлений соткать нечто, о чём можно вспоминать в невесомой призрачности ночи. Взрослые люди, они понимали, что сблизила их общая беда, что они вплотную приблизились к отношениям, которые сами же взрастили. Боль к боли... Так близко друг к другу.... Горьки поцелуи... У них никогда не будет лиш-них слов. Бессмысленных жестов. Всё случилось... Когда вся Вселенная уместается в одной единственной секунде, а освобожденный огонь уничтожает Время и Пространство.

– Хочу быть с тобой, – сняв с него очки, Алла целовала его глаза.

– А он? Это не месть ему?

– Знаешь... Сначала мечтала отомстить. Потом... Когда узнала тебя... Ты – другой. Тонкий. Интеллигентный. Он – самогон, ты – коньяк. Я перестала ложиться с ним в постель. Ты – единственный.

– Помнится, не так давно ты предложила мне сделку, чтоб я смог оба-ять свою жену?

– После стольких трудов? Кто ж тебя ей отдаст? Не надейся.

Дождь... Повод ненадолго, на чуть-чуть, задержаться в чужой кварти-ре. Хотя, эти минуты ничего не решают.

– Ну, всё... Возьми такси. Мне на фирму, – раздражённо бросил Олег. – Захлопни дверь. Пока. – Он ненавидел агонию чувств, предпочёл бы при этом не присутствовать.

Стоя у окна, Вероника видит его у машины. Он не оглядывается. По окну стекают капли, у неё в висках стучит кровь, выбивая рваный ритм отыгранного блюза: «В последний раз. В последний раз...» Память рук, глаз, губ, невысказанных слов грузом лежит на душе. Снова – пропасть. Закрывая глаза, делает глубокий вдох. Собственно, сама жизнь начина-ется вдохом, криком, когда человек сообщает о своем приходе в этот мир. Вероника тоже кричит. Безмолвное: «Всё!»

Не помнила, сколько бродила под дождём. Было за полночь, когда вернулась домой. Заглянула в кабинет, там теперь постоянно спит Ва-дим, по-детски подложив ладонь под щёку. На его сон не влияли ни шум дождя, ни ветер. Она подошла, присев на корточки, коснулась пальца-ми его губ. Он мгновенно открыл глаза, будто не спал:

– Что? – Эта его особенность, умение мгновенно засыпать и просы-паться, всегда удивляли её, но сейчас она испугалась:

– Ты метался во сне.

– Ты вся мокрая ... – он посмотрел ей в глаза.
 – Дождь... Я выходила на балкон...
 – Да, чёрт с ним... С дождём... – уронив голову на подушку, мгновенно заснул.

– Так должно было случиться. Я говорила. Помнишь? Разбежались голубки. И Олежек, теперь прямёхонько домой. Названивает мне на работу. Соскучился, видите ли. И всё пыгает, в какой фитнес хожу. Встречать хочет.

– Ты уверена, что расстались? – переспросил Вадим.
 – Уверена, – Алла поцеловала Вадима долгим поцелуем, не дав ему возможности возразить.
 – А знаешь, мне жаль Нику. Она неприкаянной стала, – после молчания сказал Вадим.
 – Мне не жаль. Нечего было на чужих мужиков запрыгивать.
 – Алла! Что за жаргон?
 – А как это называется? Ладно. Мне всё равно. Если бы не это, мы бы не встретились.
 – Останешься со мной? – тихо спросил Вадим.
 – Только позови. От него, по любому, ухожу. Решила окончательно. Ребёночка этот козёл завести хочет. Фигу.
 – Аллочка! Опять?

Некоторые думают, что запретная любовь длится вечно. Ничего подобного. Ещё «древние» говорили, что нет в мире любви, которая не закончилась бы... Всему – своё время! Всему... Вероника очнулась, как от забытья. Сердце колотилось, во рту пересохло. И кожа горела, как после ожога: «Обожжённая нелюбовью. Горькое послевкусие». – Взглянула на часы. На смену удивлению пришла тревога. Набрала мобильный мужа:

– Вадим... Где ты...
 Впитывая тишину, ждала, когда он заговорит.
 – Не волнуйся. Скоро буду. Приеду за вещами.
 – Почему? – спросила Вероника искаженным до неузнаваемости голосом.

В трубке раздалась гудки.

Олег сжал кулаки. Волна ненависти пробежала по телу, сведя судорогой мышцы:

– Ты меня бросаешь? Ты – меня? – повернулся к Алле спиной, испугавшись, что может сорваться, и тогда произойдёт непоправимое. – Отбить бы твоему хлюпику почки, чтоб кровью мочился.

- Только посмей! Забыл? Ты первый с его женой кувыркнулся...
- Заткнись! Забирай свои шмотки и вали от греха...
- Не переживай! Твоего ничего не возьму.

Испытывая отчаяние, Вероника осознала, что ничего не исправить. Хотела подняться со стула, но ощутила, будто проваливается в пугающее безмолвие. Будто кто-то невидимый выключил звук, всё погрузилось в вакуум.

Пришла в себя от того, что Вадим хлестал её по лицу:

– Ника! Ты надумала в обморок падать? Ничто не стоит человеческой жизни.

– Вадим! Не нужно слов утешения...

– Почему? Мы не чужие люди.

– Ни забыть, ни простить ты не сможешь?

– Не смогу. Хотя, ты и считаешь меня тряпкой. Я изменился. Ты не заметила? В какой-то момент мы перешли «Рубикон». Вот такая, не очень приличная, история. Почему, Ника?

– Действительность стала безвкусной, как трава. Если бы ты только внёс остроту в отношения... Прости... Прости... Что я говорю? – она опустилась на колени, заглядывая ему в глаза.

– Встань, немедленно! – Вадим с удивлением смотрел на жену. – Как ты можешь? Это не могло закончиться иначе...

– Не гони меня! Унижай, только не гони...

– Ника, встань! Разве можно любить женщину, которая ползает у твоих ног? Да, что же это такое? – он попытался поднять её, но она повисла неподъёмной ношей. – Как знаешь... Это зрелище невыносимо.

Быстро пройдя в спальню, достал сумку, укладывая вещи первой необходимости.

– Вадим, не делай этого! – Ника вбежала вслед за ним и заслонила собою шкаф.

– Отойди!

– Вадим, я ошиблась. Ошиблась. Давай поговорим.

– Ника, отойди. Я уйду без вещей.

– Вадим, умоляю! Ради прошлой жизни... Хочешь, я рожу тебе ребёнка?

– Мне? Конечно, тебе он не нужен... Ты никогда не хотела детей.

– Вадим, я не смогу без тебя. Не смогу одна.

– Придумаешь что-нибудь. Ты мастер придумывать.

– Я не пущу тебя. Слышишь, не пущу!

– Ника, опомнись! Сядь. Посмотри на меня внимательно. Я не вернусь. Никогда. У меня – другая женщина.

– Другая?

– Да. И ты её знаешь. Это жена твоего любовника... Давай соблюдать достоинство...

– Достоинство? Так ты всё это время? С нею? Мерзавец! Этого просто не может быть. На телятинку потянуло? На каком же языке ты с нею изъясняешься при её-то интеллекте? Она же не знает, кто такой Брокгауз?

– Ты очень жестока, Ника. Оказывается, я совсем не знал тебя. Наша с тобой история обнажила, что знание Брокгауза не самое главное в жизни.

– Это спорно.

– Это бесспорно.

Она стояла, сжав кулаки:

– Ты такая же сволочь, как он. Я никогда не дам тебе развод. Так и знай. Не дам вам спокойно жить, дышать...

– Почему? Ты же всё разрушила. Заставила меня оглянуться, понять, что на свете существуют иные женщины. Толкнула меня в объятия другой. И я безмерно за это благодарен. Наш брак исчерпал себя. Поддерживать иллюзию, что он существует? Уволь.

Воцарилась тишина. Она не могла обвинить его в предательстве, потому что предала сама:

– Стало быть, квиты, Вадим?

– Ника! Хорошо, что у нас нет детей, что мы никого не сделаем несчастными. Квартира останется тебе. Дачу продадим. Ну, вот, пожалуй, всё. – Он бросил на кровать ключи и, не оглядываясь, вышел из квартиры.

Много лет назад, в начале супружеской жизни, Вероника думала, что если когда-нибудь муж уйдет от нее, она перестанет дышать. Ляжет и умрет. Он ушел, а она жива. Сердце бьётся спокойно. Она точно окаменела. Как заполнить пустоту, которая остаётся, если уходит человек, чтобы не вернуться? Чем заполнить?

Набросив шаль, вышла из дома. Физически, не могла оставаться в одиночестве. Зашла в небольшой ресторанчик, заказала коньяк. Нужно было напиться, чтобы заглушить боль в груди. От выпитого кружилась голова, слегка подташнивало. Сидящий за соседним столиком мужчина придвинулся к ней, что-то зашептал, попытавшись обнять. С неизвестно откуда взявшейся силой, она оттолкнула его, выскочила на улицу. Не заметила, как оказалась на каком-то мосту. Перегнувшись через перила, заглянула в пропасть, которая манила тяжёлой водой:

– Что я делаю? Идиотка. – Опустившись на землю, прижалась спиной

к решётке, и на какое-то время отключилась или задремала. Очнулась от прикосновения чего-то тёплого, мокрого. Открыв глаза, увидела лизавшего её руку пса. Погладила влажную шерсть. От неожиданной ласки пёс поднял голову и посмотрел ей в глаза. – Кто ты? Потерялся? Или и тебя бросили? – Она взяла в ладони его морду, прижала к груди. – Пойдёшь со мной? Здесь мне нечего тебе дать. – Поднявшись с земли, грустно улыбнулась. – Я домой. Идёшь? – Собака послушно последовала за ней. – Какая невыносимая лёгкость бытия... – прошептала она, посмотрев на проступившие на небе звёзды. – Ничья, Вадим? Отчего так дрожит лицо? Столько ненужных слов? Что это было? Что? Просто, игра? Или жестокие, бессмысленные, танцы в темноте?

И РАЗ... И ДВА... И ТРИ... И ЧЕТЫРЕ...

Девочка играла на фортепиано. Играла со счётом, выдерживая «четвертушки», «половинки» и «целые». Ольга Мстиславовна, Оленька, так все её называли, сидела рядом, закрыв глаза, предаваясь воспоминаниям. Со стороны могло показаться – спит, если бы она не отбивала ногой нужный такт: «И раз... И два... И три... И четыре...» Но стоило ученице совершить малейшую оплошность, как Оленька тут же вскидывалась, поправляя её.

Добросовестная девочка. Всегда с подготовленным домашним заданием, она уже не требовала особого контроля. С правильной осанкой, спинка ровная, играет этюд Черни, мягкими движениями подушечек пальцев извлекая из клавиш глубокие звуки.

Оленька довольна ею, чего не скажешь об ученице. Той хочется поскорее на улицу, к подружкам, но мама заставляет заниматься музыкой. Оленька, с пордевшими седыми волосами, стянутыми в тугий узел на затылке, с гордо-открытыми висками, кажется девочке старой: «Почему все зовут её Оленькой? – думает она. – Ведь она какая-то допотопная». Урок заканчивается, звучит обычное: «Умница! Какая ты умница! И красавица при этом!» Появляется мама, и снова, знакомое: «Оленька! Спасибо, огромное. Пожалуйста, чай, кофе?» Оленька не перестаёт восхищаться шикарной квартирой «новых буржуа», «удивительно» заваренным чаем, особым печеньем – не из обычного супермаркета, а из центральной кондитерской. Она говорит маме: «Какой у вас вкус, дорогая! А какая квартира! Как у нас, в далёкой юности». Из прихожей Оленька заглядывает к своей ученице: «До свидания, детка! До встречи!»

В комнате девочки ещё долго ощущается запах, оставленный учительницей – аромат бестелесного тела, чистой старости, который можно было бы принять за запах старинных духов.

Ольга Мстиславовна не любила обращения к себе по имени-отчеству. Всегда просила: «Зовите просто, по имени». Выйдя на улицу, вдохнув морозный воздух, она подняла воротник пальто, поправила белую шаль-паутинку, натянув её до подбородка: «Недоставало простудиться».

Направилась в сторону метро – ехать нужно было на другой конец города, где её ожидал очередной ученик, совсем не похожий на предыдущую девочку. Он не хочет держать спину ровной, у фортепиано сидит развалившись. Пальцы его растопырены, ногти не острижены, что мешает полному извлечению звука. Всякий раз ей приходится бороться с ним, добиваясь нужной осанки, порой стричь ему ногти. «Урок? Ну, тут и конь не валялся!» С ним не посидишь с закрытыми глазами, не предашься воспоминаниям. Правда, мальчик воспитан. Извиняется за неподготовленный урок, всегда придумывая очередную причину. И очень нервничает, когда она, Оленька, вместо положенного часа просиживает с ним два, а то и более. Однажды он попытался подарить ей свои часы. «Я хочу сделать вам подарок, – сказал он. – У вас ведь нет часов». Но она разгадала его маленькую хитрость, часы не взяла, припугнув: «Голубчик! Мы будем заниматься и дольше, если ты самостоятельно не станешь готовиться к уроку».

У Оленьки – свой язык. От каждого слова веет истёртой стариной. Сейчас говорят совсем на другом, который ей, конечно, знаком. Ходит же она в магазины, к врачу... Но в общении она предпочитает пользоваться тем, старым, не забытым.

И в этот раз мальчик не обманул её опасений, не делая никакой разницы между дизезом и бемолем. Этюд сыграл быстро, без счёта, не выдерживая верно «половинные», не реагируя на «легато». А уж сольфеджио? Тут и говорить бессмысленно. То у него болит горло – в школе сорвал голосовые связки, то бесконечно бегает в туалет, ссылаясь на боли в животе. То ещё что-нибудь. Урок, как всегда, затягивается. И Оленька сидит с мальчиком вдвое дольше положенного времени и, вопреки его желанию, добиваясь мало-мальски сносного результата. Наконец, отпускает его, хотя урок не приносит должного удовлетворения.

Зайдя по дороге в магазин, едет домой. Выйдя из автобуса, осторожно ступает по выпавшему снегу, коварно покрывшему лёд. Это в начале зимы, когда первый мороз «возьмёт» лужи, стоит только тронуть их ногой, как лёд мягко прогибается. Сейчас, в разгар зимы, следует быть осторожной. А то – перелом, в лучшем случае, руки или ноги.

Наконец, она – дома. Сняв сапоги, которые следовало бы выбросить, включает свет. Низкий абажур высвечивает белую скатерть, оставляя углы комнаты в сером полумраке, который таит за ширмой кровать, над ней икону. Оленька включает запись с классикой. Удивительно, с

какой ловкостью она передвигается в сумеречной тесноте своей квартиры. Мельком глянув в висящее зеркало, констатирует: «некрасива». Но теперь уже не стыдится этого. В семьдесят с хвостиком у неё вполне благопристойный вид. Это в молодости она пыталась подкраситься, волосы взбить, что, впрочем, не помогало. Осознав тщетность этих усилий, прекратила... Из-за некрасивости, ещё тогда, и в тридцать, и в сорок, пыталась себя состарить, одеваясь в неяркое, не броское. Да, она была лишена молодости, в том смысле, что не было ни одного романа. В наступившей старости, такой естественной, без особых тягот, она обосновалась прочно, надолго... Потому что старость её началась ещё с молодости. Хотя... Несмотря на возраст, оставалось в ней что-то от юности: взмах руки, порывистая походка, в которой угадывалась почти девичья горячность... Такая вот законсервированная девушка... Многие годы в её внешности ничего не менялось. Так она выглядела и в пятьдесят, и в шестьдесят... Не случилось в её жизни женского счастья. Но не было и потрясений, невосполнимых потерь с горькими рубцами на сердце. У неё много приятельниц. А дружбе она предана. Не ревновала подруг к их семейной жизни, к детям, внукам, воспринимая интересы друзей, как свои личные. Со временем, некоторые подруги стали одинокими... Когда случались эти потери, Оленька скрашивала их одиночество.

Приготовив ужин, она приносит в комнату тарелки, столовые приборы. Пусть нет гостей, даже для себя сервирует стол под цветастым абажуром – старинным платком, накинутым поверх каркаса, с углами, свисающими почти до стола.

Пужинав, садится в любимое кресло. Телевизора у неё нет. Не покупает принципиально. «Что за нелепость – телевидение? Она – консерватор. Другое дело – радио, пластинки...» Лишь недавно, когда проигрыватель невозможно было отремонтировать, приобрела магнитофон. И теперь пластинки, за ненадобностью, лежали в большой коробке. Но она не могла с ними расстаться, часто любовно перебирая и вспоминая прошлое.

«Неудачница? Разбитая жизнь? – Оленька так не считает. Проработав много лет в музыкальной школе, теперь, вместо «заслуженного» отдыха, ходит из квартиры в квартиру, от ученика к ученику. Не может без этого. – Почему же «непутёвая», как много лет твердили подруги? А ведь некоторые из них из-за семьи оставили музыку. А она осталась верна ей. Вот так-то...

Да, старая дева... Зато, сколько друзей, любимых учеников. И каких! Многие сделали блистательную карьеру, закончив консерваторию. Не-

которые стали лауреатами всевозможных конкурсов. И среди родителей учеников у неё масса друзей. Если бы она не отдавалась так преподавательской деятельности, было ли такое возможно? Вряд ли...»

Кассета давно закончилась, и Оленька под лёгкий гул магнитофона дремлет в кресле. В мягком свете её аскетическое лицо даже можно назвать красивым. Из дремы вырывает поздний телефонный звонок:

– Оленька! Ольга Мстиславовна! Алло. Алло. Это...

Спросонья не разобрать, чей голос. Оказывается, очередная родительница отменяет завтрашний урок – заболело любимое «чадо».

– Ничего, ничего. Вы нисколько меня не беспокоили. Поправляйтесь. Когда ей станет легче, пусть обязательно повторит гаммы и «Сувенир Элизы». Обязательно... – кричит в трубку Оленька, но на том конце уже звучит: «пи-пи-пи».

«Какая жалость, – вздыхает Оленька. – Не страшно, повторят всё на следующем уроке».

Выключив магнитофон, уходит за ширму. Готовясь ко сну, думает о том, как завтра снова выйдет на улицу, поразится светлому накалу дня. «Господи! Как хороша жизнь!» Ей неведомы страхи, нет комплексов... Почти нет... Она думает о филармонии, куда пойдёт в субботу, о том наслаждении, которое непременно получит, слушая любимую музыку. Через несколько минут засыпает, и на её лице блуждает безмятежная улыбка...

**Бронислава
Фурманова**



[41]

ОПУСТЕЛ БЕЗ ВАС МОЙ ДОМ

Большим был раньше круг моих друзей.
Богаче с ними жизнь была, светлей.
Я знала, в обстоятельствах любых,
У дружбы не бывает выходных.

Мне дружба их наградою была,
Которую Судьба преподнесла.

Порою страны или города
Нас разлучали, вроде, навсегда,
Но всё-таки отрадно сознавать,
Что дальше друг от друга нам не стать,

Что искренен со мной и честен друг,
Спасая от двуличия вокруг.

Сужается с годами круг друзей,
Длиннее поминальный ряд свечей –
Без вас на этом свете пуст мой дом,
Теперь, друзья, всё больше вас – на том...

МЕЖДУ СТРОК

Закончен выстраданный стих,
Слезою – точка.

Воспоминаний кружит вихрь
За рядом строчек.

Меж этих строк стоял апрель
И было счастье,
И нам казалось, что теперь
Мир – в нашей власти.

Здесь, между строк – прощанье рук
По чьей-то воле,
И сердце, сжавшееся вдруг
От резкой боли.

Здесь прячется за строчкой миг
Неповторимый,
И рвёт бумагу горький крик:
«Прощай, любимый!»

Воспоминаний вихрь притих,
Вздохнули строчки.
Закончен выстраданный стих,
Слезюю – точка.

МОЛЧАЛИВЫЙ РАЗГОВОР

Закрыла тьма окно чернильной шторой,
И ночь тоскливым дождиком шуршит.
Наш диалог немного разговора
Разрядом электричества прошит.

Остывший чай, мерцающие свечи,
В растерянных глазах таятся страх,
Дрожанье рук, опущенные плечи
И привкус расставанья на губах.

Во взглядах тень любви и сожаленья,
Доверия бывшего только нет,
Тоску сменяют горькие сомненья,
Немой вопрос, безжалостный ответ.

А за окном, по кромкам крыш покатым
Отстукивает многоточье дождь,
Стихая, ставит точку он, пока ты
Прощальных слов никак не подберёшь.

Заплачут воском, догорая, свечи.
Наш дар молчанья равен дару речи!

[43]

ПЕСОК ВРЕМЕНИ

Вновь к часам песочным тянется рука,
Может, перекрыть мне русло ручейка?
Вслед песчинкам годы, торопясь, текут
В конусообразный, маленький сосуд.

Нет привычных стрелок, лишь шуршит песок,
Отмеряя мерно времени поток.
Тихо переходит «завтра» во «вчера»,
И воронка, словно чёрная дыра.

Течь в неё песчинкам мне не помешать,
Не заставить время повернуться вспять,
Также невозможно их замедлить бег,
Тают дни, недели, годы, целый век.

И часы когда-то горкою песка
Жизненный отсчёт закончат, а пока
Вновь перевернуть их тянется рука.

МИМОЛЁТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Провиденье жизнь мою давно
Разделило на две половины.
Мне уехать было суждено
И просить приюта у чужбины.
Здесь – вдали у памяти седой
На руках уютно дремлет детство,
За согбенной прячется спиной
Прожитого ценное наследство.

Напоив минувшего глотком
Терпко-сладким, память опьяняет,
Не спросив согласия, тайком,
За забытым счастьем отправляет.

Я за ним по зелени лугов
Побегу босая, как когда-то,
И сплету веночек из васильков
На головку девочке лохматой.

У земли родимой на груди
Подремлю короткое мгновенье.
Ты девчонку, память, не буди,
Невесёлым будет пробужденье.

По ухабам пройденных дорог
Возвратиться в прошлое так сладко,
И в него я, как в дверной глазок,
Буду вновь заглядывать украдкой.

Память с переполненной сумой –
Старая ворчунья и педантка,
Следуя назойливо за мной,
Статус получила – эмигрантка!

НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ

В ограниченном сценой пространстве
Начинается магия танца.
Пируэт и ещё пируэт –
Легендарный на сцене балет.

Под волшебные музыки звуки
В два крыла превращаются руки.
В их движениях – скорая смерть,
Но они продолжают лететь.

Майя – символ, легенда балета! –
То ль Одиллия, то ли Одетта,
Айседора, Раймонда, Кармен,
В мире танца она – феномен!

Не забудется средь поколений
Волшебство этих дивных движений
В тридцати двух её фуэте,
В гран плие, антраша, гран жете.

Шар земной обошла на пуантах,
Покоряя великим талантом.
Для особенных, царственных птиц
Не бывает закрытых границ.

Смерть на бис сотни раз исполняла,
И от этого сердце устало.
Навсегда улетела из мая
Грациозною лебедью Майя.

ЗАКОНЧЕНА КНИГА

В законченной книге осталась душа,
Я снова листаю её не спеша.
В любовь окунала я кончик пера
И строки писала, порой до утра.

В ней радостью, болью своею делюсь,
Смешной показаться совсем не боюсь,
Мне дорог до трепета каждый листок,
Здесь в строках судьба пролегла и меж строк.

В ней память связала свои кружева.
Узором забытым прошита канва.

Не месяцы отданы ей, а года,
Казалось мне, будто уже никогда
Ни строчки я впредь не смогу написать...
Но как мне без этого существовать?

СЛЕПОЕ СЕРДЦЕ

Когда любовью сердце живо,
И ею полнится оно,

Не ведает, что может лживым
Коварством быть обожжено.

Слепым становится, наивным,
Ликуя, радостно поёт,
Но, и когда интуитивно
Сомненье горькое кольнёт,

Оно за хитрым крысоловом
По неизвестному пути
Под звуки дудочки, готово,
Не ведая куда, идти.

ВНОВЬ ОТКРОЮ СУНДУК

Иногда я тайком,
Если скучен досуг,
Открываю сундук,
Где лежит под замком
Память прожитых лет,
Словно ворох одежд:
Здесь пальто из надежд,
Из страданий жилет.

Счастья тёплую шаль
В сундуке нахожу,
Подержав, положу
На рубашку-печаль.

Уникальный фасон
Мне придумал портной,
Сшил любовью-иглой
Платя лёгкий шифон.

Опыт – строгий пиджак,
Я со дна подхватчу,
Истрепался чуть-чуть
Старомодный чудацк.

Всё, что есть в сундуке
Перебрав, просушу
И проветрив, сложу.
Ключ зажав в кулаке,

Я сундук сберегу.
Пусть вот только в труху
Превратит время-моль
Шубу – прошлого боль.

[47]

Я ОТОМЩУ

Мне причиняли много боли,
А я терпела,
Собрав в кулак всю силу воли,
Не ослабела.

Мне крылья часто подрезали,
А я летала,
Мне кислород перекрывали,
А я дышала.

Меня невзгоды с ног сбивали,
А я вставала,
Надежда, Вера помогли
Начать сначала.

Не пара он, мне говорили.
А я любила,
Непониманьем окружили,
Не отступила.

Я ничего не забываю,
И с наслажденьем
Я отомщу, я обещаю,
Своим прощеньем!

СОМНЕНИЕ

Опять в его глазах смятение
Сменяет горькая тоска,
Грызёт в который раз сомнение,
И чудится издалека

Давно покинутая Родина,
С рождения родной язык.
Ему и здесь неплохо вроде бы,
Но грезит бывший фронтовик

Той Родиной, где в дни военные
В бою он был почти убит,
И где не раз ловил надменное,
Обидное до боли – «Жид».

Где научили жить безбожником,
В руины превращая храм,
Где он у страха был в заложниках,
Стук ожидая по ночам.

Где в коммуналке многочисленной
Варили в очередь обед,
Где, в будущее веря искренно,
Ходил в шинели много лет.

Там были времена счастливые
В коротких промежутках бед.
Сменили годы суетливые
Судьбой придуманный сюжет.

Так почему тоска, сомнение
Туманят влажные глаза?
Неужто прячут сожаление
О том, что нет пути назад?

ОСИРОТЕВШИЙ ДОМ

За прогнившим плетнём, словно встав на больные колени,
На задворках стоит вросший в землю, заброшенный дом.
Над дырявою кровлей сгущается вечер осенний,
И в ослепшие окна стучится холодным дождём.

Половицей скрипя, бродит память по пыльным ступеням,
В позабытую жизнь открывая просевшую дверь.
Заблудившись во тьме, одинокие прячутся тени,
В дымоходной трубе воет ветер, как загнанный зверь.

Отсыревшие стены покрыла мохнатая плесень,
Сквозь узор паутин с фотографии смотрит лицо.
За дощатым столом нет застолий, не слышится песен,
Иногда только кот забредёт на пустое крыльцо.

А когда-то был дом переполнен весельем и смехом,
В нём витал аромат подошедших в печи пирогов,
А теперь здесь живёт и вздыхает охрипшее эхо
Чьих-то прочь уходящих из этого дома шагов.

КАРУСЕЛЬ ПАМЯТИ

Вновь меня в прошедшее умчала
Памяти шальная карусель:
Вечер, скрип дощатого причала,
Ты и я, и моря пряный хмель.

Аромат солёный свеж и тонок,
Ветерок волну очаровал,
И она, как маленький котёнок,
Лапками скребётся о причал.

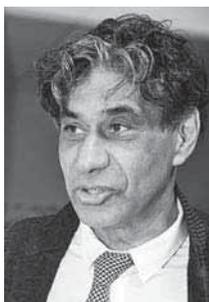
На песке, как жирные тюлени,
Мокрые лоснятся валуны,
Томно замирая в белой пене
От касанья нежного волны.

Освещая моря переливы,
В волнах пляшет месяц молодой,
Рассыпая щедро и игриво
Мне на косы бисер золотой.

Огонёк зажжённой сигареты
Маяком в руке твоей горит.
Шепчешь мне признания сонеты,
И от счастья пляшет сердца ритм.

Карусель в реальность возвращает,
Покружив по прошлому сполна.
Тихий вечер. Сквозь проём окна,
На виски мне щедро рассыпает
Серебрянки зрелая луна.

**Саади
Исаков**



[51]

Д и П / 2016

ТРОЕ НА ПРИСТАНИ

*Тот, кто идёт на поводу у своих желаний,
умрёт без покаяния.*

Хасидская мудрость.

Если кому-то, чтобы провалиться в прошлое, надо упасть, как минимум, с балкона третьего этажа и слегка повредиться рассудком, мне достаточно всего лишь перейти дорогу, разделяющую наш дом и парк вокруг небольшого картинного озера. На берегу, на месте пристани, откуда ещё в старину катались семьями и влюблённые на деревянных лодках, расположился маленький ресторанчик. Саму же раздачу лодок после войны перенесли на левую сторону причала.

По весне, когда солнце наконец-то пронизывает теплом и светом воздух, за деревянным столиком, без скатерти, с четырьмя жёлтыми бумажными салфетками, собирается интересная компания из старичков. Все, без малого исключения, жильцы серого дома, где раньше был военный трибунал. Сегодня их трое, женщина и двое мужчин, все в шляпах, что выделяет их из окружающей публики, для которой ношение шляпы – причудливая экзотика, сродни лёгкому помешательству. Дама – в шляпе-клош, небольшой шляпке в виде колокольчика, какие носят или совсем юные, или совсем пожилые женщины. Один господин – в чёрной фетровой шляпе-хомбург, с глубокой вмятиной на тулье и загнутыми полями. Другой – в шляпе-трибли классического коричневого цвета. Каждый из них к этому шапочному разбору добился чего-то громкого, я бы даже сказал, оглушительного в своей жизни, поэтому настоящие имена их опустим. Назовём их условно: фрау Клош, господин Хомбург и герр Трибли.

Беседуют они громко, побеждая собственную глухоту. Столики на пристани расположены так близко, что, сидя по соседству, не надо напрягаться, чтобы хорошо слышать, о чём говорят рядом. Больше всего старичков занимает далёкое прошлое, будто в них до такой степени развился деменс, что актуальные события они не помнят вовсе. А может, они их просто не волнуют. Говорят старички примерно одно и то же, слегка разбавляя новыми, нехотя всплывающими из Марианской впадины памяти, нюансами.

Дама обыкновенно пьёт белое вино, господин Хомбург, что постарше, – кальвадос и курит, что помоложе, герр Трибли, – красное сухое. Все трое стройные, худощавые, рослые, насколько позволяет возраст, всё больше притягивающий и привыкающий к земле. Так, наверное, должны были бы выглядеть истинные арийцы на пенсии – любо-дорого смотреть. Они могли бы сойти за близких родственников. Однако это не так. Просто все старики с возрастом, как легко заметить, становятся похожими друг на друга, потому что у всех несоразмерно вырастают носы и уши. Старички пришли в этот раз под вечер и до захода солнца ведут приблизительно такие беседы.

Фрау Клош:

– Разве я виновата, чёрт возьми, что мне капитально хотелось снять новое кино? Как сейчас помню, как у меня стучало сердце в груди. И что мне прикажете делать?

– Надо было уехать в Голливуд, как Марленка, – говорит старичок, что постарше.

– Да была я в этом вонючем Голливуде. Сразу, как твой фильм отсняли, – ядовито сказала дама. – И что? Они меня не взяли. Сказали, что я чуть ли не Адольфова подстилка. А у меня с ним никогда ничего не было, и быть не могло.

– Так и не было? Вы друг с другом рядом стояли, как Ромео и Джульетта. Ты нам тут особенно мозги не крути. Помню, как Евка на тебя глядела. Я думал, убьёт она тебя, – сказал старичок Хомбург и добавил, – Между прочим, любовь не разбирает, кто есть кто: голландский принц или фашистская сволочь. Это я так, к слову.

– Икона кровавого режима, – пошутил старичок Трибли.

– Не обзывайся, – она кокетливо бросила бумажную салфетку ему в лицо, – эта гадина, между прочим, фюреру инквизиторскую папку подсунула втихаря.

– Не Гиммлер?

– Гиммлер боялся, – сказала фрау Клош.

– Тебя ли? – удивился господин Хомбург.

– Боялся попасть не в то русло.

– Что тут с тобой разбираться, если фюрер тебе твоё преступное происхождение простил. С каких таких заслуг? – вставил своё слово Трибли.

– Именно что заслуг, – она не на шутку возмутилась, – Да, заслужила. Так что теперь? Я одна, что ли, такая была? Таких было тысячи. Хоть Гейдриха возьми, хоть... Фюрер сам решал, у кого какое происхождение. Да ну вас. Тебе хорошо говорить, – обратилась она к Хомбургу, – ты ещё до того сбежал, в тридцать втором году.

И так они сидят, попивают вино, кальвадос, Хомбург потягивает сигару, кричат, вздыхают, ворчат друг на друга, занятые прошлым, которое продлилось всего-то чуть более двенадцати лет, в глобальном смысле – всего-то ничто, а столько наделало по всему миру шороху, что им самим до сих пор не даёт покоя.

Озеро окружено платанами, в трёх местах бессмертные ивы свисают колоколами над водой. Летом под ними темно, в дождь сухо и безопасно. Возле пристани плавают дикие утки, в одиночестве ловят бестолковую мелкую рыбёшку, которой достаточно для пропитания, или в непримиримой борьбе общипывают размокший до деликатеса хлеб. Его бросают посетители ресторанчика вопреки строжайшему запрету и радуются утиному удовольствию, как и собственному шаловливому легкомыслию.

За платанами – улицы с плотно составленными, как неровные зубы, ещё в благополучные декадентские времена последнего кайзера, домами. Несколько особняком – помпезное, серое и угрюмое, перестроенное в жилой дом здание бывшего военного суда, в котором за время последней войны были осуждены на смерть 143 дезертира. На фасаде, выходящем на озеро, ещё сохранился хищный герб, с которого сбили, и начисто затёрли свастику. В зале, где некогда выносили окончательный приговор, будто на погосте – каминная комната одного из наших старичков – герра Трибли. Дом старичка, что в шляпе-хомбург, – на прилегающей улице, практически за углом.

– Вот возьмём, к примеру, мою историю, – начал старичок Хомбург. – Я, положим, действительно дал дёру ещё в 32 году. Мне один коммунистический товарищ сказал тогда: «Беги, брат, беги». Между прочим, знал, что говорил. Обещал: «Сейчас книги жечь начнут – ты в первых рядах». Он как в воду глядел. Я бы сам тогда ни за что не додумался.

– Ну ты сравнил. Тебе лет-то сколько было? – сказал резонно Трибли. – Сколько мне, когда война кончилась. Ты уже всё написал, что мог, чуть Нобелевку не получил. А я-то что?

– Но с Нобелевкой оно было бы лучше, – мечтательно ответил господин Хомбург, – я, может, всю жизнь потом переживал, что не удостоился. Думал, не заслужил, плохо писал. Я тогда от сомнений на всю жизнь

запил. Плохо ночами спал. А оказалось, я после узнал, ваши маразматика-ветераны на меня телегу накатали в Нобелевский комитет. Что я не патриот. Будто для того, чтобы быть патриотом, надо обязательно с винтовкой ходить и людей стрелять? А книги, как пообещали, сожгли.

– Пьянствовать-то прекратил?

– А смысл?

– Бунин, кстати, тоже не был патриотом, а Нобелевскую получил, – сказал Трибли.

– Ему дали премию Сталину назло, а мне дать побоялись. Москва была далеко, а Берлин – вот он, совсем близко.

– Тебе легко говорить, – брюзжал и сетовал на судьбу герр Трибли, – ты уже был знаменитым, а у меня всё только начиналось. Жизнь только-только пошла в гору. У тебя уже и авто какое было! А мне, что было делать? Чтобы права получить, надо было в национал-социалистический автоклуб вступать.

– Это ещё зачем?

– А как же? Чтобы евреи, не дай Бог, не научились водить. Им даже на велосипеде ездить запретили. Потом папаша тоже давил: «Иди работать в нашу семейную газету, пиши, сынок, пиши». Я ведь поначалу в спорт пошёл, про спортсменов писал, пловчих, опять же, про автоклубы, авто тестировал. Ну а потом пришлось политикой заняться. Я же вступил в союз национал-социалистических журналистов. Геббельс нам всем сказал: «Со спортом надо кончать. Или великой идее служи, или в лагерь!»

– Когда это он такое сказал? – удивилась фрау Клош. – Мне он такого не говорил.

– В 38-м, кажется, – неуверенно сказал Трибли.

– Брехня. Теперь легко всё валить на Геббельса, – никак не унималась Клош. – Может, он тебе и развестись с женой велел?

– Да, заставил. Сказал: «Выбирай, камерад, профессия или жена-еврейка». Чтобы она не могла влиять на мою ответственную работу.

– И ты, геноссе, выбрал карьеру? – поинтересовался любитель кальвадоса Хомбург. – В самом деле? Какой ты, к лешему, камерад?

– Зато какую карьеру! – сказала дама с укоризненным восторгом.

– Авто моё, между прочим, в том же 38 году забрали, чтоб ты знал. Тогда же и гражданства лишили. Но я себе в Швейцарии новую машину купил. Подумал, да подавитесь вы своим фашистским знаком три раза.

– А почему три? – спросил с удивлением старичок Трибли.

– Потому что дом – раз, машина – два, и 100 000 рейхсмарок – это три, – подсчитывая убытки, он разогнул три пальца на левой руке.

– Кстати, мой папаша в 32 году тоже хотел уехать в Швейцарию. Меч-

тал издавать эмигрантскую газету, – будто в оправдание сказал Трибли, – не вышло. Пришлось приспособливаться к новой жизни. Переменить убеждения.

В это время на другом конце причала идёт бойкая раздача лодок. Они то подплывают, то уплывают с весёлыми, романтическими пассажирами туда и меланхоличными – обратно. В общем, беспечная и легкомысленная, малозначительная с исторической точки зрения жизнь, в отличие от поучительных разговоров наших старичков о том, что недаром пожил человек.

– Правильно, и мне пришлось тогда туго, – сказала фрау Клош. – Я когда в 33 году увидела, как Мартин Мункачи сделал первые фотки штурмовиков СА в движении, я вся затряслась. Чуть ума не лишилась. Думаю – вот оно моё! А он – первый.

– Что оно твоё? – не понял Трибли.

– В смысле, искусство.

– Позавидовала?

– Пусть.

– Для божьего суда и следствия это значения не имеет, – сказал господин Хомбург.

– А что имеет?

– А ничего не имеет. Никто не знает – что.

– Лучше бы знать, чтобы не наделать глупостей, – сказала Клош.

– Ты уже глупостей наделала выше крыши.

– А куда подевался твой Мункачи? – спросил Трибли.

– В Америке, кажется, давно умер. Говорят, в бедности, – ответил Хомбург, – карьера у него не сложилась.

– Так кто оказался победителем, я или он? – спросила дама.

– Ты, ты! – ответил тот, что помоложе. – Он был еврей?

– Не знаю. Кажется, всего лишь венгр. Что тебе сдалось, еврей – не еврей? Все мы евреи, когда прижмёт, – сказал тот, что постарше.

– В каком смысле?

– Когда ответ держать надо.

– Я-то с какой такой стати? – удивился Трибли. – Я не согласен.

– У тебя фирма до сих пор под еврейским именем ходит.

– Вспомнил. Она была ариезирована ещё в 1933 году, когда меня там ни сном ни духом не было.

– Сменил бы ты имя, что лишний раз рисоваться?

– Ты хочешь сказать, что я заграбастал чужое имя и теперь жирую?

– Да.

– Все вы евреи такие.

– Какие?

– Наглые. Злопамятное и немилосердное население.
– С чего ты взял, что я еврей? – удивился старичок Хомбург.
– Сам фюрер говорил про тебя, что ты водишь дружбу с коммунистами, социал-демократами и прочими врагами режима, и, стало быть, ты еврей и соучастник мирового жидо-большевистского заговора против несчастной и одинокой Германии, окружённой врагами и друзьями, которые хуже врагов. Воевать толком не умели. Итальянцы – тьфу, вояки. Румыны – ещё того хуже.

– Никакой я не еврей. Дурак был твой фюрер – я был всего лишь воинствующий пацифист.

– Сам ты дурак. Фюрер был гений, но с ошибками. Например, в еврейском вопросе, – сказала дама.

– Вот кто еврейка, – Хомбург показал пальцем на старушку Клош. – Она точно еврейских кровей. Повернись в профиль.

Дама не пошевелилась.

– По бабушке? – спросил Трибли.

– Да хоть по матушке, – ответил Хомбург.

Старушка Клош предусмотрительно промолчала.

– А получается в итоге, что она-то и была ближе всех к вождю? – подвёл итог Трибли. – Я всегда знал: евреи известные проныры.

– Получается, так, – согласился Хомбург, – ну и кто тут опять дурак?

Дама наконец-то отреагировала и сделала вид, что обиделась, не без кокетства поджав губы. В этот момент между ними возникла такая пауза, когда становится понятно, что пришло время сменить тему – старую продолжать не было никакого резона. Впрочем, и охоты особенно ни у кого не было, как не хочется вспоминать какую-нибудь пакостную историю, в которую был втянут по глупости, наивности, по молодости лет или малодушию.

– Я так понимаю, – прервал паузу Хомбург, – Бог дал немецкому народу возможность беспрепятственно в течение 12 лет проявить свой национальный характер.

– И что? – спросил Трибли.

– Сколько говна полезло!

– Ты лучше скажи нам, как ты стал к войне не годен? – переменяла тему дама, глядя в сторону старичка Трибли.

– По болезни. Как же ещё?

– Чем же ты таким смертельным болел, что на войну не пошел, а в стариках ходишь, будто юный молодец? – не отступала фрау Клош.

– Выздоровел. С врачами после войны повезло, – не без ехидства заметил Хомбург. – Война кончилась, инвалидность как рукой сняло, сам удивляюсь.

– А ты почему не пошел? На стороне союзников, например, освободить нас от нацизма? – перескочила она на другого.

– У меня была уважительная причина. Я в первой войне всякого претерпел и насмотрелся. Три раза был ранен: в ногу, руку и шею. Крест имею за это, – ответил Хомбург.

– Ну, крест, положим, ты самовольно нацепил. Жаль, что тебя тогда с ним не поймали, – сказал другой старичок и мелко засмеялся, – испортили бы твою глянцевою биографию аристократа. Хрен тебе был бы, а не крест!

Старичок Хомбург смутился.

Так они сидели до ночи, друг с другом пререкались по круту и в перекрёстную, и смотреть на это – приятно до умиления.

Это застолье, несмотря на здоровье, бытовые и прочие возрастные сложности, продолжалось несколько лет, пока старичков не осталось двое, то есть в один объективно прекрасный, солнечный, майский день не пришёл старичок Хомбург, и хотя он был всего-то на два года старше пожилой дамы, Господь призвал его первым. Как утверждают знатоки этого дела из числа верующих, Бог поначалу прибирает тех, кто ему самому нужен, а потом согласно общей очереди.

– Хорошую, интересную, содержательную жизнь прожил господин Хомбург, – торжественно произнёс старичок Трибли, будто ораторствовал на похоронах.

– Не помню.

– Хотя бы заочно?

– Ходят слухи, это он тебя имел в виду, когда написал: «Геринг, к примеру, или вот Трибли, их гауляйтер, прошедший путь от гостиничного вышибалы до миллионера...»

– Совпадение.

– Да? А жаль, что гражданство ему назад не вернули.

– У него американское было, зачем ему наше, тевтонское?

– Хоть орден дали за заслуги. За неспособность изменить однажды принятым принципам.

– Я всегда знал, если что по молодости на себя прикинешь, обязательно потом получишь.

Они выпили за светлую память господина Хомбурга, она – белое вино, он – красное. Минуту помолчали.

– Привет карателям! – подсаживается к ним на пустующее место третьим, торговец антиквариатом и артефактами, – Изя Милявский. Он приносит старичку Трибли старые газеты. У того появилась новая страсть: он внимательно читает старые новости, особенно «Гамбург-

гер ной Цайтунг» сорокового года. Правда, после прочтения рвёт в мелкие лоскуты, как фюрер генералов после Сталинградской битвы.

– Что, место освободилось? – спросил Изя, ёрзая на жёстком стуле, – болен или помер кто?

Изя – маленький, полноватый, тоже старичок, в бейсболке на лысой голове и в очках. Изя – бич торговый, странствующий антиквар и оценщик, в некотором смысле циничный стервятник, перепродает произведения искусства после ликвидации скорбящими родственниками наследства, часто оказывается первым на заветном месте, для чего водит в округе дружбу со всеми доходагачами побогаче. Изя всегда в курсе их состояния здоровья, прикидывает последний час, что к чему и когда приступать с советами относительно накопленного добра и коммерческими предложениями по части бесполезной старой рухляди, среди которой подчас попадаются уникальные предметы и вещи, на которых можно недурно заработать.

– Господин Хомбург, царство ему небесное, – сказала мадам Клош.

Изя присвистнул:

– Это который с Пикассо и Модильяни дружбу водил? Мне там ловить нечего, только неприятностей наживёшь, – сказал он, потеряв к усопшему Хомбургу всякий интерес, и перешёл на свою тему.

– Я только одного никак в толк не возьму, вот вы все люди как люди, вроде бы по отдельности неплохие, вместе за короткий срок можете улучшить народное благосостояние, построить дороги и приумножить государственный ВВП, но на этом фоне у вас появляются такие завиральные идеи, что прямо ставь вас к стенке. Хоть под красным флагом, хоть под черно-красно-жёлтым триколором.

– А сам-то ты кто будешь? – спросила дама.

– В смысле?

– Где родился?

– В Берлине, понятное дело, – ответил Изя.

– Вот то-то и оно.

– Что оно-то?

– А то, что ты от нас не откальвайся и не скалься. Как говорится, где родился, там и ответ держи.

– Не так уже я, кстати, пригодился, чтобы ответ держать, если не считать того факта, что могу как общественник мозолить ваши карательные глаза. На старости ваших карательных лет. Потому что путного из вас, как и из меня, ничего не вышло, хотя вы сами о себе другого, я бы сказал, неадекватно завышенного мнения.

– Как это не вышло? Вот я на старости лет научилась нырять на морское дно и рыбок подводной камерой фотографировать. Даже фильм

«Триумф молчания» про них сняла. А этот ариец, – она показала на герра Трибли, – стал почётным гражданином Иерусалима, его сам мэр Эдди Коллек благословил.

– Это когда он от РАФ-террористов в Израиль сбежал, потому что они ему хвост за Рудика Дучке чуть не прищемили и редакцию подорвали? – сказал Изя, будто Трибли здесь вообще не было рядом. Но потом обратился прямо к нему: – Ну да, ты всегда любое своё поражение мог легко обернуть в свою победу. Ты и жить-то, как пишут твои биографы, начал после 45 года, когда тебе исполнилось 33, точно воскрес, как Христос на Пасху.

– А что ты мне прикажешь, было делать, когда без «Хайль Гитлер» в трамвай было не сесть? – защищался Трибли. – Когда всё в одночасье стало национал-социалистическим, даже скамейки в парке?

– Пешком ходил бы, как праведный еврей в субботу. Избегал бы покупать в национал-социалистических булочных.

– Я бы тогда с голоду помер. Говори, да не завирайся. – Трибли вдруг обиделся.

– Не хочешь быть евреем?

– Нет.

– Не будь, – согласился Изя. – А кем?

– Я был внутренним эмигрантом.

– Поэтому кричал громче всех, чтобы на тебя не подумали? «Создание гетто – единственно верное решения еврейского вопроса в Генерал-губернаторстве... Впервые за последние сотни лет евреев наконец-то заставят правильно работать». Не ты ли это писал?

– Все писали.

– У тебя «Гитлер капут» с тех пор на лбу написано. Сотри, – не унился Изя.

Мне показалось, что они нутром почувствовали, что их слушают, потому что вдруг перешли на английский, чтобы их не понимали. «Ну-ну, – подумал я, пусть ребята заблуждаются. Однако теперь они станут откровеннее» – продолжил я свою мысль. Так оно и вышло.

– Какие мы тебе каратели? Я что, людей, по-твоему, вешал? – возмутился старичок Трибли.

– А кто же вы мне такие? Вас послушаешь, так выходит, что каждый взрослый немец в войну прятал по одному еврею, что евреи всю войну были сыты, обуты и нос, как говорится, в табаке. Нас, как вы нас тогда любили, должно было бы после войны стать по меньшей мере на 30 миллионов больше, а получилось на 6 миллионов меньше. Видать, позабыли, как бедного «мойшеле» голышом по улице всем городом гоняли? Поэтому мне плевать, кто из вас с ружьём ходил, кто кляузы писал,

а кто еврейскую кровь по архивам рыскал, потому что для меня чисто арифметический убыток налицо.

– Я, по-твоему, из-за каких-то цыган, гомосексуалистов и евреев, само собой, должен был жизнью рисковать? Не вижу здравого смысла.

– Выживает сильнейший? Так?

– Да, я в жизни кроме фотокамеры ничего в руках не держала, честное слово.

– Ты у них, дорогая, у победителей, справедливости не ищи, – выдвинул свой аргумент герр Трибли, – Я, может, в войну занимался беллетристикой, страдал дистрофией, искривлением позвоночника и пороком сердца. Мне ничего тяжелее авторучки или карандаша нельзя было поднимать. Я в войну был ни на что не годен. Какие могут быть ко мне претензии?

– Стало быть, ты кляузы и гадости писал, – сказал Изя.

– Чудеса! – воскликнула возмущённо дама. – Как же ты больной умудрился жениться на манекенщице и одновременно трахать дочку генерала войск СС, командира всего северного региона? Ты ещё говорил, что боролся с нацизмом. Страдая дистрофией?

– Я всегда говорил, что боролся... как мог. Я, между прочим, на ней после войны женился, всё по честному.

– Из мести, что ли?

– Из благодарности!

– Он её от нацизма освобождал, как сказал бы один наш уважаемый президент.

– Совсем запутали, – сказала дама.

– Ты не с фашизмом боролся, ты от восточного фронта увивал, – сделал вывод Изя.

– Хоть бы и так. Что мне следовало погибнуть под Могилёвом? Чтобы домой пришла похоронка: «Погиб за Великую Германию» хрен знает где? В гробу я других видал! В то время все, как ненормальные на фронт валили, а я – наоборот. Дудки вам всем!

– Тогда прямо и говори, что струсил, – съязвил Изя.

– Это у него называется саботаж, – усмехнулась дама и впервые за все годы махом осушила бокал. – Я, в отличие от этого оппортуниста, честно ни разу не увильнула от линии партии, отчего в конечном итоге пострадала больше всех.

– Зато, как змея, живёшь дольше всех, – это была тонкая месть герра Трибли.

– Я, между прочим, из-за вас четыре раза туда-обратно через границу ходил.

Тут Изя, конечно слегка приврал. Через границу он ходил всего два

раза. Он действительно родился в Берлине в 1924 году в семье хозяина типографии, умело превращавшего крепкий советский рубль в дешёвую книжную продукцию. В 1933 году к власти стремительно, как торнадо, пришли нацисты. Отец решил покинуть Германию, но ни одна страна ни за какие деньги не брала семью из-за советских паспортов. Даже Бразилия, возле посольства которой Моисей Израилевич простоял пять суток в надежде на добрую волю коррумпированного консула и претерпел издевательства немецкой передовой молодёжи из штурмовиков СА, устроивших антисемитское дежурство на улице Кудам, возле дома 203/204, где выдавали визы. В итоге, семье пришлось нехотя вернуться в СССР, пароходом в Ленинград, – это, собственно, был раз, – где отца сразу арестовали и приговорили, как немецкого шпиона к 10 годам без права переписки, по ходу расстреляли и не промахнулись. Изя выучил русский и кое-как закончил школу. На войну пошел добровольцем бить фашистскую гадину, лишившей его родины, и добивал гадину до Берлина – это, понятное дело, было два, – но оттуда после войны в СССР не вернулся, не видя смысла – мать погибла в блокаду, других родных он не знал. Так что Изя из невозвращенцев и дезертиров, хотя, если он родился в Берлине, то неясно, где его родина и куда ему правильно было возвращаться, а долг он свой исполнил.

– Это я не тебе в 45 году, – продолжал Изя, – кашу возле Яновицкого моста из котла черпал, а ты на меня телячьими глазами смотрел, потому что хотел жрать?

– Не, я тогда ещё в Гамбурге через послевоенные кошмары проходил. У союзников.

– Тогда извини, тебе сильно повезло. Тогда тебе?

– А что я-то, вдруг? – снова возмутилась дама.

– Небось, тоже форму от Гуго Босса носила? Вы мне тогда, каратели проклятые, все были на одно поганое, арийское лицо и среднего пола. Я может, из-за вас свою карьеру не сделал, не женился и полжизни загубил. Теперь, правда, я отдыхаю за ваш немецкий счёт, но считаю, что это совершенно справедливо. Хотя, пенсия у меня маловата и шалашик невелик, не то, что ваши дорогие хоромы, – он показал на серый дом за платанами, – но зато каждый год добавляют из фондов как трижды пострадавшему от фашистской нечисти, депортации, оккупации и как ветерану объединённого антифашистского фронта. И мне есть куда сходить – хоть в Тиргартен на День освобождения завтра, хоть в Трептов-парк на День победы послезавтра, где «русский Ваньюшка держит немецкую рабёнку на руках», – сказал Изя, нарочно коверкая русскую и немецкую речь.

В этот день другим старичкам нечего было возразить, и Изя вышел

из-за стола победителем на фоне багряного заката. Что было – то было.

В другой год зима была холодная и затяжная, весна нерешительная и сырая. Мне не терпелось снова увидеть моих старичков, но пришлось снова ждать начала мая, когда промёрзшее и понурое население стало выползать под лучи солнца, и даже некоторые собаки улыбались ему до ушей. В этот раз за столом сидели двое, пожилая дама и Изя. Господин в шляпе-трибли, как оказалось, больше не придёт. На этот раз я осмелел и подсел к ним третьим. Я сказал, что вот уже много лет наблюдаю за ними и невольно слушаю их задушевные разговоры. И что ушедшего старичка жаль.

– А что его, собственно, жалеть? – спросила дама и сама сделала убедительный вывод. – Нормальную жизнь прожил, долгую и содержательную. Всё, что хотел, – всё сделал. Был четырежды счастливо женат, оставил после себя поучительную биографию и примерное состояние. Почитается бургерами и одновременно евреями, чуть ли не как праведник.

– За перемену убеждений не судят, – сказал Изя.

– Он, пожалуй, был самый удачливый из вас, – сказал я.

– Сынка его только жаль, не справился он с жизнью. Сильно много противоречий на юную душу папаша оставил.

– Согласен. Однако всегда заблуждался в правильном русле.

Изя почему-то тяжело вздохнул.

– Мне вон при новой жизни запретили делать кино, снимать людей. А ему хоть бы хны. Типа пиши, брат, пиши, как раньше, работай, сочиняй, издавай, зарабатывай, плати налоги, – сокрушалась дама Клош.

– Несправедливо? – спросил я.

– Ну да. Хомбурга всего лишь задрипаным орденишком наградили, пять лет подряд не могли улицу его именем назвать. Жители родного города были против. А этому – улица в Берлине, площадь в Гамбурге...

– Верно, страна у нас такая: боремся за мир, зато все оголтелые патриоты, воюем против расизма и одновременно гоняем негров по улице, как в Луизиане, рекордная благотворительность и добродетель налицо, зато пусть живут у себя и к нам ни ногой. Опять же, если ты хоть каратель и сволочь, получи пенсию, а если ты пацифист и против режима, держи только жалкую подачку на жвачку, – сказал Изя и строго посмотрел на всех.

– Противоречивая у нас страна, – согласилась дама.

– Скажи честно, зигануть не чешется? – спросил неутомный Изя.

– Чешется, – призналась дама Клош.

– Вот и получается, что неизвестно, кто кого в финале победил.

- А как же конец войны? — спросил я.
- Это был всего лишь полуфинал, – ответил Изя.

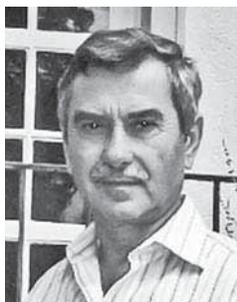
Однажды ранним, но исключительно тёплым весенним днём я снова пришёл на пристань. За столом, где собирались наши старички, никого не было. Не было и на следующий день. В воскресенье я отправился на антикварный рынок Восточного вокзала узнать про Иziu. Мне сказали, что Изи здесь больше нет. Он живёт теперь в Израиле и ждёт своего условного часа. О старой даме спустя месяц я прочёл некролог в газете и увидел большую телевизионную передачу. А недавно мне попалось интервью с бывшей женой, покинутой нашим собеседником в шляпе-трибли в 1938 году. Она пережила своего знаменитого старичка и призналась, что в итоге житейских раздумий он давно не её герой.

Мне стало жаль, что я больше никогда не услышу их разговоров на пристани под шорох лёгкого ветерка, заблудившегося в листе платанов, и буду в одиночестве краем глаза наблюдать нескончаемую борьбу уток за кусок раскисшего в воде соблазнительного хлеба. А ещё я подумал, грешным делом, о том, какая же у них была интересная, увлекательная и даже в некотором смысле захватывающая жизнь, отданная в общем и целом ни за что.

И в итоге пришёл к простому, но назидательному выводу, что хороший человек всегда проживёт хорошую жизнь, а плохой – плохую. Хоть короткую, хоть долгую. Так сказал один известный раввин.

И ничего тут не поделать, как ни крути.

Феликс Фельдман



ЯБЛОЧКО

О том, что собрался на Днестр, Мишка ничего не сказал маме. Когда по городу разнеслась весть об утонувшем на «Сухом Лимане» мальчишке, ходить на Днестр без взрослых было строго запрещено. Плавать Мишка не умел.

«Сухим Лиманом» называли, собственно, ручей, который разрезал Западную и Восточную половины города Тирасполя. Большую часть года он действительно был сухим. Его русло пролегалo по левой стороне небольшого парка, если смотреть с главной улицы. Оно шло через низину, ничем не застроенную. Над ручьём был проложен мост. Перед и за ним, устье ручья, впадавшего в Днестр, было достаточно глубоким, а берега крутыми. Днестр же – река непредсказуемая. В период вскрытия льда, в марте-апреле, его разливы были в те времена столь значительны, что вода заполняла всю низину «Лимана», а иногда и прибрежные улицы города, добираясь почти до «Свердлова», на которой жил Мишка. Эти разливы случались даже летом и осенью, когда в Карпатских горах таяли снега или шли продолжительные проливные дожди.

Ребята с Мишкиного двора прекрасно знали и это, и про утопшего мальчишку, да и сами любили купаться ранним летом в «Лимане», потому что вода там стояла долго, была теплее, чем в реке, и было мелко. Нырjali смельчаки только у моста. Утонувший мальчишка был приезжим и русла ручья не знал. Ныржая, он ударился головой о камень и, с точки зрения ребят, сам был виноват; поэтому запрет родителей они считали несправедливым.

Мишка ещё и потому не хотел просить у матери разрешения, что в это летнее июльское утро ребята собрались и не купаться даже, а воровать в саду яблоки. Вовка Нечипоренко обнаружил на правом берегу,

если идти вниз по течению километра два, огромный яблоневый сад, который принадлежал кицканским монахам.

Мужской монастырь в правобережном селе Кицканы был возведён ещё в середине девятнадцатого века, считался знаменитым, но ребят это не интересовало. Важно, что Вовка обнаружил лаз в высоком сеточном заборе с колючей проволокой поверху. Заграждение отделяло сад от побережья реки.

Когда мама разжигала в прихожей дома примус, чтобы жарить к обеду котлеты, Мишка потихоньку проскользнул мимо. По яблоки собрались втроём. Кроме Вовки, шёл Витька Щедрин. Вовка, на два года старше обоих и остальных ребят во дворе, с грубоватым лицом крестьянина, считался атаманом, был коренаст, широкоплеч, отлично плавал. Шестиклассник Мишка Гольдман, лучший математик в классе, победитель олимпиад. Вовка же с предметом не дружил и частенько просил помощи.

Идти решили коротким путём. Со Свердлова свернули на Шевченко мимо двухэтажного здания, на глухой стене которого висел огромный портрет Сталина, пересекли улицу Восстания и спустились с берега к паромной переправе. За паром, разумеется, платить не собирались и направились к городскому мосту. До него метров четыреста. Однако, на полпути возникло первое препятствие, которое почему-то не учли – переполненное водой глубокое устье «Сухого Лимана».

– Дурная примета, – нарочито мрачно сказал Витька. Его мать была депутатом райсовета, и он любил повторять фразы взрослых.

– Да не бзди ты, – огрызнулся Вовка и скомандовал:

– Снимайте шмутки и вяжите на голову. Поплыли. По дороге обсохнем.

Мишка почувствовал, как слабеют ноги. Ему было стыдно, что до сих пор не научился плавать. Не то, чтобы страдал водобоязнью, просто кружилась голова, когда смотрел на глубокую воду.

– Пацаны, я пойду в обход, – робко попросил он.

– И чё! Мы тебя ждать будем? – возразил Вовка. Он ступил в воду, оказавшись в ней по пояс.

– Слезь сюда, и не бойсь! Держись за мои плечи и толкайся ногами лягушкой, – сказал, как отрезал.

Сопrotивляться Вовке было бесполезно, повернуть домой – стыдно. Внутренне трепеща, Мишка дотянулся до протянутой руки и плюхнулся рядом с Вовкой, судорожно обхватив его и стараясь не глядеть налево, где катил свои мутные воды широкий Днестр.

– Давай, давай. Всё понял? – удивительно спокойно произнес Вовка и оттолкнулся от дна.

Хотя плыть было метров десять-пятнадцать, но на середине потока Мишка вдруг ощутил себя в воде совершенно спокойно. Удивительное чувство лёгкости охватило его тело. Ему казалось, что плывёт он уже очень долго. Не плывёт, а парит. Он ритмично и совсем не судорожно, как в самом начале, работал ногами. Вода ласкала его, и тело нежилось в воде. Вовка раздвигал её могучими гребками, продвигаясь вперёд, и Мишка подумал, что сними сейчас он руки с вовкиных плеч, то смог бы точно также грести и доплыть до берега сам. Он был счастлив, не слышал болтовни ребят, погружённый в себя и в ощущение свершившегося чуда.

На другой стороне пошли вдоль реки по вьющейся между деревьями и кустарниками тропе.

– Курить будем? – важно спросил Витька, шаря в кармане.

– Где взял? – удивился Вовка.

– Он из маминых «бычков» крутит, – продал Мишка.

– Иди ты! – замахнулся белобрысый и долговязый Витька, но Мишка увернулся и витькина ладонь, словно весло, не попавшее в воду, пролетела над его головой. Прикурить не удалось, потому что самокрутка всё-таки подмокла.

Шли мимо излюбленного населением города дикого пляжа, здесь река через сотню-другую метров разворачивалась градусов на сорок. Правый берег был крут, но, тем не менее, до начала разворота образовалась отмель, особо пригодная для не умеющих плавать. Далее тропа становилась малохоженной, зато свободной от мусора. Вовсю заливались соловьи, пахло неповторимым лесным запахом. Ребята миновали излучину, и Днестр предстал перед ними во всём великолепии. Широкий, полноводный, он больше не капризничал, не метался влево-вправо и с величавым достоинством, не спеша, катил свои воды к Чёрному морю. Вдалеке выростали очертания фруктового сада, и ребята побежали трусцой среди деревьев.

Обнаружилось, что лаз не заделан. Собственно, он оказался щелью между покосившимся столбиком и могучим дубом, вставшим на пути ограды. Такой проход был для ребят важен, потому что не нужно было проникать на территорию ползком. Пальметных, то есть карликовых, садов ещё не существовало, и фруктовые деревья стояли трёх-пятиметровой высоты. Предстояло отыскать «Белый налив» и пару американских скороспелых сортов, что для опытных воришек проблемы не составляло.

Действовать следовало быстро, опасаясь сторожа, иногда и с собакой, поэтому яблок не ели, а собирали за пазуху. Вовка подставлял спину, Мишка с живого трамплина хватался за ближайшую ветвь и, взобравшись на дерево, сбрасывал ребятам плоды на мягкий, вспаханный грунт. Так и распределяли роли, Мишка, лопоухий, некрасивый, с уди-

вительно длинными и цепкими руками был к тому же и лучшим гимнастом в школе.

Набрав яблок, возбуждённые, двинулись к лазу. И вдруг...

То самое «вдруг», которое ломало замыслы и опытных разведчиков, и исследователей, и строителей, и бог знает ещё кого. Возле лаза стоял здоровенный, весь в чёрном монах с лопатой в руке. Должно быть собирався перезакопать и укрепить крепёжный столб изгороди. Тёмное лицо его то ли молдаванина, то ли болгарина не предвещало ничего хорошего.

– Вениц аичи (подойдите сюда), – сказал он по-румынски, завидев шельм. – Скотец (выкладывайте)!

Поскольку ребята мешкали, он бросил на землю лопату, захватил ближайшего Вовку и выдернул из его штанов рубашку. Яблоки посыпались наземь. То же проделал с Витькой. Мишка выложил добычу в общую кучку сам. Затем монах, сверкая глазами, ухватил Витьку с Вовкой за шиворот и скомандовал, также по-румынски:

– Фаче це вэ круче! (Ну-ка, перекреститесь!).

Вовка – нехотя, Витька – испуганно, перекрестились.

– Ынке о дате! (Ещё раз!) Ещё!

Затем, хохотнув, выбрал из кучи два крупных яблока, вручил обоим и выпихнул в щель.

– Крестись! – приказал также и Мишке.

– Я... я... я пионер, – пробормотал Мишка, пряча глаза. Монах посмотрел на него тягуче долгим, тяжёлым взглядом.

– Жиданул? – Он помолчал, подумал, затем взяв его за ворот, пошарил в куче яблок, выбрал которое – поменьше, и выпихнул Мишку вместе с яблоком за лаз. Обескураженные, ребята побрели домой. Вовка и Витька всё слышали. Долго шли молча. Впереди Вовка, за ним Витька, последним Мишка.

«Ну что он такого сказал? – утешал себя Мишка. – Ну да, в молдавском языке не говорят «жидан», правда, официально. Пишут «суреу». А по-польски, жид – нормально. Тётя Роза объясняла, что это от немецкого «юд», то есть иудей. И на идише «а ид». Спросил бы, если ему так важно: «Иудей?» Разве я против. Правда, я пионер, неверующий. Ещё тётя Роза говорила, что ихний Иисус это наш еврейский мальчик от Мирьям, дер ман фун Нойцерес (человек из Назарета). Неважно, что давно было. Выходит, он тоже – жидан?»

Мишка вспомнил, как тётя Роза шепталась с мамой о каком-то очень важном артисте, которого, по её мнению, просто убили власти. Мама возражала: «Не может этого быть!» «Шейндл, а почему больше нет радиопередач на идиш? Почему запретили еврейские журналы? Почему

закрыт еврейский театр в Москве? Ты веришь этим безбожникам? Дай Бог дожить, так ещё что-то узнаем», – не унималась тётя Роза.

Мишка знал, что она прятала сверху, на печи какие-то очень старые религиозные книги, ходила в тайный молеальный дом, потому что официально синагоги в городе не было. Разрешались православная и староверческая церкви, а синагоги не было. Тётю Розу люди уважали, и Мишку терзали сомнения, он помнил, как в классе им ставили в пример Павлика Морозова. «Выходит, он должен донести на тётю Розу?» Но он любил её, а она, не имевшая детей, его обожала. Когда бы он ни приходил, всегда для него было приготовлено что-нибудь вкусненькое. Она бурно спорила с соседкой, защищая его, если он забирался на обшедворовую вишню.

Тем временем ребята приближались к мосту. Вовка оглянулся и стал подгонять товарищей. Чтобы найти хоть какую-то отдушину за постигшую их неудачу, в которой считал себя частично повинным, он предложил вечером пройтись по чердаку соседнего дома. В окно на крыше легко было проникнуть по растущему рядом дереву. Фонарик у него был, а на чердаках всегда находили что-нибудь стоящее. Однажды они нашли револьвер, правда, заржавленный.

Предложение понравилось, и ребята прибодрились. Мишка достал из кармана яблоко и с неутолённой ещё злостью надкусил его. Горький, железный привкус заполнил весь рот, и какой-то с гнильцой запах добрался до носа. Он глянул на яблоко. Из надкуса наполовину в коричневатой мякоти было зажато тело червя, а другая его половина отчаянно пыталась выбраться на свободу. Влево-вправо, влево-вправо, вверх-вниз, вверх-вниз. Червя это не удавалось. С отвращением и, вспомнив обидные слова, Мишка размахнулся и запустил яблоко в Днестр. Бросок был мощным, закрученным. Плод, описав дугу, попал как раз в середину стремнины у моста. Течение здесь было сильное. Яблоко сначала потонуло, но потом его выбросило на поверхность потока. Затем оно еще раз погрузилось и вновь его вынесло, уже кружа-вертя надкусанной частью кверху, и прочь по течению непредсказуемой реки.

Витька посмотрел на Вовку. Не стовариваясь, они достали свои го-стинцы и запустили их вдогонку отвергнутому. Река покорно приняла их дар. Все трое расхохотались. Через пару минут они взошли на мост. Долговязый Витька встал посредине, Вовка с Мишкой по краям. Они обнялись и, довольные собой, зашагали по мосту. Три левые ноги – влево, три правые ноги – вправо. И снова: три левые ноги – влево, три правые ноги – вправо. Уже солнце поднималось к полудню, становилось жарко и в душах не оставалось больше обид.

* * *

Впервые музыку я слышал в слове,
тот говор южный дорог мне вдвойне,
и голос матери сопранный, вдовый
поёт страницей букваря во мне.

[69]

Слова я перекладывал на ноты,
смешались в них и дойна, и нигун,
а буква «р», не дотянув до квоты,
шла напролом в строку, как дикий гунн.

И в стенах лет своих, во дни сомнений,
шагая по судьбе, как по слогам,
искал себя в душе стихотворений
и веровал, и доверял словам.

Да и сейчас, вдали от русской речи,
нагромождая строфы-этажи
и слов печаль взвалив себе на плечи,
я строю дом, в котором можно жить.

ВЕЧЕР

Тёмно-синий, загадочный вечер
оттеснил за деревню зарю,
и под древние, звёздные свечи
отплывает луна к сентябрю.
В приутихшем, задумчивом парке
низошла на меня тишина,
а в окошке под светом неярким
за шитьём и вязаньем – она.
Белоснежные руки, что птицы,
и покоя не знает клубок.
До чего ж соблазнительны спицы,
превосходны труды твои, Бог.
И лозы виноградной оплетья
предночную покрыты росой.
И взирают в окошко столетья,
изумлённые юной красой.

Пусть луна с материнскою лаской,
неспеша разукрасит ей шаль
и серебряной, праведной краской
дорисует мою пастораль.
Что мечтать и смущаться без толку,
если в парке кружит листопад...
Я бы нитку продел ей в иголку,
но, скорее всего, невпопад.

ДЖОКОНДЕ

В лёгком облаке тает,
растворяется сон,
и неслышно летает
над мной Купидон,
он ещё до рассвета,
как младенец, нагой
над твоим силуэтом
изогнулся дугой.
В полудрёмном блаженстве
полусомкнутых век
мне явил совершенство
расторженный век.
Я сквозь ритмы дыхания,
как в волшебный эфир,
погружусь в подсознания
неизведанный мир,
и, сочтя за ошибку
глаз чужих слепоту,
я твою улыбку
как улыбку прочту.
Мне от взора Джоконды
не уйти, не уйти –
вековечное рондо
на коротком пути.
Он, маня, будоражит
и загадочно скуп,
но о чувствах расскажет
откровение губ...
Разомкнулась услада.

Приоткрылись уста
и читается радость
с неземного листа.
Пробуждением взвинчен,
растворился покой.
Леонардо да Винчи
помахал нам рукой.

[71]

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Помечен в синий цвет холодный фронт,
зевает солнце, встав едва с постели,
и, согревая осень еле-еле,
не прочь опять удрать за горизонт.

Каштаны барабанят тротуар,
свернулся грязно-серый лист ладошкой,
пока грибами полнится лукошко,
но поседел от инея бульвар.

Последний гром, как старческий озноб,
дождём пробрало, как холодным потом;
она, увы, надеется на что-то,
однако же, нелестен гороскоп.

Была она когда-то и весной,
была солидной дамой знойным летом,
а ныне, как старуха, разодета,
хоть кожа светит блеклой желтизной.

Бредёт она к зиме походкой шаткой,
а поутру всплакнёт еще росой,
как женщина, стареющей рукой
слезу со щёк смахнувшая украдкой.

* * *

Была в тот день отличная погода,
влюбиться было, право, не грешно.
Я вам сказал по-польски: «Вы урода»,*

а вы, смутясь, шепнули: «Не смешно...»
 От холода мы хлопали в ладоши,
 когда вдвоём взбирались на уступ.
 Я выдохнул на ломаном: «Пше прошам»**
 и уголка коснулся ваших губ.

Мы поднимались на гору всё выше,
 а я ловил ваш радостный настрой.
 Вверху видны нам были только крыши
 и чашей возлежал Звирадов-Здрой.***

Прижались вы, как будто бы от стужи.
 Я ощутил волнение груди.
 От робости вы вскрикнули: «О, ужас!»
 И слабо прошептали: «Пощади».

Вот, женская стыдливости преграда
 да нравы, что природу тормозят.
 И много ль одинокой пани надо
 в то время, как ей лет...
 за шестьдесят.

* Урода (польск.) – Красота.

** Пше прошам (польск.) – Извините.

*** Звирадов-Здрой – Курорт
 в изерских горах (Польша – Чехия).

* * *

Томный пруд, тонкий лёд, зимний парк;
 графский замок, деревья безлисты;
 ты и я, мы под небом лучистым,
 и синеющий вьющийся пар.
 Эта бело-упругая грудь,
 эти тонкие, стройные ноги!
 Я в глазах твоих чёрных и строгих
 безотчётно хочу утонуть.
 Ты моя стародавняя страсть,
 я тебя умыкну из усадьбы,
 как гусар, разгулявшись, для свадьбы

в ночь готов был невесту украсть.
Обнимать тебя так хорошо;
я смакую прохладную негу,
по пушистому свежему снегу
мы, ликуя, летим гольшом
и, восторг предвкушая, дрожим,
шлём воинственный клич небосводу
и, с размаху в тяжелую воду
приводнившись, ревём, как моржи...

[73]

До чего же уютен тулуп.
Полыхает пожаром всё тело,
и тебя я моржихою сделал.
Оглянись – как лоснится твой круп.
Подкормлю тебя в стойле овсом,
сняв сперва удила и уздечку,
растоплю изразцовую печку...
Тихий пруд. Ясный день. Графский дом.

МАЙ

Коварный май обдал холодным душем.
Каштаны, забеременев, едва
вошли во цвет под диктатурой стужи.
Мальчонка в парке, топая по луже,
в уме перемножает дважды два.
Деревья меж собою по секрету
шушукуются, кроной шелестя,
а ветер, воя, выдохнул примету,
что, как ни жаль, – не быть, наверно, лету,
хоть белый выставляй погоде стяг.
Ручей озяб и хрипло у порожка
ведёт свой бесконечный монолог,
гостей незваных «намывает» кошка,
поэт рифмует и хандрит немножко,
но мысль зажата и хромает слог.

Того гляди, тебя я в Старом Свете,
там, где каштаны кроной шелестят,
вновь повстречаю, а скиталец-ветер

прошепчет нам, ведь он-то безответен,
что у меня с тобою есть дитя.
А я отдать готов был богу душу,
когда ты, забеременев, едва
решилась: быть тебе с постылым мужем,
сказав мне, окатив холодным душем,
что это ясно, словно дважды два.

Константин Кербель



[75]

Д и П / 2016

ТЮРЬМА

*Из цикла рассказов «КАРУСЕЛЬ»
(первую часть – «Алтайский ужас», см. в альманахе «До и после» №17)*

Часть вторая

Ментовский «воронок» припарковался по всем правилам скрытого от посторонних глаз перемещения пассажиров. Его крылья зафиксировались, как продолжение боковых бортов. Открытая двухстворчатая дверь почти вплотную соединялась с машиной. Шесть человек, по двое на один «браслет», прыгали, вытягивая вперёд окольцованную руку. Наручники обладали способностью при рывках ту же защёлкиваться.

Перед первой камерой сопровождающий сержант раскандалил залётных. Во время поездок все они молчали. Какой-то груз продолжал давить на голову, плечи, ноги. Он не отпускал даже в этой удлинённой комнате без окон, с одной лампочкой над дверью. Она освещала тёмнозелёные стены, отштукатуренные из брандсбойта. Раствор застывает, чуть скатываясь и приобретая форму заострённой капельки. Прислоняться к такому «ёжику» ни у кого не было желания.

Стали вызывать по одному. Сеньку провели по коридору. Камера была открытой. Просторная, с двумя лампами и большим столом. Мужчина в хэбэшном костюме, нелепая пилотка с козырьком, скрывающим глаза, коротко прослуживил:

– Раздевайся, ремень и шнурки – отдельно, часы в коробку.

Звуки растекались, примоченные липкой слюной. Так бывает у пожилых людей, когда отсутствуют передние зубы.

– Труссы снимай тоже.

– Плавки, – со злостью поправил Басов ссученного.

Поэзия и проза

Он стоял на бетонном полу, наблюдая, как этот «паук» прощупывал швы, выворачивал карманы, поднимал стельки ботинок.

Низко опустив голову, отошёл очень близко.

– Руки в стороны. Подними мошонку. Повернись. Наклонись вперёд. Раздвинь ягодицы.

«Тварь оценочная», – губы скрипели в бессильной ярости.

– Повернись. Руки вперёд. Приседай. Можешь одеваться.

Мелкая дрожь пульсацией проносилась по телу и заканчивалась на кончиках пальцев. Опять собрали всех вместе. Двое конвойных, один с карточками, подвели к каптёрке. Каждый получил по одеялу, простыне и подобию подушки с комками ваты. Всё тёмносерого цвета, влажное и тяжёлое. Вели долго.

Сначала под землёй, потом пересекли двор и через решётчатые двери поднимались и опускались с этажа на этаж. Перед камерами кого-то сдавали дежурным. Сенька остался один.

– Этого куда? – обратился конвойный к лейтенанту, сидевшему за столом.

– Давай его на СПЕЦ, – делая пометку в карточке и в журнале, произнёс он.

Опять пересекли двор и вдоль высоченных заборов поднялись на третий этаж отдельно стоящего здания.

– Номер шестнадцать, – отметил дежурный, открывая камеру.

Ширина чуть больше двух метров. Справа, замурованная в бетонный пол, кровать с приваренными, широкими железными лентами – «шпонка». Матрас свёрнут. Напротив, в углу, фляга под крышкой.

Запах сразу выдал её предназначение – «параша». Под потолком вытянутое окно, задраенное решёткой.

При желании можно подтянуться, но подоконника нет, лишь косой срез забелённого кирпича.

«Значит СПЕЦ – это одиночные камеры», – невесело подытожилось в сознании.

Семён заправил «шпонку», сбросил ботинки и растянул во всю длину молодое тело. Удар в дверь бухнул неожиданно, заставил вздрогнуть.

– Лежать от отбоя до подъёма, – прогремел дежурный, и над «кормушкой» в двери закрылся «глазок». Пришлось сесть, одеть ботинки, – пол был холодный. Беспоконная нервность, внутренняя усталость прикрыла веки и погрузила в лёгкую дрему.

Ночь была тёмной, безлунной. Мелко покапывал майский дождик. Автобус продолжал маршрут, освещая огнями двух молодых людей и женщину. Зимин подошёл к ним вплотную. Широкоплечий развернулся.

– Это опять вы, щенки. – произнёс он, и желая отмахнуться от назойливых приставал, открытой рукой решил дать хорошего подзатыльника, но рука не дотянулась, почему-то застыла на полпути. Не почувствовав боли, мужчина в недоумении, с любопытством рассматривал свою ладонь, пробитую ножом.

– У них нож, – истерически крикнула женщина.

Страх сначала повис в воздухе, затем прокрался в каждую клеточку их тел. Сорвав ладонь, мужчина свалился с насыпи дороги, брызгая кровью в лицо и грудь Зимина. Мужчина и женщина побежали по дороге. Бульжники в каплях дождя блестели мириадами светлячков.

– Школяр, догони этих сук, – в бешенстве прокричал «Туз».

Басов бежал легко и весело. Потоки влажного воздуха освежали лицо. Хмель выветривался. Женщина упала. Мужчина не обернулся.

– Вот жлоб, не помог.

Теперь его гнала злоба, он знал точно, – этот никуда не убежит. Руки скользили по плащу. Беглец остановился и оглянулся. Преследователь налетел на него. Они стояли, чуть-ли не обнявшись, как закадычные друзья. Дыхание вырывалось с трудом. Семён потянул за плечи и ударил коленом в широко расставленные ноги. Боль согнула пополам, он опустил руки, прикрывая промежность. Правой, описав полукруг, снизу вверх резко впел в подбородок. Мужик присел и повалился набок.

– Будешь знать, как бегать, избрызгался весь.

Отойдя на несколько метров, стал очищать свои брюки и туфли. Прервал глухой стон и возглас Даргея:

– Вот живучий, собака.

Подбежав к друзьям, увидел, как один сжимает окровавленный нож, другой пинает лежащего мужчину.

– Ты зачем бил открытым? Я ведь догнал его. Тебе этого мало?

Зимин поднял глаза. Они были безумно-бесчувственными, ничего не видели и не понимали.

– Стой. Стой, – это я, ты видишь, Туз.

Он остановился и прошептал: «Сматываемся».

Щёлкнула задвижка. Открылась кормушка, рука поставила алюминиевую тарелку с перловкой на воде, ложку, кружку с кипятком и пайку ржаного хлеба.

– Принимай, – проговорил кто-то за рукой.

Поставив тарелку на колени, поковырял ложкой. После домашней пищи, такое не лезло в глотку. Кипяток без сахара. Через час кормушка открылась.

– Посуду и кружку оставь.

Стало смеркаться. В камере зажгли свет. Дверь открылась. Мужчина небольшого роста. Монголоидной расы, в солдатской форме, на погонах большие буквы «В». Ясно – внутренние войска.

- Бери парашу и на выход. – приказал он зло и отрывисто.
- Я не пользовался.
- Туалет ополоснёшь, – без всякой связи сказал «взвэшник».

Первая ночь прошла тревожно. Сон прерывался. Возникали образы родных и любимой. Все они смотрели как-то осуждающе, но с грустью. Мать плакала, отец крепился, сравнивая сына с птицей.

Проснулся рано. Лампочка горит. За окном темно. Всё лицо в слезах. Сенька повернулся на живот и захватив зубами угол подушки, забился в глухих рыданиях, содрогаясь всем телом. Стон рвался из живота, подпирал грудь, рвал губы и щёки. Он глотал его, выпуская только лёгкими всхлипываниями. Так скулят щенки, брошенные на произвол судьбы. Возможно, каждый испытывает потребность слезами очищать свою душу.

- Так нет же, нет.

Он кулаками растёр глаза, криво усмехнулся.

- Шалишь, слишком просто. Надо выстоять. Обязан победить.

Впереди были ещё восемьдесят девять дней и ночей. Сломать его было уже невозможно.

- Постельное бельё и с вещами на выход.

«Дубак» провёл по этажам. Вышли к прогулочным дворикам. Поднялись на второй этаж главного корпуса.

– Камера семьдесят пять, – отметил в карточке, открыл дверь и пропустил сидельца.

Она была необыкновенно большой. Под потолком четыре окна за козырьками. Августовский прохладный воздух не мог перебить спёртый, пропахший потом и прелой гнилью, запах. Около трёх десятков человек располагались на двухъярусных нарах вдоль трёх стен. Посредине большой стол с двумя скамьями по бокам.

– Трамвай. Трамвай, – закричал тощий пацанёнок с крошечными рыбьими глазками и мелким заострённым носиком. На нём была грязная с синевой майка, спортивное трико без левой штанины и обрезанные валенки чуть выше щиколотки.

– Козлом, петухом, пидорасом не обзывать, – пять морковок. От игр не отказываться, – три морковки. Обьебон – по суду!

Он выкрикивал всё это писклявым голосом, размахивая руками и притоптывая нелепой обувкой.

- Откати, Сопля! Трамвай с кешаром не канают. С какой хаты?

Голос-вопрос прозвучал с верхних нар.

– Один и шесть.

Басов прошёл к столу. Развязал мешочек и, придерживая его за два нижних угла, высыпал содержимое.

Сушки-баранки, дорожные сухари, полпачки рафинада, край полукопчённой колбасы, шматок венгерского сала и надломленная пачка плиточного чая. Два дня назад он получил «дачку». До суда разрешается от родных до пяти килограммов. Кисет с махоркой он переложил в карман. Курить разрешалось только на прогулке, так что лучше не искушать судьбу. Утрата печалит. Лучше не иметь, чем потерять, да и на весь срок не накрохоборить.

– Фокус-номер, чтоб я помер. – пропел сопливый и рванулся к столу. Никто не проронил ни звука.

– Шнырь, разложи по полочкам. – голос с верхних нар.

С нижних поднялся молодой мужичок, с ещё розовым шрамом от правой ноздри через губы, уверенно, не торопясь, с ухмылочкой, раздвинул продукты по кучкам и накрыл их вафельным полотенцем.

– Один и шесть, это со СПЕЦА. Торчал долго?

– С шестого мая.

Семён чуть развернулся к левому углу и ответил седому, полному человеку, свесившему ноги с верхних нар. Точнее кульпянки. Пальцы на ногах отсутствовали. Он спросил строго, нахмурившись и был весь какой-то в правилах.

– Август на исходе. Ломают, сучары, по беспределу. Пятнадцать лун по закону у следаков. Сироп тебе до самых помидор закачали. Такие в уважухе. Не жмот. Шкерин, сдвиньтесь у окна. До тюремного ужина «разошлись по ёлочкам».

Такое скопление народа в одном номере не соответствовало тишине и какому-либо порядку. Говорившего не перебивали. Переговаривались шёпотом, смеялись приглушённо, как в кулачок. Каждый был чем-то занят. Четверо, за столом, играли в домино «крест». Группа на нарах суровой ниткой резала газету на цыгарки-закурки. В правом углу, у дверей, по очереди, без суеты, стирали над парашей.

Многие стараются выглядеть лучше, чем на самом деле. Может потому, что их лишили определённых предметов и возможностей? Реально припёрло. Затосковалось до изнеможения по простым человеческим действиям. Взбунтовалось собственное «я», и стало сбрасывать накопившуюся грязь. Но для всего того, что отличает человека от животного, совсем не обязательно лишать свободы-воли. Значит все они, скатываясь постепенно и закономерно, оказались в изоляции. Теперь скре-

бутся, чистятся, стираются, пытаются подняться, выкарабкаться. Басов тряхнул смолистой шевелюрой, отогнал не додуманное и запрыгнул на верхние нары.

Молодой человек, смугловатый, с выразительными глазами, красиво полулежал в углу.

– Давай рядом. Сегодня «Губань» шнырь, «объебон» получил – видя непонятки на лице собеседника, пояснил – обвинительное заключение. Надо «морковку» изладить, а то суд не одобрит.

– Тут что, суд есть? – удивлённо-недоверчиво вылетело само-собой.

– Почище, чем «Верховный». Судья, прокурор, адвокат и даже палач. Всё чики-брики! Огурцы, – позвал кого-то, – «мастырим».

Он сел, широко разбросав ноги. Двое, абсолютно одинаковых, ростом под сто шестьдесят, одетые в галифе и солдатские нательные рубахи, фигуры передвинулись с крайних нар. Они растянули и держали по углам мокрое вафельное полотенце. Шкерин перехватил один угол и стал плотно, с подтяжками, скручивать полотно. Пальцы его были короткими, толстыми, цепкими. На фалангах, вплоть до ногтей, покрытые густыми тёмными волосами. Все, следя чтоб не было складок и перекосов, подтягивали. Вода самовыжималась, капая на нары. Покончив с одним углом, закрутили противоположный.

Удивительно, но эта скрутка напоминала морковь, только белого цвета и очень большую. Кончик был тонкий и острый, потом она всё больше утолщалась, переходя к двум «крылышкам»-ботве.

– Вот плёточка и готова.

Мастер подержал своё творение, вертикально покачивая.

– Этим бить будете? – удивлённо спросил новый сосед.

– Сколько присудят. Тебя «Сопля» ознакомил. Растягиваем по скамье, сбрасываем портки. Один сидит на ногах, двое держат за руки, – воспитание...

«Макаренцы», – ехидно окрестил троицу Басов.

Хотя, кто они – исполнители. Зачем же оскорблять человека да ещё прилюдно? Физическая боль здесь не имеет никакого значения. Она даже желанна, потому что заглушит другую. Более страшную и тяжкую – боль души. Значит отвлекает и действует. Как лекарство. Видно эти тюремные правила вырабатывались долго и имели глубокие корни. Но лишать достоинства публично не воспринималось.

«Тебя не унижали с первых минут ареста? – возразил внутренний голос, – одним больше, одним меньше. Терпи, неволя».

Брякнула кормушка. Все засуетились. Спускались с верхних нар. Выстраивались в очередь. Получали кипяток и пайку ржаного хлеба. Ужин завершал ещё один тюремный день.

ЗОНА

Часть третья

[81]

Луна была какой-то недовольной, грустно-удивлённой неряхой. Она выглядывала из-за лохматых, тёмно-серых лоскутов. Их передвигал порывистый, морозный декабрьский ветер. Казалось, кто-то балуется «ползунком» реостата, то повышая, то понижая напряжение в сети. Зачем освещать эти нелепые сооружения? Да и вообще, с какой целью всё это нагородили, построили? Двенадцать длинных бараков – столовая-клуб, баня, кочегарка, штаб, школа, промзона. Забор, колючка, вышки по периметру, прожектора. Кто они? Союзники или конкуренты? Одно точно – не родственники. Утвердившись, она задёрнулась слабым, мутнобелым покрывалом...

– Фраерок, задубенеешь. – прокричал пробегая «ЗЭК», из-под наброшенного на голову бушлата. В кирзачах на голых ногах прикрытых трусами, он выглядел нелепой, болотной птицей.

– Фраерок – злобно ухмыльнулся Басов – блатота полубетонная.

Он стоял, глядя на белый пятак и свободно дышал морозным воздухом.

Этап на зону был ранний. Баланду «пересылка» зажала. В автозак набили пятьдесят два человека. Стояли впритык, «кешара» на головах. Будку бросало на ухабах. Каждую секунду ждали переворота-вывола. Пронесло.

Зона встретила сурово. Мороз, собаки, крики конвоя. Гражданское отобрали. Выдадут при освобождении. Ну да, поверили! Баня, стрижка, каптёрка. Костюм «хб», размер пятьдесят. Сапоги кирзовые, сорок два-сорок четыре. Бушлат универсальный. Переоделись. Выглядели ма-скарадной клоунадой. Личность утопили.

Провели в штаб на представление по очереди. Басов открыл дверь кабинета. В кресле за длинным столом – хозяин, подполковник Чепига. Высокий грузно-одутловатый, распутив мохнатые, брежневские брови и толстые губы, держал карточку.

– Два постановления. Не учит неволя? В какой?

Вопрос хозяин задал, даже не поднимая головы, а только чуть скосив глаза.

– Двенадцатый отряд, отрицаловка.

Чиркнув по сопроводилровке, отбросил в сторону опера и проглотил постоянно набегавшую слюну. Семён вышел, увидев на повороте мелко-сурковые глазки майора. Неестественно тонкий, детской ручонкой он делал запись в блокнот.

Барак на отшибе жилой зоны. Бригадир горбатый, рост – полтора метра. Голова маленькая, лицо большое, бугристое. На лице всё было большое: глазницы, с глубоко утопленными глазами, выступающие уши, ноздри на продавленном выше середины носу. Верхняя губа тонкая, нижняя мясистая, оттопыренная. При высоких скулах видны ярко выраженные резцы и все ненормальные зубы...

Выдал постель, указал место на проходе, пока без тумбочки. Вежливо улыбнулся – получился оскал. День подкрадывался к «отбою», а с этапниками всё в голодушку играли. Администрация знала, – прибывшим голодажничать не привыкать. Лучшее средство – сон. Не зря говорят: «чтоб не взяла голодуха – подвернись подуха». Сенька пододвинул табурет. Подташнивало, кружило в висках, к конечностям пробивалась слабость.

– Как там, на свободе?

Высокий, необыкновенно худой мужчина присел на угол кровати. Сухие, русые, редкие волосы. Глаза искристые, весёлые, любопытные.

– Да нормально.

– А какие песни, танцы, «кинухи» крутят?

– Разные: «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Неуловимые мстители».

– Нет-нет, ты про любовь!

– Они все про любовь. Правда прошёл недавно фильм, он так и называется – «Ещё раз про любовь».

– Слышь, парень, расскажи.

– Там Татьяна Доронина Наташу, стюардессу, играет. У нас девчонки в классе под её причёску поддельвались, красиво!

– Про кино, кино лепи, не томи.

Его глаза необыкновенно светились.

– «Колесо, осади», уважь прикольщика! – Басовито-непохоже пропел худобитый коротышка, поправляя зэковский «лепень».

Вокруг собралось несколько человек.

– Она зашла в кафе. Играл ВиА. Прошла к отдельному столику.

– Чёта я в масть не врубаюсь. ВиА, чё за фасон? – спросил пожилой, по-сибирски скуластый мужлан с наивным взглядом, растопырив пальцы обеих рук.

– Вокально-инструментальный ансамбль. Аккордеон, гитара, ударник, контрабас, корнет...

– Не гони понты, земля. Это чисто кла-р-нет!

– Да нет! Медный, духовой инструмент – труба. Сейчас появились с помпами, ну с поршнями. Луи Армстронг, Кине Оливер – джазисты, знаете?

Молодой, широкоплечий мужчина махнул «сталенкой» в сторону скуластого:

– Шамрай, не мути сходняк! Есть такой негритос! Гони сизокрылый!

– Рядом с её столиком компания сидела, физики-ядерщики. После танцев вышел поэт, начинающий, прочитал свои стихи. Ведущий попросил, чтобы кто-нибудь высказался. Все стеснялись. Стюардесса вышла, сказала: «Стихи мне понравились. Спасибо».

Прошла на своё место. От компании поднялся мужчина: его Лазарев играет.

Подошёл к микрофону и сообщил: «Стихи мне не понравились, а вот девушка, которая сейчас выходила, мне понравилась».

Заиграла музыка. Начались танцы. Поэт ушёл сконфуженный. Они пошли танцевать. Так и познакомились.

Басов увлёкся воспоминанием. Кадры всплывали ярко, последовательно. Память цепко держала сценарий. Ещё бы, ведь он тогда был не один...

Людей вокруг стало больше. Слушали внимательно. Это придавало силу и уверенность. Особенно любовные сцены, шкура белого медведя с головой, песня под гитару о «кораблике из газеты вчерашней».

– У них там сотрудник работал. Лучший ученик в школе, грамоты получал. Студентом – медали. Учёным стал и ... все пропало. Или сгорел, или сломался, ну не пошло. Переводил иностранные журналы и статьи разносил по отделам. Все подсмеивались над ним. Он назад в лабораторию попросился, а друзья его не взяли, не помогли ...

– Волчары позорные! Друг – это только на войне или при другом случае.

Первый слушатель сидел совсем близко, но глаза его уже почему-то не искрились.

– Вы хотите сказать, при экстремальных ситуациях?

– Слушай, ты откуда взялся такой? И вообще, как ты попал сюда?

На него зашикали, замахали руками.

– Эй, разговорник, канай сюда!

Громкий голос прозвучал с правого угла барака:

– Чем закончилось-то?

Это спросил знаток расовых разновидностей, продолжая держать в руках «сталенку».

– Физак встречал стюардессу после полёта у метро «Динамо». На этот раз пришла подруга и сказала, что самолёт загорелся при посадке. Наташа помогла всем пассажирам покинуть борт, а сама умерла. Через два часа. Когда приходила в сознание, просила передать: «Главное выдержка! Выдержать – самое главное в жизни».

– Давай, давай, пошли!

Первый слушатель поднялся и, пропуская Семёна вперёд, повёл на голос. Мужчина полулежал на нижней шконке. Плотный, кряжистый, нахмуренный.

– «Гусь», поменяйся с молодым!

Парень спрыгнул с верхнего яруса, молча смотал постель. Через несколько минут он пришёл и застелил на своём месте постель рассказчика.

– Мы работяги. Я, Новиков Санька. Сварщик.

– Лучший на промзоне.

Это вклинился тот, первый слушатель, с необычайными глазами. Мужчина не отреагировал.

– Привёл тебя Сущинский Санька-технарь. «Колёсник», печати негде ставить. Напротив – Меньшиков Санька, жестянщик. На нём вся вентиляция держится. – Небольшого роста мужчина отложив книгу, приподнялся, ласково улыбнулся и подтянув ноги, сказал: «Садись». – Над ним – «Пашка-Кофейник», газосварщик, король пепла от кочегарки до «Хозяина». Где он шлындится, «Колесо»?

Сущинский ответить не успел. Его отодвинул мелкий, юркий человек и поставил на тумбочку трёхлитровую банку кипятка. Сбросив брезентовые рукавицы он радостно спросил:

– Успел?

Улыбка открыла передние зубы, вернее корешки от них. Они были чёрного цвета и портили весь портрет.

– Я вижу, ты уже успел хлебнуть?

– Всё чин-чинарём. Блатняки замутили на вотхапника. Вам пригрел. Молодым – «вторячок». У нас пополнение.

То ли спрашивая, то ли утверждая, он сыпанул в банку две горсти белой карамели «подушечек». Разболтал ложкой, вытянутой из кирзача, облизал и опять засунул на исходную. Басов посмотрел на всех, реакции на этот трюк никакой. Всё нормалёк!

– Надо мной, Олег Литвинов. В «Красной комнате» уроки делает, девятый класс, – в учениках у меня. Да вот и он сам.

Высокий двадцатилетний парень. Лицо широкое, светлое, открытое. Волосы русые, пушковые.

Гость приподнялся и как с равным, пожал протянутую руку.

– Всё по понятиям! В семье полный общак. Магазин, посылки, свиданки – на круг. Сущинский, молодой пусть с недельку на дробеструйке помылится, а потом переведи его на калорифер. Такого губить не позволим, ему один путь – на волю.

Составили две табуретки. Из тумбочки достали пайки ржаного хле-

ба, коробку с маргарином. «Нефеля» осели на дно банки и душистый, сладкий вторячок был лучшим дополнением этого самого прекрасного ужина за девять месяцев неволи.

Семён подтянул бушлат. Мороз подбирался. Взглянув ещё раз на холодно-таинственное светило поспешил в барак. Горели дежурные лампы. Осторожно подошёл к своей двухэтажке, разделся и стараясь не шуметь вытянулся во всю длину. Сон отодвинулся. Видно желудок заработал, истосковавшись по сырю. Глаза смотрели в потолок, как на экран, но сценарий был совсем не похожим на любовь...

Зал судебных заседаний был полон. На передних сидениях – свидетели и родные. К Семёну пришёл отец и почти весь одиннадцатый «А» класс. Прокурор зачитал обвинение. Мужчина серьёзно пострадал, у него было пробито лёгкое, вторым ударом задета печень. Зимину запросил пятнадцать лет строгого режима. Кроме основной, к Зимину и Даргевич была применена статья за вовлечение несовершеннолетнего в преступление.

Адвокат, Бессонов Леонид, добивался условного наказания, ведь Сеньке было всего семнадцать лет. Не прошло, несмотря на общественную защиту от школы. Свидетельница, кондуктор автобуса, хорошо запомнила эту компанию. «Я просила самого молоденького: не выходи, останься... Чуяла беду... Не послушался... Пели ребята хорошо... Пожалейте миленьких».

– Басов догнал и жертва пострадала. Он стоял во главе преступления, поэтому должен реально получить срок – сделал заключение прокурор.

Приговор судьбы выслушали стоя. Обнимались с родными, прощались с друзьями.

За небольшими барачными окнами, суровая зима. Здесь тепло, под одеялом уютно. Двести восемьдесят мужиков отдыхают, чтобы с семи утра честным трудом заплатить за прощение перед обществом. Сенька подложил под голову ладонь – самую мягкую подушку. Как сказала стюардесса – «главное – выдержка». Выдержим. В семнадцать лет – ничего невозможного нет!

Давид Яновский



* * *

В куст вереска, в сиреневый туман,
Влетела бабочка, и словно растворилась,
Но, сделав крыльями блистательный батман,
Она мгновенно снова появилась.

Движенье белых крыл обманчиво легко,
Ей тяжело бороться с притяженьем.
Она, наверно, дышит глубоко,
Прерывисто, с огромным напряженьем.

Затем явился тощий чёрный кот,
Продефилировал походкою пантеры.
И, совершив внезапный поворот,
Исчез в кустах подобием химеры.

Кругом покой, всё стихло и едва
Без ветра чуть колышется листва.

* * *

Вся наша жизнь – рисунок на песке.
Подует ветер времени голодный –
И там, где билась жилка на виске,
Один песок останется холодный.

* * *

Да, не молюсь я так, как положено,
Вера моя – как лезвие бритвы:
С религией – ничего похожего,
Но разве стихи мои – не молитвы?

Доброе слово, рождённое в сердце,
Какую бы ни надело тогу,
Поможет в стужу душе согреться.
В конце концов придёт оно к Богу.

* * *

Стерильное лезвие правды!
Ты вскрываешь нарывы мифов,
Обнажая раны истории,
Чтобы их исцелило время.
Ты скальпель в руке хирурга.
И топор в руке палача.
Ты маникюрные ножнички
В руке легкомысленной модницы
И нож, вонзаемый в спину,
В беспощадной руке убийцы.
Ты приносишь горя не меньше, чем радости,
Но всё-таки без тебя,
Как без веры, любви и надежды,
Мертва душа человека.

* * *

Стихи, что рождаются на ходу,
Хрупкие, словно стекло,
Нежней лепестка фиалки.
Хочу удержать вас в памяти,
Записать на клочке бумаги,
Но вот улетела мелодия,
Какое-то слово забыто –
И вместо полного жизни тела
Остался скелет, одетый
В лохмотья случайных рифм.

* * *

Флейтист о чём-то молит Бога,
Целует нежно флейту он,
И сердца смутная тревога
Летит за музыкой вдолгон.

Певучая сестра шофара,
Тоскует, заливаясь, флейта,
И кажется: в огне пожара
Кричит от боли голос чей-то.

Но вот услышана мольба,
Печаль куда-то улетела,
И, флейты верная раба,
Мелодия повеселела.

* * *

Оценишь колодец ты только тогда,
Когда в нём до капли иссякнет вода.

* * *

Птица счастья прихотлива и капризна:
Если где и сядет – ненадолго.
И напрасны все мольбы и укоризны,
Все уловки и расчёты – всё без толка.

Если счастье упорхнуло отчего-то,
Жди спокойно возвращенья птицы,
Ты надейся и готовь к её прилёту
Место, где удобно ей садиться.

* * *

Как трудно даже самым близким
Услышать и понять друг друга!
Живём подобно василискам
Внутри очерченного круга.

В своей вселенной каждый заперт.
Гордыня – чёрною дырою.

Не вырвется на волю капер*
Из тихой гавани покоя.

Лишь изредка протуберанцы
Бурлящих чувств летят наружу,
И в их неукротимом танце
Мы видим подлинную душу.

[89]

** капер – судно или лицо,
занимавшееся разбоем.*

* * *

Осенний лист легко слетает
С озябших клёнов и рябин.
Осенний снег мгновенно тает
Под натиском рифлёных шин.

Осенний дождь несёт простуду,
Осенний воздух густ и сыр,
Тоска осенняя повсюду,
Осенний сад убог и сир.

Осенний ветер мечет в стёкла
Песок и листья, дождь и снег.
Осенний луч мерцает блёкло,
Как взгляд из-под усталых век.

Осенних дум летят полотна
Подобно тучам в ноябре,
И только дети беззаботно
По лужам скачут во дворе.

* * *

Опять рояль ломает пальцы
И буря рвёт тугие снасти.
Опять дрожат на струнных пальцах
Распятые аккордом страсти.

Опять смычка шальные ласки
Кончатся любовным стоном,

И звуки сказочной окраски
Плывут над залом и балконом.

Душа на волю жадно рвётся
Из тесноты земного плена,
И дно бездонного колодца
Взлетает в небеса мгновенно.

* * *

Вчерашней правды тусклый свет
Не освещает нам дороги.
Отцов и дедов пыльный след
Затаптывают наши ноги.

Вдали виднеется чуть-чуть
Плафон грядущего рассвета,
И нам не освещает путь
Огнём хвостатая комета.

Нам остаётся лишь мечтать,
Вдыхая аромат сирени.
Надеяться и ожидать
Внутри рождённых озарений.

* * *

Ноябрь. Похолодало, задождило,
И краски осени поблёкли, потускнели.
За тучи спряталось ленивое светило,
Деревья шьют защитные шинели.

Тоской осенней дышит влажный воздух
И птицы не поют в садах осиротевших.
Осталось мало их в холодных, мокрых гнёздах,
В далёкий тёплый край не улетевших.

Темнеет рано, поздно рассветает,
Уныло всё вокруг, совсем как на погосте.
По городу какой-то новый грипп гуляет,
И от сырой погоды ноют кости.

АНТИПОДЫ

1.

На свет явились мы из тьмы
И тень её в себе несём.
Мир – это дерево, а мы –
Плоды незрелые на нём.
Созреет плод и упадёт,
И снова в темноту уйдёт.

Из света мы, а не из тьмы,
И вечный свет в себе несём.
Мир – это дерево, а мы –
Птенцы беспёрые на нём.
Птенец окрепнет, станет птицей
И в бесконечный свет умчится.

2.

Из мудрых книг я пью давно
Познания терпкое вино,
Хоть знаю: радости в нём мало
И горечь спит на дне бокала.

Из мудрых книг я пью давно
Познания чистое вино.
Мой ум и душу воспитало
Вино из этого бокала.

3.

Не видеть, не слышать, не знать, не быть!
Как Сакья-Муни уйти в нирвану.
Или, чтоб грязь бытия отмыть,
Принять, как Люций Сенека, ванну.

Всё видеть, всё слышать, за всех страдать!
Быть ухом, быть глазом, быть нежною кожей.
Сердце людям, как Данко, отдать,
Зная, что каждый поправить его может.

4.
Лишь прошлое – наше. Грядущее – тень.
Действительность – призрачный мир перехода.
Создание прошлого изо дня в день –
Цель жизни личности и народа.

«Сейчас и здесь!» – другого не дано.
Зачем грустить о том, что кончилось давно?
Зачем мечтать о днях, которые придут? –
Напрасный труд ума, души напрасный труд.

Как настоящее мгновенно и ничтожно!
А прошлое исправить невозможно.
Лишь в будущем найдут дурак и гений
Безбрежный мир надежд, возможностей, свершений.

* * *

Мечутся в мучительной заминке
Клочья дыма в зареве заката –
Словно стайки розовых фламинго
С труб срывает ветер бесноватый.

Но мгновенно сказочные птицы,
Перелившись радужным опалом,
Начинают сумрачно стелиться
Грязно-серым дымным покрывалом.

Так и вы, весны моей мечтанья,
Чуть взлетев, увязли в скуке будней,
И под вьюги снежной причитанья
Спите с каждым днём всё непробудней.

Но настанет день – и сон тоскливый
Прочь снесут весенние разливы.

* * *

Запоздала зима, запоздала:
Уж декабрь, а снега всё нет.
Грусть осенняя мне приказала
Заковать эту тему в сонет.

Загрустилось душе, загрустилось
От родных и любимых вдали.
Если б солнце сквозь тучи пробилось
Или хоть снегопады пошли!

За окном величавые ели
И озябшие тельца берёз...
Усыпляющей снежной постели
Всё в природе давно заждалось.

Всё вокруг и гнетёт и тревожит:
Ни ожить, ни забыться не может.

ДОРОГА НА КАЗАНТИП

Однообразный и унылый
Пейзаж таврической равнины:
Лесополос кустарник хилый,
Да сёл печальные картины.

Лишь на бахчах, довольны зноем,
Лежат пузатые питомцы,
Да виноградник ровным строем
Несёт вино навстречу солнцу.

И вдруг, среди выжженной пустыни
Всплывают, будто миражи,
Зелёно-белы, бело-сини,
Озёр солёных витражи.

И вновь, куда ни кинешь взором,
Лишь только чахлые поля,
Вся в трещинах, немым укором
Лежит иссохшая земля.

* * *

Душа поэзии печальна и проста,
Ей не нужна изысканность сравнений.
Определяя главные цвета,
Всегда неприхотлив народный гений.
Есть в речи изначальные слова,
Что сами родились собою:
Солнце красное, зелёная трава,
Море синее и небо голубое.

Светлана Сокольская



[95]

Д и П / 2016

СМЫЧОК ДЛЯ СКРИПКИ СТРАДИВАРИ

В иммиграцию Женя Векслер с семьёй двинулась с тремя чемоданами и двумя скрипками – её и дочери. Молчаливой, черноглазой Анечке только что исполнилось четырнадцать. Как водится в семьях музыкантов, девочка собиралась продолжить династию. Шесть лет подряд Анечка занимала первое место на конкурсах в своей музыкальной школе и в мечтах видела себя на сцене солисткой в сопровождении большого оркестра.

Германия показалась им краем из старой знакомой сказки, однако, столкнувшись с системой немецкого образования, Женя пришла в недоумение и растерянность. Музыка в стране Баха и Бетховена не была среди главных жизненных приоритетов, хотя классиков чтили. В оркестрах сидели японцы, китайцы и братья-славяне, в консерваториях преподавали многие исполнители, прежде известные в Союзе. Оказавшись после года странствий в старинном городе Гёттингене, Аня поступила в музыкальную школу. Играющая девочка-иммигрантка стала в школе сенсацией, что привлекло к ней внимание энергичного старичка-мецената по фамилии Хомайер. Он создал фонд памяти недавно скончавшейся жены, определил ежегодный приз в 240 марок и объявил Аню первым стипендиатом этой премии, что было даже отмечено местной прессой.

Жил Хомайер в доме для пенсионеров, в так называемой сеньорен-резиденции. Поскольку еврейские иммигранты получили известность в округе своими концертами, он пригласил их выступить перед обитателями этого дома. К тому времени общительная Женя познакомилась с Петром, московским пианистом. Он также подрабатывал настройкой роялей. Программу составили из известных классических произведений, включив и концерт Баха для двух скрипок.

В назначенный день все трое явились в дом пенсионеров, внешне

похожий, по тогдашним жениным понятиям, на маленький санаторий. Двухэтажное здание с овальными балконами и аркой у входа, находилось в небольшом парке, расположенном не в центре города, но и не на окраине. Было начало лета, и старые каштаны развесили яркозелёные веера листьев над аллеями, по которым гуляли ухоженные немецкие старушки.

Хомайер приветливо встретил музыкантов, показал свою комнату, уставленную изящной мебелью. Стулья с резными выгнутыми спинками и крошечный мраморный столик дополняли ощущение музея. Все прошли в зал, где за колоннами прятался рояль. «Bechstein» – с уважением прочла Женя потёртые золотые буквы на его крышке.

– Инструмент 1911 года, – с гордостью произнёс Хомайер, перехватив её взгляд. – Его подарила дому моя жена-пианистка, когда мы поселились здесь.

Начали репетицию. Чтобы попробовать звучание, было решено сыграть фрагмент двойного концерта. Расположились в зале так, что Женя, первая скрипка, оказалась за широкой колонной. Поразмыслив, она попросила Петра сдвинуть рояль немного в сторону, чтобы её было видно слушателям. Привычным движением Пётр подтолкнул инструмент и тут, к изумлению и ужасу Жени, рояль, как бы раздумывая, медленно покачнулся на своих трёх столбиках-ножках, и тихо, как покорный зверь, улёгся на полу. Невозмутимый Пётр, однако, не растерялся и начал хлопотать вокруг поверженного великана. Старички принесли крепкие стулья, на них мастер уложил толстые фолианты книг, а сверху, общими усилиями поместили грузное тело старого рояля.

Пока это всё устраивалось, Женя с дочкой пошли разыгрываться. В галерее сквозь огромные окна лился яркий свет, и гладкие плиты пола отражали прямые солнечные лучи. Не успели они разойтись в разные стороны, как вдруг – новое происшествие. Анечка, сделав пару шагов, поскользнулась на зеркальном полу. Левая нога её поехала в сторону, а правую руку со смычком она, падая, инстинктивно выставила вперёд. Головка смычка ударилась о пол и отлетела, далеко отделившись от трости. С новым приступом немого ужаса смотрела Женя на безвольно поникший волос смычка, и ничего хорошего от жизни не ждала. Удручённые, они вернулись в зал. Срывался концерт. Засуетились старожилы дома, узнав о неудаче. Неожиданно какой-то сухонький старичок заявил, что у него тоже есть скрипка, и он сейчас принесёт смычок.

Концерт Женя играла в полном трансе, от которого не могла избавиться несколько дней. Всё ждала то ли вызова в полицию, то ли гневного письма из дома престарелых с требованием возместить нанесённый ущерб. Но, к её удивлению, осенью Хомайер попросил их опять

выступить, так как летом многие жители были в отъезде, а теперь все желают послушать их ещё раз. Женя пришла на концерт с некоторой опаской: как-то их встретят? Едва она высказала свое сожаление по поводу случившегося с роялем, все принялись её уверять:

– Что вы, что вы, это был самый лучший концерт в году, столько происшествий! Мы даже стенгазету выпустили по этому поводу. – И подвели её к стене, где висел большой лист с текстом и фотографиями. Рояль был в полном порядке. После первого выступления Пётр получил крупный заказ на его реставрацию.

Прошло несколько месяцев. Теперь у Жени с Аней был один смычок на двоих. Трость анечкиного смычка не подлежала ремонту. Но им предстояло ещё одно важное выступление в Ганновере, в парламенте Нижней Саксонии. На концерт ожидался министр-президент Земли, но он не пришёл. Однако зал был полон политиками и знаменитостями города, присутствовали руководители еврейских общин, а также их глава, председатель Земельного союза господин Графт. В фойе с роскошными хрустальными люстрами было оживлённо. Артистов опекала молодая сотрудница парламента в строгом костюме, манерами напоминавшая фрейлину кайзеровских времен. С удивлением вслушивалась Женя в изящный слог её речи. Он был так не похож на язык, который им преподавали на немецких курсах. Но эта элегантная дама доброжелательно подстраховывала и направляла иммигрантов, неопытных при «дворе».

Наконец, воцарилась тишина и концерт начался. Папа Векслер снимал его на видеокамеру. В сохранившейся записи видно, как Женя, открывшая программу, возвращаясь, передаёт смычок Анечке.

Тут надо сделать небольшое отступление. Семья Векслеров покидала родной город, имея в распоряжении всего полтора месяца. Перед отъездом искали на барахолке обувь для девочки, но нашли лишь закрытые туфли молочного цвета на толстой подошве, типа «манная каша». Белая блузка, черная юбочка и эти туфли – таков был весь наряд, которым родители снабдили дочку для именитой сцены. И вот юное дарование уверенно играет «Мелодию» Чайковского, неловко кланяется, а умилённые и восхищённые немцы рукоплещут.

Концерт еврейских иммигрантов, в котором также выступили солидные московские исполнители, получился впечатляющим. В антракте царил всеобщее возбуждение, официанты разносили шампанское в фужерах, в зале звучал смех, слышались оживлённые разговоры.

Следя взглядом за Аней, окружённой стайкой немолодых женщин, Женя столкнулась с Мирьям Зингер, их попечительницей в еврейской общине. Живой ум, интеллигентность и демократичность Мирьям

опрокидывали все женины, представления о чиновниках. Фрау Зингер обняла Женю, а та, обрадованная, спросила:

– Община довольна своими «солдатами»?

– Да, молодцы, – отозвалась Мирьям, и продолжила:

– Господин Графт сказал, что мы купим вашей девочке лакированные туфли.

– Купите ей лучше смычок, – неожиданно для себя самой сказала Женя.

– А что, у нее нет смычка? – спросила Мирьям.

– Нет, вы же видели, я передала ей свой.

– А сколько может стоить смычок?

– Примерно тысячу марок, – ответила Женя, ужасаясь своему нахальству. Мирьям спокойно сказала:

– Я поговорю с господином Графтом.

Назавтра, переполненные чувствами радости и благодарности общине, родители Ани бросились к знакомому скрипичному мастеру. Хозяин показал им ряд хороших смычков на выбор. Попробовали каждый и, наконец, один из них пришёлся по руке.

– Сколько?

– Две тысячи марок.

Женя посмотрела на мужа и тот, не задумываясь, кивнул головой.

Через день Женя, всё ещё в состоянии лёгкого потрясения, и в самом деле получила из рук Мирьям чек на тысячу марок, остальное наскребли «по сусекам», и вот Векслеры стали обладателями настоящего, мастерового смычка из фернамбукового дерева.

Забегая вперёд, надо сказать, что когда после нескольких лет мытарств, Аня попала в класс известного педагога из Бад-Пирмонта фрау Рау, та, поддержав её смычок в руке, сказала:

– У меня есть скрипка Страдивари, но такого смычка – нет.

Она же отправила их к знакомому цыгану-музыканту, у которого приобретала инструменты для своих учеников. Старая скрипка Анечке уже не годилась по размеру.

Хороши были и старик-цыган, и жена его в импозантной шали. Держался он важно и усмехался в усы. Ковры и лошадиная сбруя висели даже во дворе. И скрипка нашлась – инструмент мастера французской школы из города Тулуз. Уступил её по сходной цене. Сожалел очень, но ехал на свадьбу, и нужны были деньги.

Теперь требовался добротный скрипичный футляр, такой, чтоб на все случаи жизни. Жениной, ещё советской, мечтой был футляр прямоугольной формы, солидный, с чехлом на молниях. Когда-то в Союзе с такими ходили только лауреаты международных конкурсов. Наконец,

и сей желанный предмет родители привезли из Америки, где вскоре побывали в гостях. Итак, теперь у Ани были и футляр, и мастеровая скрипка, и настоящий смычок.

Пришло время спросить: а знает ли читатель, что значит смычок для скрипача? Многие думают, что главное в мастерстве – это скрипка. Женя, довольствуясь скромным смычком, тоже была в неведении, пока не прошла через неласковый опыт жизни. Случилось это так: однажды в консерватории она встретила концертмейстера симфонического оркестра, её бывшего однокурсника. Оказалось, он уезжает в Израиль и продает свой смычок – вывозить ценные инструменты было запрещено.

– Хочешь, посмотри, – и он достал его из футляра. Одного взгляда на тонкую гранёную трость хватило, чтобы понять её благородную красоту. Головка смычка была изящно выточена, тёмно-коричневое дерево, казалось, излучало тепло, колодочка переливалась перламутром. Едва Женя приложила белую ленту волоса к струне, как рука ощутила лёгкость звукоизвлечения, а ухо услышало ласковую певучесть тона. Смычок поддавался малейшему изменению нажима руки.

– Вот это смычок! – замерла Женя в восторге.

– Сто рублей, – сказал концертмейстер.

– Сто рублей! – мысленно вскричала Женя и медленно положила смычок на место. Муж Жени, художник-авангардист, не мог продать ни одной картины, и на семейном счёту не было лишней десятки, а жить в долг они не привыкли. Ещё не раз, вспоминая тот смычок, Женя ощущала его благородный вес, изящную гибкость и тонкую одушевлённую певучесть.

Тем временем наши музыканты развернули кипучую деятельность в общине. К каждому еврейскому празднику устраивались концерты, и Анечка принимала в них участие наравне со взрослыми. В награду её премировали поездкой в Бонн на «Фестиваль камерной музыки». Поскольку девочке не исполнилось ещё шестнадцати лет, то и Женю за счёт общины отправили вместе с ней. В программе фестиваля были объявлены концерты ведущих музыкантов Филадельфийского оркестра. В фойе гостиницы мама и дочка остановились перед большой афишей. На ней крупным шрифтом было выведено имя концертмейстера оркестра: «Александр Трейгер».

Память Жени развернулась в прошлое, замелькали лица и имена коллег. Вспомнился Арик Трейгер, скрипичная звезда их музыкальной десятилетки, чьё искромётное исполнение финала концерта Хачатуряна она слушала в Бог знает каком году на республиканском конкурсе

молодых скрипачей. Тогда он получил вторую премию, первую, по традиции, отдали нацкадру. Арик же уехал в Москву, потом растаял где-то в иммиграции, и до Жени донесли только слухи, что он принят концертмейстером крупного американского оркестра. Но тот Арик был Аронем! Когда же она увидела эту «первую скрипку», все её сомнения отпали. Арон стал Александром, только добрая улыбка на полных губах осталась та же. Едва Женя при встрече напомнила ему о том конкурсе, он поморщился и сказал:

– О, как давно всё это было!

За неделю Арик сыграл ряд концертов: «Чакона» Баха, сонатный вечер, квартеты Шостаковича. Он тоже был рад встрече с земляками и дал Анечке несколько уроков в рамках мастер-класса, отметив при этом поразительно быстрое освоение ею музыкального материала.

Вернемся к прошлым событиям. С начала иммиграции Векслеры метались в поисках надлежащего педагога для дочки. Эта проблема казалась чем дальше, тем неразрешимей. Однажды отец семейства, поникнув начинающей сесть головой, сказал:

– Видимо, придётся оставить скрипку.

Положение становилось отчаянным. Но вскоре судьба сжалилась над ними. На одном из конкурсов «Jugend musiziert» (Юность музицирует) финальный концерт завершала высокая стройная девочка с двумя русыми косами и длинными тонкими пальцами, из-под которых искрами сыпались пиццикато, флажолеты и всевозможные пассажи из «Кампанеллы» Паганини. Эту скромную и красивую шестнадцатилетнюю победительницу конкурса звали Геза. Первой мыслью Жени, ошеломлённой этим феноменом, было:

– Кто учитель?

Ей назвали имя: фрау Рау. Женя бросилась к знакомым немцам:

– Познакомьте!

– Что вы! – замахали те руками. – У госпожи Рау такой характер!

К счастью, кто-то посоветовал написать письмо. Раздобыв адрес, родители изложили свою просьбу. День, когда пришёл ответ, Женя считала знаменательным в своей жизни.

– Я слышала вашу девочку на конкурсе, – писала фрау Рау, – и она мне понравилась.

В конце письма стояла дата первого урока. Отправляясь вместе с Аней в Бад-Пирмонт, Женя немного волновалась: немецкая учительница представлялась ей утончённой, строгой и холодной леди. Фрау Рау оказалась совсем иной. Эта старая, нескладная дама с некрасивым, но таким подвижным лицом, обладала не только педагогическим талантом и могучим темпераментом, но и добрым сердцем. Она прониклась

сочувствием к одарённой девочке и, приняв в свой класс, даже снизила размер платы за её обучение. Маленькая иностранка быстро вошла в тройку лучших учеников. Вся семья была счастлива. При подготовке к конкурсу, Аня начала учить тот самый виртуозный концерт Хачатуряна, которым Женя когда-то восхищалась в исполнении Арика.

Пошли годы постоянной езды из Гёттингена в Бад-Пирмонт, уроки, концерты, триумфы и... разочарования. Последнее оставило особенно горький след, когда Аню не пропустили на третий тур Всегерманского конкурса, несмотря на то, что она шла в числе лидеров. И здесь сработали подспудные интересы. Была в расстройстве госпожа Рау, скептически переговаривались в кулуарах студенты, которые дружно аплодировали Ане. Надежды на сольную карьеру таяли. Правда, госпожа Рау обещала содействовать. Но что-то необратимо сломалось. С этого момента начались колебания в девичьей душе. К тому же обнаружилось, что в гимназии у Ани по биологии и химии лучшие оценки в классе, хотя она отдавала все силы музыке и у неё едва хватало времени на домашние задания. Вся школьная премудрость усваивалась ею в классе на слух. Как-то мимоходом дочка обронила:

– Знаешь, мама, мне легче работать головой, чем руками.

Родителям следовало бы призадуматься. Но жизнь рутинна. Об этом вспоминали позже, а пока всё шло по направлению к высшей музыкальной школе.

Между тем, чаша весов колебалась. Ещё продолжались сольные выступления вперемежку с выпускными экзаменами. Ещё прозвучали «Фантазия» на темы «Кармен» Сарасате, соната Брамса и концерт Прокофьева, но жребий пал. Получив аттестат с высоким баллом, Аня предстала перед родителями со словами:

– Мне нужно вам кое-что сказать.

Родители насторожились.

– Не волнуйтесь, я не выхожу замуж и не беременна. Я решила поступать в университет на биохимический факультет.

Векслеры проявили себя как сознательные родители – не сказали дочке ни слова против. Женя – потому что знала, чего стоит музыкальная карьера в Германии, перенасыщенной первоклассными музыкантами из всей Европы; муж – так как понимал, какое значение в жизни имеет правильный выбор профессии. Хоть и сожалел. Уж очень ему были по душе концерты, аплодисменты и просто музыка.

Дальше всё потекло совсем в другом русле: учёба в Берлине, практика в Гарварде, защита докторской и работа в университетской клинике Лондона. Вскоре Анечка создала семью и растит свою девочку.

– Сколько сил ушло на скрипку! – вздохнула как-то Женя.

– Я ни о чём не жалею! – решительно ответила дочь.

А смычок, достойный скрипки Страдивари, вместе с инструментом французского мастера из города Тулуз лежит под широкой кроватью в футляре, какой когда-то носили только лауреаты международных конкурсов.

[102]

**Олег
Никогосян**



[103]

ПЯТИСТРОФЬЕ

* * *

Теснятся вихрями сомнений
Сочувствия всенощных бдений
В прощаемое воскресенье

* * *

Перенапряг весенних фаз
Отодвигаемый коллапс
Спираль невысказанных фраз

* * *

Неизбежность мартовских ид*
Всего, что ещё предстоит
Многоликостью сонма планид

* * *

Подмасленный блинами пост
Обрядно-величаво прост
Со скорбным взглядом на погост

* * *

И лица в розницу и скопом
Бредущие сплошным потоком
Прижизненным калейдоскопом

[104]

* в мартовские иды был убит Цезарь.

ADIO

Когда-нибудь
Но всё равно это приходит
Рано или поздно
Приходит навсегда
Одиночество одиночества

Даже если вдруг
Миллионы умирают в молодости в одночасье
От войны
 мора
 несчастливого случая
Всё одно – в самый последний момент
Оно приходит

Каждый умирает сам
 одиоко
Пусть вокруг и сонм родных
И любимых
Всё равно – смерть одинока
Как и любовь

Эй
 где ты
Могу вообразить и порою представить –
Не хочется этого милая
Со мной остаётся
Великая бессонница чувств
Неразменных

Они разбредаются
Сами по себе
Иногда притягивая за уши
Нерасторопность времени
Нужного или не очень

На протяжении многих лет
Переиначиваясь снова
В каком-то обрамленья слова
Истачивая всё на нет

Как образно всё мельтешит
В нелепом броуновском вихре
Зависнув ритмами нон-стоп
Где нет начала и конца

А может это только раж
Вкраплён в последний антураж

ПАМЯТЬ

Вновь прошлое ломится в нашу дверь
Собою заслоня суетность яви
В разбросе время на когда-то и теперь
Как миг застывший укоризной правит
Так несмолкаем колокол потерь

НЕ ОБУСЛОВЛИВАЙТЕ НИЧЕГО

Молчание как сладострастье
Как роскошь бережных минут
Застрявших в чаще нервных пут
Никем не познано участие

Не обусловливайте ничего

ЗНАКОВОСТЬ

(бейты)

Акварели словно пасторали
Предзакатными огнями догорали

Зябко кутая под шалью свои плечи
Сглаживала локоны под вечер

Прикорнувши в кресле с чашкой чая
Блики над камином примечала

Где под такт колора их пропорций
Переключка новизны эмоций

И под стать улыбке умудрённой
Уплывала в волны тихой дрёмы

Предначертаны судьбою изначально
Три перста обетами молчанья

* * *

N.N.

Послевкусие губ
Притягательность сласти
Я и нежен и груб
В перепадах погоды
Средь безумствия страсти

Сладострастья пласты
Где желанья просты –
Мы прочувствуем оба

Времена не легки
Жизнь нас донельзя тратит
Но всему вопреки
Тянет снова в объятья

ДВОЙНОЙ АНТУРАЖ

Под грушей в саду
Памятен прошлый денёк
С примятой травой

Мягкие губы
С дурманными ласками
В полдень июньский

Гуденье шмелей
В цветенье припавших
К соку нектара

В альбоме немом
Пожелтевшие фото
Здесь колобродят

Перекипает
На кухне оставленный
Чайник со свистом

В час неказистый
На белизну потолка
Тени ложатся

Ноги под пледом
Недочитана книга
Рядом с качалкой

Как бормотанье
Пенье хриплого Сачмо*
Под соло трубы

* Луи Армстронг

[107]

Д и П / 2016

Поэзия и проза

ВОСПРИЯТИЕ

Перенасыщенность ума
Стекает щедрою безумья
В миры

картины

времена

Горчащей прихотью раздумий
Что из того что переняв
Оттенки слов и настроений
Так в одночасье стал не прав
Без прагматичности сомнений
Ночь бахромою обтекла
В пристрастия свои не веря
Мерцают тускло зеркала
Туманами чужих поверий

Балдёжит снова бабье лето
Не важно как и почему
Цветистой рябью дни согреты
Непостижимы по уму
Наперекор дурным запретам
Возьмём дорожную суму
Чтоб затеряться

с кем-то

где-то

ВИТРАЖ

(яс)

Оттенки фиолета
В осенний канун
Утренней рамой

Галочья стайка
Предваряет собою
Час ожидания

Перманентной палитрой
Растворяются

В отражениях стёкол
Марева блики

БЕРЛИНСКИЙ
АВГУСТ
(танка)

[109]

* * *

Застывший воздух
Плавится от безделья
Попеременно
Птичьи переполохи
В императорский месяц

* * *

Пока не высох
Пруд в Botanische Garten
Лотосами покрытый
Даже лягушки молчат
Ожидая чего-то

* * *

В раздробленный день
Приколотый к стене
Календарный лист
Услужливым вниманьем
Напоминает даты

* * *

На Potsdamer Platz
У Бранденбургских ворот
Гомон туристов
Кофе-гляссе со льдинкой
Рядом с потухшей трубкой

* * *

Другу

Да нам с тобой не прогореть
Нерасторопными забавами
Под утро трендами лукавыми
Перетереть перемудреть

Вот только б к вечеру поспеть
Чтоб посере́дке равноправными
Переговорть застывшей лавою
Да Алилуйю всю пропеть

[110]

ДиП / 2016

Олег Никогосян

**Нора
Гайдукова**



[111]

Д и П / 2016

БЕРНД

Прошёл уже год, как его не стало. В это трудно поверить. Он жил недалеко от меня в маленькой квартирке, в бывшем доме для престарелых. Там всё и случилось. Мне кажется, что вот-вот я увижу его рослую, грузную фигуру. Он подойдёт ко мне и посмотрит близорукими, голубыми глазами сквозь стёкла очков. От них глаза казались ещё большими. Создавалось ощущение, что он блондин, ибо даже ресницы его были белыми.

У него не было ни инфаркта, ни рака. Он был, по современным понятиям, ещё здоровым мужчиной в расцвете сил. Однако, он так не думал. В пятьдесят пять у него не было зубов. Для профилактики зубной боли он вырвал их, и надел зубной протез, заодно и стерилизовался.

Его отец был солдатом Вермахта, побывал в русском плену, натерпелся там вдоволь. Когда Бернду было пятнадцать, отец умер, не дожив до пятидесяти.

Бернд закончил ПТУ и пошёл работать. Отработал сорок два года. То в магазине, то в справочном бюро больницы. Его должность называлась «индустрикауфманн». Платили за такую малоквалифицированную работу три тысячи в месяц. Таковы были времена.

Бернд был одарённым человеком, но, как говорится: «немного не в себе». В восемнадцать лет попал в аварию на мотоцикле, результаты которой повлияли на его психику. Он хорошо разбирался в налоговой системе, самостоятельно составляя налоговые декларации для себя и близких людей. Например, для дочери-ветеринара, которой отдал все свои деньги, чтобы она купила дом и открыла собственную клинику для коров и собак.

Собаки были его страстью. Об этом – подробнее. Как все, средне-

го достатка, немцы, жил он с женой-медсестрой, двумя дочерьми в маленьком доме, в Лаутербахе, в Северном Хессене. У них были четыре собаки, которые участвовали в соревнованиях, а дети учились их воспитывать. У Бернда и его детей были сертификаты воспитателей собак.

После нашего знакомства, Берндт переехал в Берлин. Он хотел заниматься воспитанием собак для полиции. За это хорошо платили. Вступил в ферайн собачников. В качестве его дамы я была приглашена туда на празднество. На встречу явилась в новых белых брюках, не приняв во внимание нравы собачников, зимнее время и то, что ферайн находится в сараях, в лесу, где удобно воспитывать собак без ущерба для соседей по дому. Выглядела я нелепо ещё и потому, что была единственной иностранкой, к тому же не имела никакого понятия о собаках.

Первой собакой Бернда в Берлине была большая чёрная немецкая овчарка-сука. Несмотря на размеры и свирепый вид, она была добрейшим существом, не желавшим бросаться на ватник во время тренировки. У меня с ней были тёплые отношения. Когда Бернд приезжал встречать меня в женско-лесбийски ферайн «Сисси», где я тогда работала, собака тихо ожидала в машине. Как полицейская собака, она была совершенно безнадёжна, и её забраковали, отдав частным хозяевам.

Я загрустила, но Бернд меня успокоил, взяв другую овчарку, обычной, пёстрой раскраски, но в два раза меньше ростом. Может быть, чувствуя свою ущербность, собака была невыносимой. Она бросалась на всех, бестолково лаяла. В машине пришлось натянуть сетку, которую она стремилась порвать. Полицейские и её забраковали, и собака переселилась в сад дочери-ветеринарши, который, возможно, сейчас ещё охраняет.

Бернд обладал приятным баритоном, играл на киборде и даже написал пару песен со словами такого содержания: «Твои слёзы – это мои слёзы, твоя печаль – это моя печаль».

Сельской публике это нравилось. И он с двумя приятелями создал свой «бэнд», и был нарасхват.

Везде, куда бы мы не ходили на танцы, о нём уважительно говорили: «наш музыкант». Но стоило ему переехать в Берлин, – его словно подменили. Он перестал петь, играть. На мой вопрос об этом, отвечал: «Здесь за это не платят». Конечно, Берлин не Лаутербах. Но он мог устроиться в какой-нибудь хор, петь и распивать своё пиво до почётных девяноста лет, как его матушка. Впрочем, как говорит моя приятельница-психолог: «Сослагательное наклонение для истории значения не имеет».

Верно то, что Берлин не пошёл ему на пользу. Маршрут его движения по прекрасному городу сводился к передвижению из одного кафе к другому в окрестности знаменитого «Арминиус Маркт Халле», где он

дневал и ночевал, выпивая огромное количество чашечек кофе. Иногда он назначал мне встречу в маленьком кафе на Бредовштрассе. Если я не приходила, ожидал меня часами, поглощая кофе. Он мог себе это позволить.

Из-за депрессии, которая была подлинной, он получил раннюю пенсию, большую, почти в две тысячи евро.

Вероятно, из-за этой странной болезни он стал стремительно опускаться. Раз в неделю он ходил играть в карты в кафе «Ольденбург», при выигрыше получал кусок мяса, не зная, как им распорядиться. Готовить он не умел и не любил, всё делала его ныне покойная жена.

Тяжёлые симптомы болезни всё нарастали. Он перестал убирать в квартире. Сначала я посылала к нему уборщиц, потом он перестал их впускать. Не менял и не стирал бельё, стиральная машина стояла в подвале. Напоминала о себе травма ног, которая с восемнадцати лет отравляла его жизнь. Он страдал от расширения вен, от операции отказался, вообще, был пессимистом. На расстояние в сто метров передвигался на мотороллере, отказывался совершать даже малые пешие прогулки. Он познакомился с женщиной, которая работала в кафе, пытался за ней ухаживать, но она ему отказала. В этом состоянии он был малопривлекателен.

В политической жизни он никогда не участвовал, но ко всему был терпим... Дружил с немцами, турками, со швуями, со всякими неполноценными...

Виделись мы довольно редко, и всё же однажды я заметила – он исчез. Подошла к его дому – указатель с его фамилией отсутствовал. О его исчезновении рассказала общей знакомой: «Уехал в свой Лаутербих, даже не попрощавшись». Подруга заметила: «Ты ведь ему звонила, оба телефона не работают, как бы чего не случилось». Она оказалась права. Соседи по дому, которых я знала, сказали, что его больше нет... Выпив много таблеток, запил их водкой. Утром его нашли мёртвым.

Его лучший друг, тоже Бернд, встретив меня, рассказал, что накануне, в конце ноября прошлого года, он ему позвонил: «Больше не могу и не хочу». «Ты с ума сошёл, – закричал друг. – Я вызову скорую!» «Не старайся, – ответил Бернд. – Я всё равно это сделаю!»

«Почему ты не уедешь к дочери? – спросил друг. – Ведь ты её очень любишь». «Я спрашивал её, но она этого не хочет» – спокойно ответил Бернд.

ВСЁ ЕЩЁ...

Здесь всё ещё целуются в метро,
не потому, что эскалатор долог,
а просто – это ветром занесло
прозрачный свет, что холоден и звонок.

Здесь всё ещё целуются в метро
всем кризисам и санкциям назло.
В метро уютно, тихо и тепло –
сиреневое в прошлое окно.

Здесь всё ещё целуются в метро,
пусть май холодный сыплется дождём.
Все горести и беды нипочём, –
над Петербургом – Ангела крыло.

СТАРЫЕ ВЕЩИ

Тяжело расставаться с вещами
человеку из бедной страны.
Не о них ли мечтали ночами,
а сегодня совсем не нужны.

И куда эти тряпки, кастрюли,
от вечернего платья вуаль,
что хранит ещё след поцелуя, –
с ней расстаться и больно, и жаль.

Но безжалостно новое время –
электронные ночи и дни,
быстротечен приход поколений,
не познавших ни слёз, ни войны.

Генерация игрек, послушай:
я избавлюсь от лишних вещей,
пожалей только бедную душу,
и без тела мне сложно, поверь.

Но мелькают в компьютере кадры,
равнодушно мерцает экран.
Мы вселенской болезни кадавры –
как же нам излечиться от ран?

* * *

[115]

Вещи умерших людей,
Не заметивших потери.
Доски белые дверей,
притаились словно тени.

Дорогой ненужный хлам
Ждёт устало по углам,
память хрупкую хранит
тех, кто по ночам не спит.

Мы уходим, стынут вещи –
Распродажа ожидания.
Будут новые владельцы...
Деньги, хлопоты, желанья.

ПЕПЕЛ

От своих отошла,
а к чужим не пристала.
Письма в печке сожгла, –
дым и пепел глотала.

По-немецки мечтать
не получится, детка.
Нет, тебе не понять,
что смеётся соседка.

От своих отошла,
всё у них понарошку.
И горела дотла,
как бездомная кошка.

Я по снежной поре
и по скользкой дорожке
прислоняюсь к стене,
как бездомная кошка.

ЛИСТЬЯ ГИНКО

Люсьену

Мне было с тобой хорошо
Под этим весенним дождём.
На сонную Заале вдвоём
Глядеть и болтать ни о чём.

Под музыку птичьих хоров
Брести по тропинке в траве.
Бад Киссинген сказок и снов
Шлёт листики Гинко тебе.

Мне было с тобой хорошо,
И даже молчание рыб
Не прерывало, порой,
Мой чистый и светлый порыв.

А если понять ты готов,
Нам Бисмарк подскажет ответ.
Бад Киссинген сказок и снов
Подарит прощальный привет.



Татьяна Устинская

[117]

МОЁ ЛЕКАРСТВО – 1

Зарифмованная проза,
Слов напрасных пируэт –
Вот лекарство от невроза,
Но приносит только вред.

Спрячу я блокнот и ручку
От греха подальше, – в стол.
Не хочу стихами мучить
Душу прямо перед сном.

Валерьяночки таблетку
Принимать уже пора,
Посажу я птицу в клетку,
Чтоб заснула до утра.

Упрекать себя не стану –
Хватит чувства ворошить.
Выйду лучше утром рано
В мир, где выпало мне жить.

Зарифмованная проза –
Не стихи, а просто бред.
Коль сидит в душе заноза,
От неё спасенья нет.

МОЁ ЛЕКАРСТВО – 2

Весёлых не пишу стихов,
Я боль свою вплетаю в строчки.
Прервать поток печальных слов
Мне удаётся только к ночи.

А утром дел невпроворот,
И рифмы оттесняет проза.
Так жизнь меня прицельно бьёт,
Терзает душу без наркоза.

Бегу и прячусь, отстраняюсь,
Проталкиваюсь ближе в двери,
Чиню прервавшуюся связь,
И тороплюсь к заветной цели.

Под вечер вновь «свожу концы» –
Опять не радуют итоги.
Бегут упрямые столбцы,
Напрасны долгие дороги.

А к ночи выражу в стихах
Всё, что на сердце наболело.
И вновь покинет душу страх,
И напряженье сбросит тело.

В стихи вложу я слово «грусть»,
Свои заботы и печали.
И с лёгким сердцем спать ложусь,
Чтоб завтра всё начать сначала.

ДРУЗЬЯМ

Молчанье – золото! Напрасны все слова!
Избитые, затрёпаннные фразы,
Как пожелтевшие с годами кружева,
Увядавшие цветы в дешёвой вазе.

И в музыку души в один сольются хор –
Улыбка, взгляд, и рук прикосновенья,

Тогда, когда без слов прекрасен разговор –
Цените эти редкие мгновенья.

ЧУВСТВО ПОНЕДЕЛЬНИКА

(внутренний монолог)

Почему приходит грусть?
Завтра – новая неделя,
А на сердце – тяжкий груз,
Что-то надо с этим делать.

Жизнь несётся без прикрас –
Вот уж, новость, в самом деле.
Лишь бы как-нибудь неслась –
Механизмы на пределе.

В каверзах во всех вина,
Лишь плохое мне пророчат.
Посидеть бы у огня,
Нервы успокоить к ночи.

Я проблемы запишу,
Разожгу костёр я рядом.
В нём я сразу же сожгу
Свой душевный сор хоть взглядом.

Огорченья от обид
В этом пламени исчезнут.
Пламя злобу поглотит,
Яд прольётся прямо в бездну!

* * *

Вдруг душа моя взовётся
Перед бытом и судьбой,
Сердце песней отзовется,
Но слова забыты мной.

Как мне выбраться из чащи
И ступить на верный путь?
Рвётся жизнь моя на части,
Но с дороги не свернуть.

Отзвучали, видно, песни,
Перепутались слова.
Всё, как будто бы на месте,
Но в отказе голова!

ФЕВРАЛЬСКОЕ СОЛНЦЕ

Буду радоваться солнечному свету,
Отрешившись от проблем и от забот,
и надумаю счастливую примету –
Переделаю судьбы нелёгкий код!

Мне сегодня наплевать на предсказанья –
Даже если неудачный лунный день.
Вечно жду за эту радость наказанья,
И боюсь, что солнца луч закроет тень.

Побороть должна тревоги и волненья,
Не искать причин для страхов и обид.
Солнце в дом пушу и стану на колени,
За унынье, может, Бог меня простит.

ОСЕННИЕ СНЫ

*«... и моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне»*

Евг. Евтушенко

Ноябрь, дождь – привычная картина...
И каждый год один и тот же снится сон:
Знакомый с детства двор, и строгая квартира –
В ней призраки живут, и слышен гул и стон.

Я не могу взлететь – мне страшно приземлиться,
Ведь в прошлое моё давно возврата нет.

Проходит мимо лиц знакомых вереница,
И движется в окне знакомый силуэт.

А под ногами лёд, и снег летит, сверкая.
В автобус, на ходу, все ворвались гурьбой...
Что ж молодость моя меня не отпускает,
Зачем-то снится мне, – смеётся надо мной?

[121]

Я помню имена, события и даты,
Хоть много лет прошло, – живу в другой стране...
Куда спешите вы, наивные ребята?
Я с вами убегу в своём коротком сне!

ЛЮБИТЕЛЯМ СЛАДКОГО

Ночь повеяла прохладой,
Никуда я не спешу.
И кусочком шоколада
День тяжёлый завершу.

Не должна я это делать.
Завтра будет лишний вес.
Если нервы на пределе,
Сладким заедаю стресс.

Значит, буду «дамой в теле»,
А не нервной, злой, худой, –
Захотелось, в самом деле,
Быть в ладу с самой собой!

Михаил Эненштейн



ДУНЯ

Когда мы слышим слово «предательство», в нашем воображении возникает, как минимум, предавший Родину, друга, женщину. Человек этот скрытный, лживый, коварный, которому и руки не подашь. Но всегда ли это слово соотносится только со столь серьёзными нарушениями общепринятой морали? Не становимся ли мы иногда свидетелями или участниками менее значительных событий, но не менее болезненных, оставляющих надолго горький осадок, чувство вины, раскаяния и душевное беспокойство?

Было поздно. Осенний ветер швырял горсти дождя в окна, хлопал фортками и гремел оторванным листом железа на соседней крыше. Читая журнальную статью, никак не мог сосредоточиться и понять её смысл. Сквозь наплывающую дрему думал: «...Хорошо, что все дома – никого не нужно встречать с зонтиком на трамвайной остановке, как славно струится тепло от горячих батарей, а из кухни вкусно пахнет пирожками».

Вдруг возникло ощущение, что кто-то смотрит на меня. За стеклом балконной двери то появлялась, то исчезала кошачья мордочка. Она тыкалась в дверь и беззвучно мяукала. Я приоткрыл дверь. В комнату метнулась рыжая молния с тёмными полосками поперёк спины, в белом передничке и белых тапках. Кошка зажмурилась и отряхнулась. Маленькие бриллиантики капель на миг заискрились и разлетелись в разные стороны. Попытка завернуть гостью в толстое полотенце закончилась неудачей. Кошка выпустила когти и зашипела, в её глазах вспыхнул зелёный огонь. От еды отказалась и улеглась под батареей. Она никак не могла устроиться, пытаясь спиной достать горячую поверхность. Придвинутый стул решил её проблемы: кошка животом при-

жалась к батарее, на передние лапы положила голову и задремала. Ночью я несколько раз вставал взглянуть на пришлицу. Она находилась в той же позе, только лениво поводила взглядом в мою сторону.

Кто-то «циклей» обдирал крашенные доски, и от этих звуков я проснулся. Вонзая когти в дверную планку, кошка пыталась открыть дверь, но только оставляла на ней глубокие бороздки. Я помог ей, и она выскользнула из квартиры. Мы стали забывать о ночном посещении. Но зарядили дожди, и она снова стала приходить ночевать, по-прежнему не разрешая к себе прикоснуться. К утру кошка отогревалась и вновь уходила. Мы привязались к ней, с нетерпением ожидая появления её мордочки за стеклом балконной двери.

Зима опушила инеем чугунную вязь балконной решётки. Солнечные лучи уже не могли растопить молодой лёд, затянувший небольшие лужицы. В один из таких дней я услышал на балконе какие-то звуки. За дверью на боку лежала наша знакомая. Тусклая шерсть на животе смёрзлась в комки, а глаза смотрели в одну точку. Возле неё ползал крохотный котёнок. Дёргая пустые соски, он отчаянно пищал. Больная кошка вскарабкалась на второй этаж и принесла его к нашим дверям. Соорудив в картонной коробке тёплое гнездо, перенесли их в комнату. Кошка от еды отказалась, но каждые четыре часа мы насильно вливали ей тёплое молоко с крохотной дозой антибиотиков. Закутанная в шерстяную подстёжку, Дуня, как мы называли её, лежала неподвижно. По её измождённому тельцу пробегали судороги. Казалось, до вечера она не доживёт. Котёнок же быстро научился пить из блюдца, наедался и сразу засыпал.

На третьи сутки Дуня выбралась из коробки, перетащила котёнка на постель жены и стала лизать ей лицо, шею и руки. Так началась любовь независимого животного к человеку. Может быть, в благодарность за спасение, может быть, за то, что ведомо лишь существам, стоящим ближе к природе, чем люди. Постепенно кошка выздоровела. Ходила по квартире на ещё не твёрдых лапах, много ела и спала. Её шерсть стала блестеть, в движениях появилась уверенная грация и она превратилась в маленького тигра. Котёнка мы отдали в «хорошие руки». Дуня несколько дней искала своё чадо, иногда призывно урчала, но быстро успокоилась.

Она ни днём, ни ночью не отходила от жены и, как собачонка, повсюду бегала за ней. Утром, проводив её до ворот, усаживалась в проёме и сидела там до тех пор, пока жена не заворачивала за угол.

Нужно ли говорить, что она стала членом нашей семьи, чувствовала себя хозяйкой и ревниво оберегала своё положение? Раньше к нам на

балкон приходили дворовые кошки – мы их подкармливали. Теперь же Дуня ревниво за этим следила: ни одно животное наверх не допускалось. Характер у неё был скверный. Она ненавидела собак и по малейшему поводу пускала в ход когти. В тёплое время года, лениво развываясь на перилах балкона, дремала, тем не менее держа весь двор под наблюдением, и как только появлялась собака, пробуждалась. Шерсть на загривке становилась дыбом. Изогнув спину, что-то прошипев, неожиданно сваливалась на голову ничего не ведающей собаке и когтистой лапой била по морде. Ошарашенное животное с визгом покидало место драки, а удовлетворённая Дуня возвращалась на только что покинутое место, продолжая нести свой «караул». Хозяева потерпевших грозили нам всякими карами, и нам с трудом удавалось сдерживать их справедливый гнев.

Врагом номер один у Дуни был пылесос. Во время его работы она ходила вокруг кругами, то выпуская, то вбирая когти. Её зрачки расширялись, а хвост нервно бил по бокам. Кошка готовилась к прыжку, но так и не сделав его, возмущённо фыркала и царапала пол. Когда пылесос мирно дремал на своём месте в коридоре, Дуня на животе тихо подкраивалась и бросалась в атаку, впиваясь зубами в резиновую горловину, а задними лапами зло вычерчивала иероглифы на его металлических боках.

С нами она была ласкова и всячески выражала свою кошачью любовь, и мы платили ей тем же. Но если Дуня была чем-то недовольна или требовала еду, то начинала носиться по квартире, сметая всё на своём пути, не успокаиваясь до тех пор, пока не добивалась своего. В арсенале попрошайки были и другие методы. Когда мы обедали, Дуня занимала место на табурете. Сидя на задних лапах, передние клала на стол, не отрывая взгляд от моего рта. Я делал вид, что ничего не замечаю, тогда она мягкой лапой теребила мою руку, а в её глазах было столько мольбы, что я безропотно отдавал половину порции своего мяса или рыбы. Кормил её я, но сердце Дуни безраздельно принадлежало жене. Забираясь к ней на колени, она ласково урчала, словно признавалась в любви, клала голову на грудь и так замирала. Когда жена работала за столом, Дуня устраивалась тут же, сворачивалась клубочком под настольной лампой и одним глазом следила за бегом пера по листу бумаги.

В холодное время года кошка частенько устраивалась на книжных полках под потолком, молитвенно складывая лапки, клала голову на плечо бюста Сократа и что-то мурлыкала. Улыбаясь, мудрый Сократ, казалось, рассказывал усатой гетере о её предшественницах, которым поклонялись египтяне. А может быть, они просто обменивались впечатлениями о превратностях быстротечной жизни? Кто может допод-

линно знать мысли этих двух загадочных существ – одного из-за его древности, а другой – из-за природной скрытности?

Дуняша жила у нас уже более пяти лет. Наступили трудные времена – для нас и для неё. Мы получили разрешение на переезд в другую страну. Брать с собой животных запрещалось, а мы были слишком законопослушны.

Время «шагало» в сапогах-скороходах. Мысли о том, что существо, привязанное к тебе, к твоей жене, к твоему дому, нужно оставить, не давали покоя. Решив, что до нашего устройства на новом месте Дуня поживёт у соседки этажом выше, начали паковать вещи. Кошка с любопытством обнюхивала коробки, чемоданы, но потом, словно что-то поняв, стала нервной, злой и почти не выходила из дома. Теперь не разрешала брать себя на руки и не спала в ногах жены. Чувствуя свою вину, мы пытались её задобрить, но она воспринимала это совершенно равнодушно.

Настало время отнести Дуню к соседке. Вначале она пряталась среди ящиков, но вдруг успокоилась и пошла на руки. По щекам жены капали слёзы. Дуня вылизывала их, тыкаясь мордочкой в вырез платья, словно о чём-то просила. Притихнув, позволила отнести себя наверх. Когда жена опустила её на пол в чужой квартире, кошка заволновалась и по одежде, как по стволу дерева, снова вскарабкалась к ней на руки. Отрывая её от платья, жена проклинала нашу законопослушность и плакала навзрыд. Наконец, ей удалось оставить Дуню и выскочить за порог. Всю ночь кошка носилась по соседской квартире, рвалась в окна, пыталась открыть балконную дверь. Двое суток она бушевала. Наконец, ей удалось вырваться на балкон третьего этажа. По стене, цепляясь когтями за малейшие выступы штукатурки, она сползла до уровня второго и очутилась на перилах своего балкона. Дверь открыла незнакомая женщина. Дуня испугалась, ринулась вниз, по виноградной ветке спустилась на землю и быстро вскарабкалась на дерево, растущее напротив.

Из открытых окон квартиры, где она жила раньше, слышались чужие голоса. Новые жильцы расставляли мебель и на прежние книжные стеллажи, на которых уже не было бюста Сократа, ставили совсем другие книги. Маленькая собачонка, развалясь на балконе, равнодушно посмотрела на кошку и не удосужилась её облаять.

Когда Дуня убедилась, что в квартире нет её хозяйки, она спрыгнула с дерева и выскочила за ворота.

Сетчатая тень надвинулась на неё и закрыла солнце. Кошка прижалась к земле и угрожающе фыркнула. Тень не испугалась, быстро вобрала Дуню в себя и, подняв над землёй, понесла. Опомнилась Дуня в решётчатом ящике среди таких же несчастных, которых куда-то везли...

ВЫСТРЕЛ В ТАЙГЕ

[126]

ДиП / 2016

Площадь Александерплац, что в Берлине, многолика, как многолики люди, заполняющие её с утра и до вечера. Это и панки, обязательно с собаками, и одетые по последнему «писку» моды женщины, и деловые люди, и рекламные распространители, и зеваки. И, конечно же, продавцы жареных сосисок. А сегодня у фонтана небольшой оркестрик из Перу играл на своих незатейливых инструментах. Пестротканная одежда с украшениями из бисера и камней, вплетённые в длинные косы мужчин кусочки цветной кожи напоминали героев приключенческих романов Майн Рида. В их мелодиях – то печальных, то бравурных – слышался шум водопадов, холодное безмолвие ледников и пронзительная тишина залесных перевалов. Они напомнили мне геологическую молодость, когда берега горных рек, перевалы, таёжная глухомань и жаркая пустыня большую часть года были моим домом. Они также напомнили мне бесконечные рассказы у привальных костров. Один из них я поведаю.

Пятый день по извилистым таёжным тропам мы спешили к своей базе. Переправиться через реку необходимо до появления шуги.¹ Ночь застала наш небольшой отряд вокруг костра. Крупные снежинки белыми бабочками слетались на огонь, медленно кружась, опускались на раскалённые угли и с шипеньем умирали. Усталые, разморенные теплом костра, прежде, чем залезть в спальные мешки, должны рассказать анекдот или байку. Таков ритуал. В этот раз заспорили. Ну о чём могут спорить пятеро здоровых, молодых мужчин? Конечно же, о женщинах, о любви, о верности. Горячий и романтичный сердцеед Тенгиз, обжигаясь чаем, кричал своему другу Виктору: «Слушай, дорогой! Зачем ты совсем злой? Зачем ты совсем глупый стал? Женщина, если полюбит, – глаза его потеплели, лицо похорошело, и даже внушительный нос с обмороженным кончиком стал менее заметным. Он сложил губы трубочкой, поднёс к ним три сложенных пальца и поцеловал так громко, что начальник отряда, Павел Андреевич, заполнявший полевой журнал, прислушался. – Мамой клянусь, женщина, если полюбит, а главное, если ты, глупый, сильно любить будешь, станет ласковой, даже немножко умной, и поедет за тобой хоть в Магадан, хоть в Азербайджан».

Из распахнутых окон университетского зала доносятся танцевальные мелодии. По паркету, прижимаясь друг к другу, скользят пары, свет старинных люстр золотит вензеля на погонах студентов. Вечер геологического факультета перед практикой.

Хорошо, когда тебе двадцать лет, когда твоя рука лежит на талии со-

Поэзия и проза

курсницы, а её платье вьётся вокруг твоих ног. Хорошо, когда впереди целый вечер, а может быть, целая ночь вдвоём, целая жизнь.

Сергей был один. Лена не любила ходить на вечера его факультета. Он танцевал с незнакомкой, а мысли были далеки от девушки, чья рука лежала на его плече.

Сергей вспомнил последний разговор с Леной, и из глубины души поднималась горечь. Любовь к ней мешала жить, учиться, и быть самим собой. Этот прямой человек с открытой душой и весёлыми глазами стал совсем не тем, каким его знали сокурсники: весёлым, улыбчивым, готовым прийти на помощь. Его энергия была фонтаном и светлый вихор над лбом мелькал то в аудитории, то на спортивной площадке, то в лабораториях. Сергей часто менял подруг, но был всегда честен с ними. Теперь он изменился, потерял вкус ко всему, что не касалось Лены. Однако его нежность, заботливость, любовь не меняли её отношения к жизни, к друзьям, к нему самому.

Лена Королёва училась на третьем курсе института иностранных языков и вполне оправдывала свою фамилию. Тонкий профиль, чуть вздёрнутый носик, длинные волосы и сметливые глаза «убивали» студентов и молодых преподавателей наповал.

Она была красива и многое успевала: хорошо училась, правда, злые языки поговаривали, что хорошие отметки в зачётке появлялись благодаря умению «королевы» – так называли её студенты – своим видом давать авансы экзаменаторам, ходила по музеям и концертам, коммиссионкам и парикмахерским. Но забывала поздравить мать с днём рождения, предупредить Сергея, что не придёт на свидание. Забывала вывести погулять маленького шпица, и хотя говорила, что очень любит своего пёсика, нещадно порола его бельевой верёвкой, если тот ненароком опрокидывал поилку.

Она жила с родителями в доме, который в городе называли «дворянским гнездом». По утрам к подъездам подъезжали чёрные лимузины и развозили обитателей по «высоким» чиновничьим кабинетам. Лена была из другого мира, непонятного, а иногда и враждебного по отношению к его, Сергея, жизненным принципам.

Он вырос в семье учителя, скромного преподавателя новейшей истории, который вынужден был рассказывать ученикам необходимые властям небылицы, но его, тем не менее, никогда не покидал страх ареста. На помощь родителей Сергей рассчитывать не мог. Да и не хотел. Это противоречило его убеждениям. Он подрабатывал грузчиком, сторожем, репетитором, а то и артистом миманса.

Отношение Сергея к окружению Лены было сложным. Они были людьми из двух разных миров.

Сейчас, лицом к стене, он лежал на своей койке в общежитии и снова вспоминал вчерашний вечер, их разговор, банальную фразу, сказанную Леной у двери её дома: «Мужчины – добытчики. Привезёшь медвежью шкуру, тогда будем выяснять отношения».

Поражённый этими словами, он ринулся вниз по лестнице. Ещё не преодолев последних ступенек, знал, что «расшибётся в лепёшку», а шкуру добудет...

Услышал голос Кости, давнего друга: «Киснешь? – словно продолжая неоконченный разговор, тот сказал. – Вот закончишь учёбу, получишь назначение на север. Лена поедет с тобой? Бросит тёплое гнездо? Будь реалистом. Или останешься здесь осваивать специальность парикмахера? – Махнув рукой, Константин тихо добавил. – Конечно, она красивая, и улыбка у неё, дай, Бог...»

Вот именно – улыбка, которая обезоруживала и ради которой Сергей готов был на всё.

Через день его провожали на восток. За окнами вагона, на фоне нескончаемой гребёнки леса, в обратном направлении мелькали полустанки, маленькие станции с красноголовыми дежурными. Они держали в руках флажки, свёрнутые трубочкой, давая «зелёную улицу» не только поезду, но и надеждам, мечтам. Сергей стоял в тамбуре, в воображении – рядом была Лена. Он чувствовал запах её волос, кожи, ощущал прикосновение её рук, но почему-то – холодных. От этого становилось зябко, тоскливо. А колёса вагона, постукивая на стыках, тянули бесконечную песню: «Ле-на, Ле-на, Ле-на!»

Поисковый отряд расположился в излучине небольшой реки, у самой воды. Аверьян Иванович, проводник отряда, старый таёжник, хлопотал по хозяйству: чинил сбрую, ухаживал за лошадьми, готовил еду. Из котла шёл соблазнительный парок. После ужина все разбрелись по палаткам. Костёр догорал, выстреливая в темноту снопы золотистых искр. Они мгновенно гасли, оставляя в воздухе горьковатый запах кедрача. Проводник сидел на ящике, подбивая стёршиеся подковки к сапогам, и что-то тихонько напевал. Подошёл Сергей: «Утощайтесь, Аверьян Иванович», – и протянул пачку папирос. «Не-а! Кашляю я от них, – ответил проводник и вытащил кисет с махоркой. Скрутил из бумаги «козью ножку», набил махрой и прикурил от уголька. – Откудова сам будешь, сынок?» «Из Одессы, – ответил Сергей. Они ещё долго вели неспешный разговор. Вдруг Сергей спросил, – А медведи здесь есть?» «Пошто нет! Всякого зверя здесь много, и медведи имеются. Только сейчас, милок, с им нельзя. Потому – лют он сейчас, в мамках ходит. Аккурат вчера следы по росе были. Встретить можно, пошто не встретить, только тогда – беда».

Больше Сергей ни о чём не спрашивал. Решение созрело мгновенно.

но. Едва просветлело небо, он быстро встал, взял карабин и ушёл в тайгу. Лес молчал, всё кругом ещё спало, в чащобах было совсем темно. Первые солнечные лучи пронзили верхушки сосен мощными прожекторами и разбудили лес. Стало празднично и нарядно. Отразив солнце, капли росы мгновенно испарялись. По низине полз прозрачный туман. Лёгкий ветер, шурша ветками, унёс его к реке. По прогалине, заваленной мелким буреломом, катились два тёмно-бурых шара. Они приближались к дереву, у которого стоял Сергей.

«Медвежата!» Тёплое чувство вдруг заполнило душу. Взвинченность. Напряжение, в котором он жил последнее время, исчезли. Стало легко и спокойно: он увидел совсем другой лес, кипящую в нём жизнь, другую реку с серебряными морщинками. И тут он понял, чего хотела от него Лена. Ей нужно иметь шкуру, и этим подчеркнуть свою исключительность.

Нет, он никогда не сделает этого, ни за что не выстрелит, никогда не убьёт жизнь!

Любовь уходила из его сердца, и он уже думал о Лене без прежнего трепета, волнения и страха потерять её. Сергей вдруг увидел то, чего не сумел или не хотел разглядеть раньше: жестокость, равнодушие, хитрость – черты характера, которые ненавидел. Он почувствовал себя свободным от унижительных ожиданий, неопределённости и гнетущей зависимости от Лены. «Свободен! Свободен», – кричал он, сложив рупором ладони.

Повернув голову, остолбенел. На него смотрели злобные глаза медведицы. Ключья шерсти свисали с впалого живота. Некоторое время она не чувала человека, но теперь ветер дул от него. Принюхавшись, медведица двинулась на охотника. Он сдёрнул с плеча карабин и прыгнул за дерево. Мгновенно медведица вздыбилась и очутилась в шаге от него. Тяжёлый запах пахнул на Сергея.

...Он выстрелил, не целясь. Зверь остановился, уже смертельно раненый, с рёвом обрушился на человека...

На борту маленького самолёта, что летел в центр, Сергей опять пришёл в сознание. Он вспомнил о своём обезображенном лице и равнодушно подумал о будущем.

О прошлом лишь нутжно и зло шипел за бортом ветер: «Шшш-куу-рра! Шшш-куу-рра! Шшш-куу-рра!»

¹Шуга – мелкий, рыхлый лёд, появляющийся перед ледоставом.

Марина Овчарова



ВОЛНЫ

Нерождённый иероглиф
Стучится в переносицу,
Пытаясь нащупать маленькую лазейку,
Прикрытую родинкой,
И не найдя, отступает вглубь.
Сворачивается обиженным цветком
В мягкой колыбели груди
И тихо засыпает, как уставший ребёнок.
Оранжевый свет
Окутан голубоватой дымкой
Лепестков роз,
Медленно увядающих во мраке.
Маленький человечек во фраке
Ставит на стол коктейли
И безмолвно исчезает,
Так и не появившись.
Слышен неясный звон
Зеленовато - лиловый.
Он сливается с гулом океана,
Который тёплыми волнами
Ласкает песок.

ДОЖДЬ

Жара плыла над крышами домов
Лиловостью дымящейся сирени.
Плыла над садом запелёнатых холмов
Туманной дымкой, жаждой пробужденья.

Жара плыла над веером ресниц,
Слипаясь потом, по вискам струилась.
И яркой вспышкой неожиданных зарниц
Над куполом церковным расстелилась.

Рассыпавшись на тысячи кусков,
Жара взметнулась ввысь шальной вороной
И закричала резко – галкой из кустов
От острой боли крыльев опалённых.

Ей каждый куст и дорог был, и мил
Приютом прошлым, или же – последним.
Секунда вечности... И крупный дождь полил,
Тяжёлых светлых капель не жалея.

СОЛОМОНУ

Мой царь, Соломон! Мой возлюбленный царь!
К тебе подхожу я, отважась, как встарь.

Ты любишь меня. Ты ночами не спишь
И глядя в простор, лишь со мной говоришь.

Протянута смуглая в перстнях рука.
Ухожены ногти... Как ночь глубока!

Твой яростен взор и уста горячи.
Со мной говори, Соломон, не молчи!

Походка уверенна, поступь тверда.
Я к башенным стенам иду, как тогда

По полю, где женщины в платьях до пят
Янтарный срывают тебе виноград.

Старухи и девы десятками лет
Приходят к стене, лишь забрезжит рассвет.

Упруга их грудь, подпоясаны бёдра.
Вином золотым наполняются вёдра.

Становится меньше их день ото дня...
Среди этих женщин узнаешь меня?

СОН

*В нас поселяются дома,
в которых мы жили когда - то.*

Я видела дом, увитый плющом,
Где мы на пороге стояли вдвоём.
Я видела сад, и в нём виноград,
Гранатовых яблоч дневной звездопад.

Опустится ночь, и вспыхнет рассвет.
Прольётся над озером розовый свет.
И дом этот старый появится вновь.
В покинутых комнатах бродит любовь.

В разбросанных по полу пыльных альбомах,
В поблекших портретах до боли знакомых,
И в залитых солнцем каминных часах
Любовь поселилась, от мыслей устав.

ТЫ

Ты, ты, ты – в нагромождении света –
Знаешь ли, чувствуешь, помнишь ли это –
Как отряхнувшись от снов и оков,
Мы заблудились в осколках веков?

Помнишь, как мы, не дождавшись рассвета,
Падали в ямы погасших костров?
Помнишь, как яростно жаждали утра?
Помнишь, как вместе хотели проснуться?

Ты, ты, ты! Здравствуй! Войди!
Вот распахнута дверь!
А на пороге таинственный зверь,
Мягкими лапами переступая,

Смотрит мне прямо в глаза.
Тихо, так тихо, что слышно, как воздух
В белой предутренней мгле застывает.

[133]

Ты, ты, ты – этот зверь –
Словно большая живая игрушка –
Манит и ждёт. И двоим неподвластна
Эта могучая добрая сказка...

Розовой лодкой всплывает рассвет.
Всё это ты, ты, ты – навсегда, на тысячу лет.
Без конца и без смысла.
Жёлтое солнце над морем повисло.

Это рождение нового дня.
Дерзостный сон молодого героя.
Ты, ты, ты – на песке возле моря,
Щурясь на солнце, встречаешь меня.

УЛИТКА И СТРЕКОЗА

Весенним днём цветут деревья.
Ползёт улитка, не спеша.
А стрекоза от удивленья
Присела, крыльями дрожа.

– Привет, подружка дорогая!
Куда ползёшь ты по стволу?
Улитка скромно отвечает:
– Отведать вишен я смогу.

– Какие вишни в это время?
Умом ты тронулась, боюсь!
Плоды лишь к осени поспеют.
– Я никуда не тороплюсь.

– А что потом? – Потом обратно
Спущусь по вишне, не спеша.
И будет сладостно приятно
Вдыхать земные ароматы.
И воспарит моя душа.

[134]

ЦВЕТОК АВОКАДО

Израилю

Я останусь с тобой на Голанских высотах,
Превратившись мгновенно в цветок авокадо.

Я останусь с тобой в раскалённой пустыне,
Красным камнем взметнувшись мгновенно от пекла.

Я останусь с тобою оранжевой рыбкой,
Чёрной маленькой ящеркой, белой голубкой...

Я поеду по гладкой шуршащей дороге,
Надо мною раскинется знойное небо.

От оливковой рощи до самого моря
Каждым лучиком солнца я буду с тобою.

ЦВЕТОК АРТИШОКА

Елене Вейнберг

Цветок артишока, цветок артишока
Запал в мою душу глубоко-глубоко.

Цветок артишока – как небо, как море.
Бездонною синью сиянье лазури.
Цветок артишока серебряным звоном
В меня проникает до самой короны.

По кончикам пальцев волной мегагерца
До горной вершины от самого сердца.

**Игорь
Козан**



[135]

ШАРЛАТАН 7

(Начало см. в альманахах «До и после» №№14 – 19)

...«Кролики» расселись в вагоне, чуть ли не за руки держась: трое по ходу поезда, молодняк напротив. Честно говоря, на такую групповуху я не рассчитывал. Скорее наоборот – разбрелся они по всему салону, удобней было бы наблюдать за их соседями, особенно за аппетитными коленками в мини юбках...

Прав был Шарлатан насчёт желания поиграться новыми способностями. Поди хреново! Зри куда хочешь – и ни одна тебе не скажет «чё вылупися?». Я, разумеется, не сексуальный маньяк, но отказывать себе в невинных удовольствиях, последнее дело.

Как много потеряли наши деды и прадеды! Да что там деды – отцы! Ещё лет пятьдесят тому, демонстрация подобного рода невинных прелестей совершенно не представлялась возможной. Мода, в силу ханжеско-моральных предрассудков, откровенно игнорировала генетические пристрастия раздосадованных дам. Ежели по Гамбургскому счёту, то «La femme emansire» в переводе на любой язык, включая французский, означает не что иное, как беззаветное желание распоряжаться собственным телом по своему усмотрению. Никакой иной свободы нормальной женщине даром не нужно. За всё остальное пусть эти козлы платят, впрочем, за ЭТО тоже, причём вдвойне. В древнейших Шумеро-Аккадских текстах (IV – III тысячелетие до нашей эры), основанных на Хурритской мифологии клинописано: «Жены и девы созданы богами для того, чтобы их ласкали, а мужи – чтобы ласкать оных, и с помощью нехитрых приспособлений, с пристрастием исторгать из оных жен и дев сладчайшие звукоизвержения, кои бесконечно доро-

ги и любви изысканно-утончённому слуху избранных небожителей...». Похоже там наверху вообще ни на что не способны, кроме как свечку держать, вот и изгаляются....

О коленках можно написать целую поэму. Вполне возможно я займусь этим на склоне лет – если доживу, что при нынешних взаимоотношениях с этой суккой Марьяной весьма проблематично. Тут надобно начать с того, что у каждой пары коленок есть своё, соответствующее данному конкретному моменту, выражение лица. Поглядев на коленки, можно спокойно не смотреть на всё остальное. Коленки – самым красноречивым образом повествуют о характере, темпераменте, настроении, тактических задачах и стратегических целях обладателя оных. Ежели, к примеру, коленки тесно сдвинуты и даже несколько напряжены, причём до такой степени, что между ними и мышь не проскочит, можно с уверенностью сказать – верхнее выражение лица будет точно таким же, и вообще – обладатель данных коленок, наверняка, что-то нехорошее скрывает. Когда же, напротив, коленки легки, изящны, невинны, послушны, веселы и распахнуты, то временно проживающие рядом существа иного предназначения перестают скучать, хмуро пялиться в проезжающую природу, их скорбно-рассеянное мышление приобретает целенаправленный характер. Даже расположенные по соседству хмурые, сдержанные коленки, начинают волноваться, приходиться в непозволительный ажиотаж и думать: «А что, в конце концов, такого...? А мы-то что...?? Что ж мы – на зимние квартиры»...??? У нас тоже коленки имеются!!! С ними тоже ещё хоть куда – «И в пир, и в мир, и в добрые люди...». Кстати, у той помешанной на скандальном сексе стервы – я помянул о ней в предыдущей главе – коленки были выше всяческих похвал...

Ну да ладно – пора вернуться к моим подследственным кроликам.

Мужики, как только уселись, откупорили по пиву и быстренько присосались. Они были просты, как три рубля: смолоду, по-соседски, дружили, смолоду, по дурусти, за мелкую хулиганку отсидели, причём тоже по-соседски – на одной зоне. На постоянной работе подолгу не задерживались, а последний год перебивались случайными заработками. Пару дней назад прочли в газете, что на московской стройке требуются разнорабочие, общагу дать могут – ну и рванули.

Тётка вытащила промусоленную книжку и активно зашевелила губами. Она не столько читала, сколько была озабочена пересадкой на автобус. Опоздание электричек было в порядке вещей. Перспектива лишний час прозябать на вокзале, и ещё минут сорок дрыгаться по задрипанной дороге, в таком же захудало-дырявом автобусе, не радовала. Красивое, рокошущее имя «Екатерина» отскакивало от неё, как теннис-

ный мячик, зато отчество «Шараповна» необычайно шло: и то и другое было от фонаря присвоено в детском доме. Из того же дома она через несколько лет взяла приёмную дочь, которую заметила в младшей группе ещё до выпуска в люди. Углубляться далее не было интереса и, как оказалось впоследствии, пришлось сильно об этом пожалеть...

Сладкая парочка, тут же, при всех, обсюсюкалась. Солнце, галопом перемигивалось с вершинами деревьев, и муржило соплякам глаза, мешая сосредоточиться друг на друге. Когда же они, наконец, отмиловались, то горячо заспорили, в каком кабаке и как надолго зависнуть, не подозревая, что над ними уже нависли грозные родительские тучи. На Белорусском вокзале беллецов примут поднятые по тревоге цепкие, бережные руки – адъютанты, ординарцы, прочая челядь, предназначенная для обслуживания начальственных папаш и, с комфортом, препроводят назад – к приписанному месту дислокации. Как говорят, в таких случаях, на Украине – «добре обломае...». Даже обидно за них стало. Зачем снабжать юнцов таким взрослым количеством тестостерона!? Ведь им на двоих не больше двадцати восьми. Шарлатан тут явно перестарался.

Я в их годы... А что я, собственно, в их годы...? В их годы я обзавёлся первой девочкой. В их годы я был хорош! Очень хорош! Не то, что сейчас. Многие девчонки на меня глаз косили, а виноват папа. Разбирая как-то его бумаги, наткнулся на юношеское четверостишие:

*«Я скажу вам девочки, правды не тая,
Что таких хорошеньких не достоин я...
Где вы, эти самые – рост, и стать, и грудь...
Разве что, глаза мои стоят что-нибудь...».*

Яблоко от яблони недалеко падает. Количество слабых полом, папа хранил их письма в особой шкатулке, подальше от семейных разборок, впечатляло. По всей вероятности, он был ещё тот ходок, несмотря на весьма сомнительное телосложение и попорченный в детстве позвоночник.

Как сейчас помню – одна тысяча девятьсот шестьдесят первый: Гагарин, Куба, фарца, пионерский галстук, первые приводы, первая девочка... Светке было шестнадцать. Я ужасно этим гордился. Ещё бы – на два года меня старше! Десятиклассница! Это вам не хухры-мухры! Правда, нам в голову не могло прийти облизывать друг друга при всем честном народе, а мне называть её тёлкой. Светка – тёлка.... Она бы точно не поняла и обеспечила мне фонари под каждым глазом...

Кстати, откуда мне известно, что слюнявчиков заметут на Белорусском? Ведь я отмотал плёнку от Звенигорода до Здравниц, не более! Клёвая вещь – подсознание, если уметь им пользоваться – всё наперёд

знает... Шарлатан, конечно, помог – раскачал, но ясно одно – всё дело в желании и тренировке – каждый может. Задай вопрос – придёт ответ. Только сейчас я понял значение слов Шарлатана в одной из наших бесед: «Вопросы, молодой человек, надо задавать правильно. Точный ответ придёт только на точный вопрос, и никак иначе».

Так – что у меня с тёткой и что в остатке? «Здравницы» проехали. «Пионерская» на подходе. Через шесть минут «Одинцово». Стало быть, про тётку можно забыть – доехала. Баба с возу – кобыле легче...!

В остатке у меня сосунки и работяги. С работягами я распрощаюсь на Белорусском – не до них. Сосунков жалко. Может посадить их пораньше? Окружную проехали – Москва уже. Внушу им на Беговой выскочить. Метро рядом. Три остановки и Пушкинская, а там уж как хотят сами.... Одно плохо – Шарлатан трёпку задаст. Сказал же – без нужды в чужую судьбу не соваться. В конце концов, мне что – больше всех надо? Довезу и баста.

«Остановочная платформа «Одинцово» – ржавым хрипём прокаркала из динамиков. Тётка, зачитавшись, ракетой рванула к выходу. Вместо тётки в вагон зашли и уселись на её место две весьма примечательные коленки. Не зря говорят в народе «дают – бери, а бьют – беги». Однако, как только я с неприкрытым вожделением примостился напротив, то мгновенно почувствовал резкую боль в заднице. Вскочив, я враждебно уставился на сиденье, ожидая увидеть что-то вроде гвоздя или большой кнопки, но вместо этого узрел здоровенную раздавленную осу и не на лавке вагона, а на скошенном поле....

- Не жалко? – раздался до омерзения знакомый голос
- Кого? – спросил я усиленно потираясь.
- Разумеется несчастное насекомое, а не ваше мягкое место.
- От вас дождёшься. Небось, сами подложили.

– Жертвовать живым организмом ради такого разгильдяя не по моей части. Вспомните любимый афоризм старшины: «Мне что каша, что Маша – что положат, то и съем...». Это про вас. Заигрались, молодой человек, решили завести интрижку, думая, что ваше тело там. Да хоть верхом на эти коленки заберитесь – они не увидят, не услышат, и что самое, для вас, неприятное, не почувствуют... Находиться в одном месте и видеть, что происходит в других, мгновенно исчезнуть в одном месте и возникнуть в другом – всему, при известных усилиях, можно научиться – даже вам. Обречься плотью своя в двух местах разом даже Марьяна не способна.

– А вы у нас на все руки мастак? – придал я голосу самые мерзкие интонации.

- Божий промысел всяко чудеснее суетного ума человеческого. При-

зор очес ваших, перенесите с коленок на соседа справа, оно для дела сподручней.

Вот гад – даже ухом не повёл. Тоже мне – монах-доминиканец. Злит меня специально. Знает же – терпеть не могу, когда он на этот дурацкий язык переходит.

– А на что он сдался? Хоть справа, хоть слева. Мне с ним детей не крестить. И вообще – я кроликов до места довёз? Довёз. Коленки это так – проходил мимо. Теперь парня этого искать надо, что деньги упёр.

– Искать незачем, он только что в вагон зашёл, вместе с коленками – справа от них сидит. Так что, крестить-не крестить, а дело иметь придётся.

– Как это я раньше его не заметил, – меня так и подмывало нахалить. – Где ж ваше хвалёное подсознание было?

– Во первых – не моё, а ваше. Во вторых – вы, молодой человек, из-за фанатического пристрастия к коленкам полжизни не заметили. Где уж подсознанию через этикие дебри пробиться. Вам бы от конкретных дел увильнуть, да в риторическом плетении словес поупражняться... Поэмы решили писать, молодость вспомнили... Количество рогов ваших – безмерно проросших – в памяти освежить не желаете? Ступайте-ка назад и дело до конца доведите...

...«Станция Белорусская – конечная. Поезд дальше не пойдёт. Просьба освободить вагоны».

Парня узнал сразу. Нацмен. Из залётных. Моя продавщица, по специальности этнограф, определила, что он вогул, мол вогулы издавна водились на западном Урале, задолго до прихода русских. Он уже неделю на рынке болтался – подрабатывал: где поднесёт, где помоеет, где подтащит, где стащит... Не он один такой. Залётных понять можно. Где ж ещё кормиться, как не на рынке? Жить всем хочется. Но чтоб так...

Самым коротким путём он выскочил на привокзальную площадь и уверенно направился к метро «Белорусская кольцевая». Стало быть, знает куда идёт.

Не упуская его из вида, я пошел через поле в сторону корпусов. Пора было собирать шмотки и валить из «Ёлочки» самому.

Между тем Вогул сбегал вниз по эскалатору на кольцевую и сразу направился в другой конец станции к пересадке на радиальную.

Правильно. С большими деньгами не худо лишний раз повилать – вдруг, кто на хвост уселся, иначе бы ещё внутри вокзала туда пошёл. На нём была свободная хламида, а под ней, в нескольких карманах болталось семь с половиной лимонов. Это я сразу посмотрел. Берлога у

него, конечно же, была, но видимо ненадёжная – стал бы он с такими бабками по Москве шастать.

Что делаю? Варианта два: либо звонить Сергею и с рук на руки передать, либо прогуляться с Вогулом до конца и только потом звонить. С одной стороны – «С глаз долой из сердца вон», с другой – любопытство не порок...

– ...а большое свинство – раздался голос моего записного топтуна. – Впрочем, советовать не берусь – решайте сами.

– А зачем тогда встречать? Я, на минуточку, забыл даже, что Вас на свете есть... Так, знаете ли, хорошо стало...

– Для того и встрял. Кое-кого без попечения оставлять страшно. Вдруг во время вашего путешествия с Вогулом, снова коленки объявятся, да ещё не в одном экземпляре... Ну ладно – удаляюсь. Решайте, что делать будете. Про меня, старика, не забывайте. Дружку вашему, наконец, позвоните. Тянуть не советую.

Очень странно. Без дела старый хрыч никогда не объявлялся. Что ему нужно-то было? Поболтать? Вряд ли. Неужели только для того, чтобы о звонке напомнить? Лишних слов он вообще не говорит. Точный смысл в словесную лабуду влетает. Разбирайся потом... Впрочем, гадать бесполезно. Сам скажет.

Пока я шёл в номер, Вогул со знанием дела «разминался» в подземке: вылез на «Тверской», пересел на «Пушкинскую», доехал до «Кузнецкого моста», скорым шагом прошмыгнул на «Лубянку», доехал до «Библиотеки Ленина», вместе с людским водоворотом протёк к «Александровскому саду», по «Филёвской линии» добрался до «Киевской» и только там вышел на улицу.

Шустро петляет. Будто здесь родился. Или его кто-то водит...?

Сейчас даже москвичи, в семидесятых - восьмидесятых годах прошлого века рождённые, толком города не знают, а кто моложе и по-давно. Это мы – пацаны конца пятидесятых, начала шестидесятых годов того же века, промышляя мелкими кражами, типа кто чего у кого сдёрнет, все подворотни в округе знали, чтоб от мусоров ноги делать, и то приводы имели, а этот – как у себя дома. Очень интересно. Я даже шмотки перестал собирать.

Тем временем этот занюханый обормот прошёл через Большую Дорогомиловскую, выперся своей хламидой на Кутузовский проспект и уверенно пошустрил в направлении Триумфальной арки.

Всё-таки Сергею надо звонить. Не ровен час, хрень какая случится – хлопот не оберешься.

Трубу он взял сразу.

– Ну, что скажешь?

– Нашёл. От «Белорусского» слежу. Виляет грамотно. Пол Москвы в метро нарезал. Вышел на «Киевской» к Дорогомиловке. Идёт вверх по «Кутузке». Пока там.

– Бабки при нём?

– При нём, при нём.

– Все?

– Все.

– Сколько?

– Семь с половиной.

– Что делать думаешь?

– А это уж вам решать. Я своё сделал. Мочалку во сне не жуйте. Минут через тридцать-сорок успеете к мосту «Багратион». Вогул, к этому времени, тоже туда допрётся.

– Какой Вогул?

– Да я прозвал так – для удобства. В голову не бери. Будешь на месте – отзовони. Ориентирую. Всё. Отбой.

Так – осталось не потерять из вида. Где он – голубчик? Ага – витрину смотрит. Блин! Бюстгальтеры ему зачем? Парой тубетеек решил разжиться? С его шевелюрой размер нужен 105Н! Уж я-то знаю. Все перепробовал, когда работал директором в одном из театров. Художник с режиссёром, чтоб им пусто было, придумали такие здоровенные шляпы, что они еле на головах держались, да ещё царапались. До премьеры пять дней! Надо было срочно защитить актёрские головы от шляп, а режиссёра с художником от актёрского мата. Тут меня осенило. Поехал на фабрику женского белья и попросился в цех, где эту специфическую продукцию до ума доводят. Взял максимальные размеры с толстыми поролоновыми прокладками и стал перед зеркалом на башку мерить. Обвалились в цехе потолок, меня привлекли бы за умышленное убийство и так уже почти умерших от конвульсий работниц в количестве двухсот штук. Бог, однако, миловал. Бюсты разрезали пополам. Поролоновые вместилища закрепили внутри шляп. Задача была решена. С тех пор меня актриски, втихаря, бюсторезом прозвали, а некоторые, весьма близко знакомые, доставать начали. Пойдем, мол, в магазин – выбрать поможешь.

Что там мой Вогул? Ты смотри – всё там же. Стоит и глазееет на магазин «Бюстье». Вот уроды! Хоть бы название по-французски писали, или русский вариант придумали – Грудье, допустим, Сисье.... А что? – нормальные русские названия...

В кармане затряслось, задрогалось, а потом грянуло «Во саду ли, в огороде»...

Так – братва доехала.

– Алло, вы где?

- У моста Багратион.
- Валите на Кутузку.
- Пацаны с машиной там, у метро. А Валгал твой где?
- Он такой же мой, как твой, и не Валгал, а Вогул.
- Да мать его так... Где он?

– По вашей стороне. Метров на пятьсот ниже. Отстал, наконец, от витрины. Идёт к вам. Сейчас у дома 22. Советую разделиться. Хрен его знает... Может, он через дорогу сиганёт или в подворотню, какую. Там и возьмёте.

– Спятил? В таком месте брать!
– Что предлагаешь?
– Я к парням. Беру двоих и навстречу. Поравняемся – будем вести. Возьмём позже – где сподручней будет.

– Замётано. На всякий случай – он в здоровенной чёрной куртке.

– Узнаем. Такие стаями по Кутузке не ходят.

– Хорошо. До вас ещё метров триста. Я своё сделал. Если что – звони.

Мать твою за ногу – неужели отмазался??? Да нет, пока. Бабки возьмут – отстанут, а так нет. Может проследить втихаря? Если что помочь? К чёрту! Пусть сами возятся.

Бросив собирать шмотки я потащился в администрацию заплатить ещё за пару суток. Заплатил. Вышел из служебного блока и развалился рядом на лавочке. Время переползло уже за две трети, когда из уродливых кучевых облаков выперлось солнце и до того раскорячилось и разговелось, как будто не пять вечера было, а середина дня. Благодать-то какая! Так бы и прожмурился, не вставая лет десять.... Натура моя от природы барски ленивая – Обломов отдыхает... Живи я во времена Гончарова, он бы про меня роман написал. Кто-то, весьма наблюдательный, определил человека, имевшего счастье, а может быть несчастье уродиться на территории Российской Империи, таким образом: человек российский это такой человек, которому что-то очень хочется, ну так хочется – просто до смерти, но ежели нет, то и хрен с ним – это про меня. Говоря Шарлатановым языком: через енту генетическую фигну, великое множество всяческих перипетий испытать приключилось.

– А сколько ещё впереди будет – слышалось рядом – у меня всё заранее отмечено, ежели вы, конечно, сами чего-нибудь не отчебучите... Закон свободной воли, как вы давеча весьма ехидно заметили, никто не отменял. Да не крутите головой – всё равно не увидите.

«Правду люди говорят: как рогатого помянешь – он тут как тут... Явился, не запылится» – обессилено-безразлично подумал я, уже почти расплавившись в объятиях озверевшего светила – чёрт с ним, всё одно куда не денешься.

– Вы просто боитесь на глаза показаться – расслабленно промурлыкала я – Не ровен час, ухвачу Бога за бороду. Припомню все измывательства...

– Да ладно грозиться. Ухватите сначала – потом радуйтесь. Не против, если присяду?

– А если против? Вы уймётесь?

– Да нет, конечно. Просто отодвинусь подальше.

– Имеете что сказать – садитесь. Впрочем, вы всегда имеете что сказать – я с наслаждением широко и звонко зевнул – пару слов как минимум....

– Ну вот и ладошки – лавочка рядом со мной скрипнула. – Надолго тут застрять собираетесь?

– Результаты здесь дождусь. Решат – позвонят.

– Думаете, позвонят?

– Думаете, нет?

– Не думаю – знаю.

– Это почему же?

– Экий дотошный, право. Ну, хорошо. Год назад вас попросили привезти несколько ящичков пива. Помните?

– Ну, помню. Мне Сергей звонил. У них был какой-то праздник. День рождения или что-то вроде того.

– Вы привезли и захотели остаться. Что сказал Сергей, помните?

– Смутно.

– Он сказал: «Хочешь стать одним из нас – садись, но знай: вход рупь – выход два. Будешь наш – с потрохами. Сейчас мы просто твоя крыша. Ты платишь, мы решаем проблемы. Пиво привез? Ну и вали отсюда».

– Вы хотите сказать...

– Я хочу сказать – они всё решили. Отчитываться не станут.

– А если сам позвоню?

– Высоцкого помните? «...Ты, Зин, на грубость нарываешься...». Оно вам надо? Вечно у вас, в извилинах, какой-то раздрай происходит: «душа в рай просится, а ноги в милицию»...

– А вы без нотации, как без пряничка – огрызнулся я – по «душе бо-сьми ножками» не пройдёте...

– Отчего нет? – Может, пройдуь когда – ежели заслужите... Вам, молодой человек, делом заниматься надо. Вопросик задать позволите?

– Ну, ежели только один – извольте.

– Минут этак тридцать назад, во время нашего предпоследнего общения, вы задали себе вопрос – «Что ему нужно-то было? Поболтать? Вряд ли... Впрочем, гадать бесполезно. Сам скажет». Я тогда повременить решил – надеялся, внимательнее будете. Ан нет – говорю сейчас.

За мгновение до того, как вы решили покинуть Кутузку, к дому под номером тридцать подъехал такси.... Плёнку назад открутите. Припомните, последними искрами подсознания, кто из него вышел...

Вот же хрен старый – никак расслабиться не даст. Может, я последний раз на солнышке греюсь... «Ах чёрт!!! Марьяна!!!»

– Да что ж вы скачете, как ужаленный. Я тоже здесь сижу, между прочим. Если б не мой лёгкий вес точно перевернулся бы вместе с лавкой.

– Так Марьяна же!

– К чему такая паника? Ну, Марьяна. Ну и что?

– Это Вам ну и что! А мне-то что делать!?

– Вы меня спрашиваете???

– А кого мне ещё спрашивать?

– Себя, молодой человек. Себя. Вы, кажется, решили самостоятельность проявить... Я не против – не могу быть против. Права такого не имею. Решайте: либо живёте как у меня записано, либо – неизвестную дверь откройте... Только, как в прошлый раз – не ошибитесь. Ежели повезёт – я, может быть, пройдусь ножками босыми по душе вашей... Вы, юноша, хотя вы давно не юноша, начинаете мне надоедать. Полжизни почти прожили, а всё «ни тпру, ни ну» – как сом под корягой... Решайтесь уж...

– Да решусь, решусь. К завтраму высплюсь и решусь... Дайте хоть погреться напоследок... Разберусь с вашей Марьяной. Только не сейчас – позже. И сам – по-своему. Хватит за шкирку таскать да загадками изъясняться! Ошибки какие-то повешали: знать не знаю, ведать не ведаю, и знать не хочу. Оставьте меня в покое, с вашей неизвестной дверью! И не только меня, кстати! – Тут я вконец обозлился и меня прорвало. – Это ж надо причину, какую учудить: столько людей живых в ловушку загнать, да не в ловушку, а в мышеловку какую-то, и никому из неё живым не выбраться, разве что с гарантией обратно вернуться, и в очередной раз уйму десятков лет помучиться, а потом снова, и снова, и снова...

Я, вскочил, смачно, по рыночному, сплюнул, и сорвался, чёрт его знает куда, – лишь бы с глаз долой...

– Ну-ну – послышалось вслед – «Была туча велика, грозна и страшна от стуку пушечного и пищального», особливо ежели слово пищаль понимать не буквально, а в переносном смысле... Ишь ты каков: «...юноша бледный, со взором горящим...» Борец за всеобщее счастье... Прежде, чем о других заботу проявлять, себе помочь надобно... Дерево посадил? Дом построил? Хоть одну из баб многочисленных осчастливил? Всё – не по-людски. Не посередке, а с вывертами: либо никак, либо потом всех трясёт – веками. Однажды, давным-давно, я прошёлся по душе твоей ножками босыми. Позволил неизвестную дверь открыть... А ты что

учудил? В жертву себя принёс! Кому????!!! Поняли??? Оценили??? Разве грезили мы об этом? Сын мой! Ну что ж. – «Вольному воля – спасённому рай», или, как говаривал твой армейский старшина, «Хозяин – барин», и «Мёртвые сраму не имут»... Сейчас ты забудешь всё что слышал – надолго. По земным меркам – навсегда. Поживёшь ещё с десяток жизней – без памяти, как человек нормальный и средний, а там – посмотрим... Единственно, что могу гарантировать – второй раз не распнут.

[145]

**Давид
Брацлавер****ДЕТИ ВОЙНЫ**

После залпов победных снарядов,
Возвестивших приход тишины,
Лагеря получили в награду
Наши сверстники – дети войны.

На строительство водных каналов
Осуждённые шли без вины,
По злой воле советских жандармов,
Наши сверстники – дети войны.

От родных и друзей уезжая,
В Казахстан, на подъём целины
Мчались вдаль собирать урожай
Наши сверстники – дети войны.

А наставники дикой морали
Навевали счастливые сны,
Им не верили, их презирали,
Наши сверстники – дети войны...

Я брожу по берлинским кварталам,
И у некогда грозной стены
Мне с волнением руку пожали
Наши сверстники – дети войны.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ

Судьбу нельзя переиграть,
И никакие доводы
Не повернут то время вспять,
Когда мы были молоды.

[147]

Все дни казались коротки,
Ни времени, ни повода
Не находили для тоски,
Когда мы были молоды.

Дороги под покровом льда,
Забавы вьюг и холода,
Не докучали нам тогда,
Когда мы были молоды.

Года безжалостно спеша,
Кусаются, как оводы,
Пока не старится душа,
Мы веселы и молоды!

ЛЮБОВНОЕ ВИНО

Любимым – розы и сапфиры
Дарить мы можем без конца,
Но без любви в подлунном мире
Не покоряются сердца.

Любовь вольна. Как в небе птица,
Как с гор бегущая вода,
Границ не признавая, мчится,
Сама не ведая куда.

Но околдованы отрадой,
Огнём любовного вина,
Как из хмельного винопада,
Мы насладимся допьяна.

ПОЗЫВНЫЕ ЛЮБВИ

Из фантазий и грёз
Бог творил чудеса.
Мириадами звёзд
Украшал небеса.

И неслись облака,
Заслоня собой
Вечный свет маяка –
Лунный диск над землёй.

«Эта ночь не для сна!
Дорогая, взгляни!
Нас колдунья-луна
На свиданье манит.

И для нас, и для нас
Звёзды в небе не прочь
Танцевать дивный вальс
С ветром в майскую ночь.

А любовь – на Земле!
Что нам лунный уют?
На холодной луне
О любви не поют».

На Земле соловьи,
Откликаясь на зов, –
Позывные любви
Повторяют без слов!

* * *

Чудеса фата-морганы
Зачаровывают взор:
В сарафане из тумана –
Тучи призрачный узор.

Ей приветно машут ветви
Разноцветною листвою,

И летят шальные ветры
Над кудрявой головой.

Что же ты танцуешь, туча,
Развесёлой егозой?
Погляди, – твой снег колючий,
По земле плывёт рекой.

[149]

Вдруг, исчезнет призрак странный,
Испугается вода –
От чудес фата-морганы
Не останется следа.

УПРЯМСТВО

(басня)

Ослу не нравились амбиции Трамвая:
Прёт, никому пути не уступая!
Червяк! А впрямь. Ослиное упрямство –
Трамвайные манеры – спесь и хамство!

И вот, Осёл, в осенний день погожий,
Встал, словно вкопанный,
Перед трамвайной рожей.
«Я с места не сойду. –
сказал Осёл. – Ей, Богу!
Пускай червяк уступит мне дорогу!»

Но вскоре новость потрясла столицу
С правдивого газетного листа:
«Осла-упрямца отвезли в больницу,
его Трамвай оставил без хвоста».

Весьма прозрачную мораль
не скроет чёрная вуаль:
Когда упрямству нет границы,
Ослам помогут лишь больницы.

**Марина
Авербух**



НЕЧАЯННЫЙ СОН

Ой, хорошо-то как! День наступил. Солнце. Небо. Если ещё позабыть, что здесь в Германии – осень. А так – просто испанская, бездонная голубизна. Аромат и красота. Листья шуршат и шуршат – от ветерка, от моих туфель. Каждый шаг продлевает эту мелодию шуршащей осени. Лёгкий ветерок улетевшего лета поддерживает листовую неразбериху и кутерьму осенней парковой жизни. «Листья жёлтые по городу кружатся...» Помните?

Ну, конечно, помните. И осень прекрасна, когда на душе – весна, когда рядом любимый.

Маленькой, я убеждала маму: «Ведь жёлтые листочки весной снова родятся, но уже зелёные». Может, и люди этому у них научатся?

Какое счастье – проснуться и напрочь забыть этот ночной кошмар. Вязкий и липкий, как болотная грязь. Но кошмар сна прилип и затягивает меня. Я пытаюсь каждый раз прогнать этот злобный морок. Молю его: «Уйди! По-хорошему, прошу тебя! Отстань!» Но не получилось. Страх опугал, запутал, связал руки и опустошил голову. А затем охватил всю меня двумя клешнями – Чёрной и Белой. Каждая запускала в меня какие-то особые, видимые мною, лучи. Лучи от чёрной клешни были чёрными и притом до остервенения холодными, словно ледяные.

Эта чёрная клешня открывала вход в замороженное «никуда». Но белая клешня побеждает чёрную: растопила весь чёрный лёд и распахнула двери в лабораторию!

Это были многофункциональные помещения, заполненные приборами, ещё неизвестными современной науке. Приборами для исследования Генетики Живых Людей. По существу, это были – виварии! Абсолютно секретные... И охрана, и работа с Живым «материалом» проводилась бездушными человеко-роботами. А я – контролировала «качество» рабо-

ты роботов. Но моя тайная задача: обеспечить спасение жизни подопытных людей, организовать их побег из вивария. Моя тайная жизнь исключала малейшее доверие к кому бы-то ни было: ни к «живым» работникам, ни к роботам с искусственным интеллектом... Они-то и были самые непредсказуемые и поэтому – самые опасные... Но и со спасаемыми мною я должна была быть абсолютно скрытна. Всех их надо было секретно спрятать и затем освободить! И средство для этого было!

Я испытывала особый газ, вдохнув который любое живое существо превращалось в крохотное, не более гречишного зёрнышка, тело! И, в итоге, весь контингент вивария можно после вакуумирования спрятать в маленький контейнер-шкатулку и вынести на свободу! А через двадцать минут пребывания на хорошо вентилируемом воздухе все эти зёрнышки должны превратиться снова в людей! И только после всех этих превращений я могла бы проснуться! Свободная и счастливая!

Но пока необходимо отнести шкатулку с зёрнышками-людьми в вентиляционную шахту и высыпать их в поток чистого воздуха. Пока это превращение происходит, необходимо быстро вернуться в лабораторию и уничтожить её – бросить имеющуюся у меня гранату-лимонку! Пока граната катится через всю лабораторию, сама я должна «испариться», то есть быстро-быстро выбежать вон!

И вот убегаю, но слышу за спиной чьё-то топанье и ворчанье. На бегу оглядываюсь и узнаю ненавистного главного охранника. Он всё ближе и ближе. Как бы не начал в спину стрелять! Взрыва пока что не слышу. Таймер гранаты отказал? Или всё катится граната? Останавливаюсь. «Наклеиваю» самую радужную улыбочку очарования: «Ну что, дорогой мой! Никак моего супчика вновь захотелось откусать?» «Догоняла» даже застыл, явно не оценив ситуацию... Но затем заулыбался: «Мне столько рассказывали о ваших волшебных супчиках! Неужто и мне повезёт?» Вдруг послышался приглушённый расстоянием взрыв! Но «мой» секьюрити даже ухом не повёл. Супчик «сработал» моментально! Да и я проснулась. Ой, хорошо-то как! День наступил. Солнце. Небо. Опять прозрачная, испанская голубизна. Если по Сеченову сон – «небывалая комбинация бы-валых впечатлений», то когда же это, приснившееся, случилось со мною!?

А МЫ ВСЁ ЛЕТАЕМ

В реальной жизни, не во сне, от счастья летаем, когда это необыкновенное состояние переполняет нас до краёв, как воздушный шарик, и только бы не лопнуть от радости. Помните Наташу Ростову в её счастливую пору влюблённости в князя Андрея: «Ах, Сонечка! Душенька, голубушка! Подхватила бы себя под коленки и полетела бы».

В современной реальности полёты давно стали рутинной, порой не самым приятным элементом нашей жизненной мозаики.

Что по мне – волнуясь всякий раз, делая «последний» шаг с трапа вовнутрь самолёта. И теперь в своей судьбе становишься сторонним зрителем. Дверь пневматически закрывается. Приказание стюардесс: «Пристегнуть ремни». Привычно обживаюсь в кресле. Незаметно засыпаю. Утро. Ну, не такое уж и раннее. Снова закрыла глаза. Шумок в не выключенном айфоне. Подруга Ася: «Свободна ли ты сейчас?» Почти мычу, так как с утра ещё «не распелась»: «Только накормлю Стасика завтраком... Да. Хорошо. Через час. Замечательно, Ася!»

Ася. Асенька. Аська. Анастасия. Настасья. То, что мы встретились, стали подругами и будем дружить, наверно, было predetermined ещё до нашего рождения... Родители наши дружили. Отцы работали вместе. Самолёты строили! Наши мамы дружили. Тогда, по младости лет, моя голова вообще не забивалась такой ерундой, как уборка дома, кухни и прочее... С возрастом, когда своя семья образовалась, очень на этом зацкливаюсь.

Дома все знали, если отец становился молчаливым и ни с того, ни с сего вечером выпивает рюмку-другую водки, значит, случилась беда – разбился лётчик-испытатель. Как обычно, мы отца до ночи дома не видели. Сейчас наших отцов давно уже нет с нами. И только Ася и я можем вспомнить, когда какая авария произошла.

А прошлое время я давно определяю практически: назову год по моде, по силуэту одежды, обуви, по крою воротничков, длине и ширине юбок, брюк. Вспоминаешь вместе с подругой, и вроде вновь общаешься с любимым тобой родственником или иным человеком. Хотя, что я говорю? Все, кто был нам в прошлом люб, оставался в нашей семье навсегда!

Вот и сейчас: как будто сидим мы с Асей в нашем любимом французском кафе – вроде мы опять в маленькой французской деревушке – простоватые деревянные стулья и столы, пианино. Жаль, что не сидит за ним некий «лабух», с дымящейся сигаретой и полупустым бокалом вина на верхней крышке пианино. Репертуар 50-х годов – попури из кино-ритмов. Мы попиваем наш кофе, смакуем шоколадный торттик... Удовольствие гарантировано: нас ласкают мелодии Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Поля Мория и даже ранних Битлов.

Опять заказываем по полстакана белого полусладкого. И продолжаем «обмениваться информацией». Начала всех вступительных фраз традиционны: «А помнишь!?!». И тут моя Ася-Асенька выдаёт из затаённого уголка своей памяти леденящий сердце самый жуткий случай из её семнадцатилетней жизни...

«Летим с моим авиаконструктором-отцом (почти по Высоцкому

«Опять летим...») на не стареньком, но и давно не новом винтовом Ил-14. Теснота, шумок, как всегда. Вдруг, в какой-то миг наступила тишина! Как там Утёсов «острил»... буквально «мёртвая тишина». «Ни шелохнёт, ни прогремит». И в такой вот тишине отец прошептал: «А мы ...падаем». Шум моторный прекратился. Исчезла привычная вибрация корпуса. Как во сне! Не поворачивая головы, коротко всмотрелась влево. Вправо. Соседи по ряду вжались в свои кресла и сами съёжились в этой липкой тишине. В семье ни разу не вели разговоры про авиакатастрофы. Как говаривали: «в семье висельника о верёвке ни слова!». Своего рода «этика воспоминаний». Даже мысленно не касались этой темы! И вот тема подступила сама! В первые секунды шёпот отца не испугал, не пробудил к реальности! Вслушавшись в роковую Тишину, взглянув в слегка прищуренные и, вдруг, уставшие глаза отца, поняла: «Это конец! Всему! Жизни. Вузам. Другьям. Папе... А как же мама без нас обоих?! И где буду Я?! Да как же так? Через сколько минут? Секунд...»

А тишина всё ползёт. От кресла к креслу. От пассажира к пассажиру. И до стюардесс тоже!? А где же пилоты? Только они и знают Истину. И могут. Нет! Должны её изменить! Ну! Мальчики!

Дяденьки! Хорошие вы наши! Постарайтесь! Умоляю! Ради Бога! И, услышав ВСЕХ НАС, справа, за иллюминаторами, что-то Чихнуло. Не по-детски. Как-то по-стариковски. Махорочный чих заядлого курильщика. Шальной, быстрой змейкой мелькнуло: «Куриль – здоровью вредить». Нет уж, пусть «куриль» и «чихать», чем так падать в бесшумности. «Чихнув», самолёт ожил и зашумел винтами. Быстро. Совсем быстро. И уже не различить винтовые плоскости... Единое округлое туманное поле. И каждое кресло как бы устремилось вперёд, в направлении усилий двигателей. Все выдохнули смертельный страх! Секунда! Третья!! Заплодировали! И последние уговоры стюардесс: «Пристегнуть ремни, откинуть спинку кресла!» Лайнер слегка вздрогнул, и зашумели двигатели.

Как-то сядем! А какая погода там, над посадочной полосой? Как выпустят шасси? По плану!? Штатно? И ещё сотни «как», о которых лучше и не знать! Но мы-то – свои! И потому – «молчи, страх!». «Земля в иллюминаторе!» всё ближе к крылу. Вот-вот и... Почему нет касания? Неужто опять подъём, и новый разворот, и новое «Разрешение на посадку»? В мозгу – молнии мыслей. И всё об одном: «Спаси и Пронеси Чашу сию!»

Долгожданный условно-мягкий стук о родную забетонированную землю. И колёсики покатались на радость и под хлопки вспотевших от напряжения рук!

Через несколько часов ожидания весь борт пересадили на другой самолёт... Выруливаем из скопища таких же Боингов. Вот и полоса взлёта. Мы одни на ней. Начался разгон. Ещё усилие и... Земля отпустила нас

всех сразу. Благословясь. Аэропорт всё ниже. Облака всё ближе и... Окна заволокло туманом. Летим на Восток! Значит «Все ищем Солнце!» Прорвали кучу облаков и – чудо голубизны. Аплодисменты! Обрадованные стюардессы весело толкают тележки с питьём и закуской. Соседи слева заметно оживились. Тревога из их глаз исчезла. Раз взлетели нормально, значит... Совсем не значит...»

Бывали случаи невероятного спасения в этих авиамоторных коллизиях.

...Летела семья близких нам артистов. Муж – известный пианист, уже усевшись в пассажирское кресло, в первые же секунды стартового запуска двигателей уловил своим тонким музыкальным слухом странную и непривычную раздробленность звука в уже работающем двигателе! Убедил жену, затем стюардессу, а через неё и командира корабля! И уже взлетевший самолёт срочно посадили. Отвезли самолёт для осмотра на стоянку, и обнаружили в «подозрительном» моторе... тело крупной птицы. Птичку, конечно, жалко... Летала бы в положенном «птицам небесным» эшелоне, и не наткнулась бы на железную «птичку».

А наш самолёт «идёт» на восток. Зажужжал-зашевелился мой пожирающий свободное время и прислужник Масс-Медиа! Звук-то отключила, а так... «нарушаю»

Снова Асенька. Значит, я уже в пути больше часа: «Асенька! Я буду говорить шепотом. В самолёте уже полтора часа. Летим вроде нормально. Слышишь меня, подруга!?»

Ася – на том конце нашего «космического» провода – заволновалась, выругала и, чуть не крича: «Немедленно отключи свою шумелку! Аварии притянуть хочешь!? Прилетишь на Землю, сразу же позвони! Обязательно! Не доводи до психоза!»

Права таки моя Анастасья! Отключаюсь! А жаль. Как у Вертинского: «Так пгятно» с самолёта разговаривать с подругой, ближе которой не было и нет.

И вот, к сожалению, без моей Аси, я опять, но не в кафе, а в торговых залах KaDeWe. Kaufhoff den Westen – первый подарок победившей Америки побеждённой Германии!

Это Бог знает сколько десятилетий – самый богатый Универсальный магазин в Германии!

Для меня же иногда – красивый вернисаж! Как сказала бы моя бабуля, там можно просто пропасть! А уж она-то знала толк и в «Кузнецовском» фарфоре, и в Питерском, Ломоносовском, а прежде носящем клеймо «ИФЗ» – Императорские Фарфоровые Заводы.

Сервизы из KaDeWe – на все случаи жизни. Знаменитый немецкий порцелан! Но не дешёв! Стою и люблюсь на молочного цвета столовый сервиз. Баварский Королевский. С лепниночкой. Красоты, как говорят модницы, – нереальной. А супница, то есть Suppenschüssel – вылитая корона Екатерины Второй, бывшей Принцессы Ангальт-Цербстской. Стою в размышлении: было бы подешевше, да и куда свою-то посуду, почти музейную, девать?!

И вдруг кто-то приобнимает меня за-плечи. Оборачиваюсь, дабы осерчать и высказаться по поводу несанкционированной вольности...

Тахир! Это «медвежонок» из школьного детства. Те же шаловливые, тёмно-вишнёвые глаза, жгуче чёрные волосы, но, увы, уже с редкими прядями седины, тот же подбородок с ямочкой – характер по-прежнему крепок. Типичная восточно-азиатская интеллигенция... Это тот самый Тахир Юсупов, мой друг, защитник и опекатель. Все младшие классы – и портфель мой носил, и до дома провожал, и уроки со мной выполнял. А я-то его жучила. И за ногти, и за мятый костюмчик. Маленький мой Ромео всё сносил, не возражая. Ласково улыбаясь.

– Откуда ты, дорогой! Совсем не изменился! Как в прежние времена! Ну, прицепил десяток-другой килограммов. Всё пирожки твоей бабушки!

Но «подплыл» бесшумно продавец и ждёт моего «повеления»! «Весь отобранный фарфор на кассу. Bitte! А мы с тобою, Тахир, на шестой этаж. Судя по фигуре, ты по-прежнему – немножко Обжорка!»

И вот мы на верхотуре, в чреве KaDeWe. Тахир нагрузил огромный, почти азиатский, поднос со всякой всячиной-вкуснятиной:

– Мариночка! Я на минутку отлучусь.

Через десять минуток он появился с большой коробкой, да ещё в фирменной подарочной упаковке. Поставив её на стул около меня, Тахир, улыбаясь своей самой радостной улыбкой, произносит:

– А вот этот мой подарок – в память нашей детской дружбы!

– Ну и что было дальше? – вопрошает потом моя Ася. – Тахир знал, что вы здесь давно?

– Асенька! Ну ты-то давно ведаешь, что мы, как и электроны, и атомы Вселенной, периодически сталкиваемся, хотя у каждого свои и уровни, и орбиты. И мы крутимся, то сталкиваясь, то отталкиваясь, то радуемся, то обижаемся чуть не одновременно. Знаешь ли, хотя Тахиру и лет уже немало, а он всё такой же, как в школе, мальчишка...

И в Берлине частенько показывается – закупает оборудование для своего Кардиоцентра! Он с женою Зоей создали такую клинику!

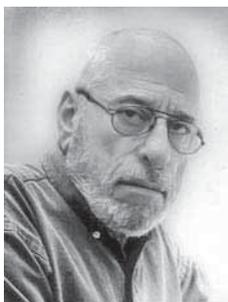
А Зою он нашел много лет назад в Самаре, где был почти проездом. Она там заканчивала мединститут. Дома русская Зоя просит называть

себя – Зухрой! Чтобы, как в восточной любовной истории – «Тахир и Зухра»! Две дочки у них, которые тоже врачами стали, и две внучки. Со временем, наверное, будут медичками. А характер у Тахира закалился, как сталь, по жизненному рецепту! Его растили тётя и бабушка... А с родителями что-то случилось нехорошее. Через много лет он раскрыл эту грустную и почти банальную советскую тайну.

Отец Тахира был мастер по пошиву меховых изделий – шубок, шапок, даже рукавиц и сапожек дамских. Ну, а в те годы индивидуальный промысел был приравнен к уголовному преступлению! В итоге... Арест. Конфискация всего... И немалый срок поселения в тех самых, якобы не столь отдалённых местах.

Через много лет разрешили вернуться. А самолёт, в котором и отец, и мать летели, потерпел катастрофу. При посадке! Тахир стал «крутым» сиротой!

...АСЯ! У меня в айфоне «питание» закончилось. Перезаряжу и позво-ню попозже... Целую. До встречи в Космосе. Чмоки-Чмоки...



Альберт Лейн

[157]

* * *

Мне без тебя не жить, я без тебя ничтожность.
Я без тебя – земля без солнца и тепла.
Вот март приходит в дом пугливо и тревожно,
Бессонница в ночи надежду принесла.

Ушло в былое всё. Одни воспоминанья.
А как восстановить любви моей вокзал?
Мне кажется, ещё я в зале ожидания,
Мне кажется ещё, что я не опоздал.

Уходят поезда в разлуки и во встречи,
А поезд наш стоит без признаков бытия.
В твоих глазах вопрос, вопрос немой, как вечер,
А над перроном листья жёлтые летят.

Вот так мы разошлись в надуманных обидах,
А от тоски меня не лечит время-врач.
О, как хочу тебя я в зале здесь увидеть,
Но март пришёл ко мне сегодня, как палач.

Ему ведь не понять, что, может, час расплаты
Над памятью моей сколачивает крест,
Весна наденет вновь зелёных листьев платье,
А в зале ожиданий нет свободных мест.

* * *

В надежду одеты приметы,
Стеснён ожиданьем азарт,
В раздвоенности валетной
Сомнений, решений вариант.

Привет в откровенности риска,
Поступка разлитый бальзам,
Вчерашних зарниц обелиски
Вопросят сегодня в глазах.

Запутанностью разрешений,
Холодной зеркальностью слов
Гипнозишь себя утешеньем:
Опять от греха пронесло.

И снова к окошку приметы
С надеждой больной подойдёшь,
В раздвоенности валетной,
В дырявости старых галош.

* * *

Клеопатра небесных владений,
Клеопатрит по ночи луна.
То звезду облаками оденет,
То звезду обеззвездит она.

Забавляясь по-царски небрежно
Вседозволенностью затей,
Всё равно она – солнце надежды
Зимних, долгих, холодных ночей

* * *

В парадах суеты и развлечений
Не гамбургский, а гамлетовский счёт
Заявит о себе, как откровенье,
Когда река всех празднеств истечёт.

Освободятся от туманов дали
И разбросает облачности высь,
И солнце, о котором мы мечтали,
Рассыплется приветливостью брызг.

* * *

Два пастуха – две стрелки на часах
Идут и подгоняют время.
Вот пробегает полдень, как русак,
В заката подожжённые гаремы.

И дальше, дальше гончие ночей
Бегут уютом временным в составах,
И новый понедельник на плече
Пока ещё не чувствует усталость.

Ещё не прогибает спины день
Спешащим в никуда противоречьям,
Вот в ревматизме ковыляет тень,
Мечта в бинтах несёт свои увечья.

Всё попадает в лет круговорот
Без опозданий и по расписанью,
И вот уже отдышкой скривлен рот
Мгновения, забвения касаньем.

* * *

Плешь города – площадь,
Улицы – вены,
Река, как лошадь
В облака пене.

Парк в новобранцах
Весёлых деревьев,
Ветры-скитальцы,
Бурная ревность.

Птиц голосистых
Радостно пенье,
В поисках истин
Бродят сомненья.

В колючках железа
Тюрем заборность,
Как «Марсельеза»
Крик в иллюзорность.

Полдень, как виски –
В стаканах миражность.
Вечер – огрызки
От зорь, что остались.

Встречи – надежды
Очарованья,
Правды одеждам
Нет оправданья.

Вот уже близко,
Что замечталось...
Молнией, искрой
Вновь всё сначала.

**Яков
Раскин**



[161]

ПОГОНЯ ЗА «ЗЕЛЁНЫМ» СТАРИКОМ

Так уж сложилось, что по роду своих занятий довелось мне немало побродить по России. Речь идёт не о России областной, а России уездной. Тусклые, как стёртые пятаки, эти города при ближайшем рассмотрении оказывались каждый со своим обликом и норовом, с большой, внушающей уважение, историей и интересными обывателями.

Пыльные летом, заснеженные зимой, грязные ранней весной и поздней осенью, эти города похожи друг на друга. В центре – площадь с неперменным памятником вождю мирового пролетариата. Какие города побогаче, то бронзовые, победнее – из непрезентабельного цемента, покрытого серебрянкой. Даже после отмены советской власти эти памятники продолжают стоять на своих местах и жить своей жизнью. Правда, в одном областном городе низкорослого и коротконогого Ильича водрузили на величественный постамент от снесённого памятника Царю-освободителю, в другом – на ещё более роскошный гранит от монумента в честь 300-летия дома Романовых. А вот на Гомельщине, как рассказал мне один старожил, стояли рядом Ленин и Сталин. Когда генералиссимуса в солдатской шинели снесли, возникла некоторая асимметрия, и через какое-то время на освободившийся пьедестал поставили... Пушкина. Объятый печальной думой, поэт в длиннополом сюртуке и с бакенбардами, смахивающими на курчавые пейсы, был похож на постаревшего мальчика Мотла, который всем своим видом выражал недоумение и недовольство, находясь в одной компании с таким соседом.

Приезд мой в один из таких городков имел целью посещение могил моих близких. Я забросил вещи в гостиницу и решил побродить по

городу в поисках не приключений, а точки общепита. Отстояв очередь, получил тарелку с варевом, значившемся в меню как чахохбили из козлятины. Когда впоследствии я рассказал об этом знакомому грузину, он долго смеялся, поскольку «чахох» по-грузински – фазан, но попавший в котёл козёл, очевидно, этого не знал. Пребывая в раздумье – рискнуть или всё же воздержаться, я заметил в окружении работниц столовой женщину средних лет в белом халате, судя по всему, санитарного врача или инспектора, которую все почтительно звали Роза Семёновна. Когда она проходила мимо, я спросил:

– Роза Семёновна, и это можно кушать?

Вычислив меня, как не местного, но своего, она с пониманием отреагировала:

– О чём вы говорите? Конечно, нет. Идите со мной.

Через несколько минут мы сидели в подсобке за накрытым чистой скатертью столом и энергично поглощали не просто съедобный, но вкусный обед. Её монолог заслуживал точной записи, и я не берусь излагать его по памяти полностью, однако некоторые фрагменты запомнились.

– Так вы из Берлина? У меня там тоже какое-то время жила сестра, но почему-то не прижилась и переселилась в Хайфу. Знаете такой город? А что вы вообще знаете? Если вы думаете, что ей там хуже, чем здесь, так вы глубоко ошибаетесь, потому что хуже, чем здесь, быть не может. Вы спрашиваете, почему я здесь, а не в Хайфе? А всё из-за Гриши, моего сына. Он такой умный, такой талантливый – и в шахматы играет, и на гитаре, а говорит по-английски не хуже Черчилля, а уж математик... Учится в университете. Чего мне это стоило, знают только трое: я, ректор и Господь Бог, а прокурор может поцеловать меня в задницу и то, если я ему разрешу. Так чем вы занимаетесь? Искусством? Разве это занятие для настоящего мужчины, тем более для еврея?

Утомлённый обедом и разговором, я впал в приятную истому, пока одно имя не подкинуло меня, как старую боевую клячу при звуке боевой трубы.

– Причём здесь Шагал?

– Если вы такой большой профессор, а не шлимазл, так должны знать Шагала. Мой Гриша его знает и говорит, что это великий художник и за его картины дают хорошие деньги. А я, когда была маленькая, всё боялась того зелёного старика.

Последующий рассказ Розы Семёновны настолько меня заинтриговал, что тем же вечером я очутился у неё дома и пил чай с клубничным вареньем.

Оказалось, что Роза Семёновна родилась в Витебске, где один её дед

был резником, а другой держал зеленую лавку. Когда началась первая мировая война, многие белорусские евреи бежали от германцев, и её семья осела в небольшом городке на Брянщине. Чудом спаслись в революцию и гражданскую войну. В годы НЭПа немного оклемались и даже купили дом. В одной половине жила Роза с родителями, в другой – семья дяди, который переехал к ним из Витебска, где выпекал лучшие во всём городе халы. Он был соседом Марка Шагала и хорошо знал всю его мишпуху (семью). Вот у него-то и были две картины Шагала: одна – портрет того самого зелёного старика, на другой была изображена улица в Витебске и стоящий на ней дом дяди.

С началом войны семья Розы Семёновны эвакуировалась в Казахстан, а дядя остался и, конечно, вся его семья погибла. Выжил только старший сын Ефим – пришёл с войны с орденами во всю грудь и без ноги. Из Казахстана вернулись на пепелище: дом сторел дотла. А вот Шагала, представьте, уцелел. «Старик» нашёлся в дровяном сарае на соседнем дворе, за поленницей. Заплесневелый, немного порванный, но «живой». Другая же картина бесследно исчезла.

– А где же Ефим?

– Женился и переехал в соседний город, к родителям его жены, совсем недалеко отсюда. И сейчас там живёт. Он ведь дамский мастер. Раньше мы с ним виделись: то он к нам, то мы к ним, но годы берут своё...

– А Шагала?

– Ах, Шагала... Где же ему быть? У Фимы. Правда, я «Старика» у него не видела, да и сама забыла о нём. Стоит, наверно, где-нибудь за шкафом, если мыши не съели. Ох ты, Господи, у меня же ведь есть его фотография.

Порывшись в буфете, Роза Семёновна положила передо мной семейный альбом в плюшевом переплёте.

На пожелтевшей от времени фотографии довоенной поры была запечатлена в домашней обстановке семья дяди, а на стене ... «Старик». Качество фотографии оставляло желать лучшего, и, тем не менее, сомнений не было: да – это ранний Марк Шагала. Седобородый старик в очках и с большой книгой в руках сидел на стуле и сосредоточенно смотрел куда-то поверх зрителя. За спиной у него большие часы с маятником и окно; на окне – петух.

Моё сердце бешено заколотилось. Бесспорно, Шагала гениален, но зачем он делает все эти странности? Почему этот чудесно написанный старик – зелёный, а у другого – красные и зелёные руки? У третьего на голове стоит совершенно такой же маленький человечек, лишь повернувшийся в другую сторону?

Что это – озорство? То особенное, эстетическое озорство молодости, которым начинали свой путь многие большие художники?

Несмотря на художественное мастерство Шагала и непогрешимую верность модернизму, его имя до сих пор остаётся синонимом попыток угодить вкусам простого народа. Его бурные фантазии намекают на таинственные видения, которые мы переживали в детстве, или на смутные воспоминания о снах, пробуждая при этом наивную ностальгию по детству. Прикоснувшись к плечу рука Розы Семёновны увела меня от раздумий. Сжалившись, хозяйка по доброте душевной подарила фотографию вместе с баночкой клубничного варенья.

Ещё через пару дней отчаянно дребезжащий автобус мчал меня в заштатный городок, где проживал Ефим. Рекомендация Розы Семёновны возымела действие, и он поведал мне дальнейшую судьбу портрета витебского старика. Оказывается, его дочь Ира окончила институт, вышла замуж и уехала в Свердловск. Картину она привела в порядок и тоже увезла с собой. Конечно, было досадно, но ниточка всё же не оборвалась, и кончик остался у меня в руках.

Так уж сложилось, что в Свердловск я попал только года через три, за что и был жестоко наказан. Там узнал, что прошлым летом Ира скончалась – острый приступ аппендицита, перитонит, заражение крови и молодая женщина умерла в одночасье. Её муж, Владимир Павлович, уехал в Москву на какие-то курсы повышения, там снова женился и остался. Не буду долго рассказывать, как я узнал его адрес, но при первом же удобном случае заявился к нему домой.

Встретил меня Владимир Павлович настороженно. Бегающие глазки, тонкая полоска усов, соединённая с такой же мелкой бородкой, делала его похожим на плутоватого неаполитанского жениха.

Квартира у него, и он сам, как говорится, в порядке. Три комнаты с лоджией, у дома новенький «Фольксваген», на который время от времени поглядывал хозяин, подходя к окну, стильная мебель, ковры, хрусталь, какие-то картинки на стенах. Озираюсь кругом, но Шагала не вижу.

– Когда она умерла, – его глаза забегали по комнате, будто искали убежище, – я был в таком шоковом состоянии, что не помню, куда он подевался. Надо полагать, портрет взяли её родители, приехавшие на похороны.

Я сразу почувствовал, что он врёт. А как докажешь? В тот же вечер звоню Розе Семёновне, Ефиму. Разумеется, никакого Шагала никто не забирал.

Я снова к Владимиру Павловичу, но он говорить со мной не захотел. Скорее всего, продал он «Старика» и, видно, продал хорошо, но во из-

бежание пересудов предпочитает держать язык за зубами. Поняв, что правды у него не добьёшься, я ушел, не попрощавшись.

Забегая вперёд, скажу, что встреча с «Зелёным Стариком» всё же состоялась, но только в парижском музее Шагала, а вот каким путём он туда попал – это уже другая история, которую я как-нибудь расскажу в другой раз...

[165]

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА

«Когда соображают на троих, двух мнений быть не может».

– Шимон! Выходи! – я в ожидании облокотился на капот и закурил, любуясь огромными деревьями с красными цветами, окружающими дом. Через пять минут не в меру упитанный Шимон, спортсмен и силач, уже выходил из подъезда с бумажным пакетом в одной руке и сумкой в другой. Шнурки его армейских ботинок болтались, как косички его дочери, которая шла следом и несла автомат. Вскоре я сигналил у дома другого резервиста, а ещё через полчаса в моём автомобиле разместились пять человек в военной форме, выходцев из разных городов бывшей Родины. Наш путь после субботнего отпуска лежал на военную базу, находящуюся в километре от арабского города Рамалла. За окном промелькнули окрестности Иерусалима, покрытые густыми лесами, ухоженные поля кибуцов, чистенькие дома поселений. Июльское солнце нещадно палило и, когда до базы осталось всего пару километров, кто-то предложил остановиться отдохнуть и утолить жажду. Я свернул с шоссе и въехал в Рамаллу – город, за которым давно укрепилась слава инкубатора терроризма. Кое-как разбросанные дома представляли собой каменные лачуги в окружении чахлах деревьев, покрытых дорожной пылью. Припарковавшись у небольшого продуктового магазина, мы вышли «размять» кости. Пожилой араб, хозяин магазина, жестом пригласил нас присесть за стоявший у одинокого дерева стол. Кто-то произнёс слово: «Кока-Кола» и пока хозяин доставал бутылки, выходец из Тбилиси – Альберт, высокий и стройный красавец, почему-то причисляющий себя к старинному еврейскому княжескому роду (и откуда он это взял?), осматривая полки магазина, вдруг закричал:

– Ребята! Смотрите, что я нашёл! – и высоко поднял над головой две бутылки «Московской» водки, неизвестно как попавшие в арабский магазин, поскольку с прекращением дипломатических отношений с Советским Союзом торговля была тоже прекращена. Рассмотрев знакомую этикетку, все пришли к выводу, что водка действительно русская

и осталась, видимо, ещё со времён иорданского мандата. Но больше всего нас поразила цена: два доллара за бутылку.

Понятно, что за такую цену никто этот продукт подделывать не будет, в силу чего наши планы мгновенно поменялись. В спешном порядке стол был заставлен коробками сардин, консервированной колбасой, короче – всем, чем можно было разжиться в этом магазине. Распотрошив свои сумки, мы извлекли на свет домашние заготовки.

Хозяин, предвкушая хороший заработок, проявил инициативу и деловито готовил на сковороде что-то вроде йеменской «шакшуки» – жареные помидоры с луком, залитые яйцами.

Где-то я прочитал, что водку невозможно в компании просто попить. Её необходимо выпивать, так сказать, с замахиванием, а, стало быть, всей компанией разом. Налили – выпили – закусили! Но такое выпивание нужно как-то объяснить, надо скомандовать, даже если за столом 2-3 человека. Вот как раз эта необходимость и сформулировала потребность в тостах. И теперь мы не мыслим процесса выпивки без тоста, без каких-то существенных слов, без некоего смыслового вектора, который сопровождает каждую рюмку. И лучше, чтобы каждый тост был неповторим, как и каждая рюмка, иначе всё сведётся к элементарной, пошлой пьянке. Именно поэтому Альберт, как большой знаток кавказского застолья, заслуженно принял на себя обязанности тамады, разлил водку по стаканам и произнёс витиеватый тост, после чего мы в несколько глотков опорожнили стаканы. Хозяин молча наблюдал за нами, но глаза его расширились, когда он увидел, с какой скоростью опустели бутылки. Такого он ещё не видывал.

– Русо? – поинтересовался араб. Мы радостно закивали.

Каково же было его удивление, когда Альберт принёс ещё две бутылки, и стаканы были вновь наполнены. Жестами хозяин попросил нас подождать и исчез. Через пару минут он привёл с собой несколько арабов, которые вежливо поздоровались и деловито, словно в театре, присели на корточки в ожидании «концерта».

Представление началось. Альберт долго и нудно что-то говорил, но, несмотря на то, что никто из арабских зрителей его не понимал, они всё же внимательно слушали. Наконец, тост был завершён, и, чтобы «не ударить лицом в грязь», наша пятёрка под недоумённые взгляды «зрителей» опустошила вторую партию бутылок родного напитка. Пока мы закусьивали, арабы о чём-то говорили, бурно жестикулируя. Затем с елеинной улыбкой на лице поднялся старый араб, подошёл к нашему столу и двумя пальцами взял пустую бутылку. Он долго рассматривал этикетку и, немного подумав, поднёс горлышко к своему носу, после чего стал икать, а его лицо на глазах превращалось в печёное яблоко. Осторожно,

будто это граната, он поставил бутылку на стол, удивлённо посмотрел на нас и, обхватив голову руками, с глазами, полными ужаса, что-то сказал молодому арабу. Тот исчез. Наступила зловещая тишина. Шимон забеспокоился, но тут Алик, бывший московский плейбой и гуляка, а ныне преподаватель математики, и так порядком захмелевший, оглядел всех ослоровавшими глазами, и... неожиданно предложил выпить «на посошок». Идею поддержали, и две очередные бутылки «ностальгии» торжественно были водворены на середину стола. Наши «двоюродные братья» широко открыли рты. Их глаза округлились и до конца «банкета» больше не сужались. Шимон внимательно наблюдал за «зрителями», однако, на всякий случай, положил автомат на колени, не очень доверяя их гостеприимству. Алкоголь на него не действовал, поскольку его желудок, как он утверждал, мог переварить даже серную кислоту.

Вскоре вернулся молодой араб и принёс большое блюдо варёной баранины. Облегчённо вздохнув, мы решили принять «посошок» стоя, но тут вставил свои «пять копеек» Сёма, в прошлом рубщик мяса на одесском рынке. Решив блеснуть знанием закона гостеприимства, он поднёс стакан тёплой водки молодому арабу. Для закуски он не нашёл ничего лучшего, как вложить в его руку бутерброд домашнего приготовления с большим куском сала, сдобренного солью, перцем и нашинкованным луком. Сопровождая свои действия красноречием, Сёма, в частности, коснулся международного положения, вечной и нерушимой дружбы между евреями и арабами. Арабы с открытыми ртами внимательно слушали незнакомую речь. Самый молодой из них, ничего не понявший из сказанного, но чувствовавший, что говорилось что-то очень важное, в знак уважения принюхался к содержимому стакана, после чего у него нервно задёргалась левая щека, а от вида бутерброда его стало тошнить. Сёма с досады махнул рукой, мол, что с него взять, отобрал стакан и перешёл к старику. Обняв его, он стал, размахивая руками и проливая водку на одежду, рассказывать скабрёзные анекдоты, но вдруг, словно споткнувшись, замолчал и неожиданно заплакал у араба на плече. Шимон, в жизни никому не доверявший, предложил закончить трапезу и покинуть «малинник», иначе магазин превратится в мышеловку. «Посошок» выпили стоя, сорвав у аборигенов продолжительные аплодисменты. Альберт протянул хозяину пятидесятидолларовую купюру, однако тот ни в какую не хотел брать деньги. По его жестам можно было понять, что «концерт» пяти русских солдат стоит многим больше, однако Альберт насильно сунул ему деньги за пазуху. В машине хватились, что нет Сёмы. За ним отправился Шимон и застал того пытающегося со словами: «Шалом! Фройндшафт!» расцеловать молодого араба. Тот молча отбивался. Шимон схватил Сёму за шиворот, одной

рукой оторвал от земли и на весу, словно щенка, втолкнул в машину, где Сёма мгновенно уснул.

До нашей базы было чуть больше километра, но я без происшествий сумел дотянуть до места. Благополучно миновав КПП, мы без шума прошли на территорию части. Но, потеряв бдительность и обнявшись, наш квинтет нестройно, зато громко, запел: «Поле, русское поле...». Мы тут же напоролись на дежурного офицера, который вышел из штаба, заинтересованный чересчур громко исполняемой в вечернее время русской песней. Увидев состояние исполнителей, он без лишних вопросов отправил квинтет допевать песню в казарму, поскольку гауптвахта в израильской армии не предусмотрена.

Утром наш непосредственный командир объявил о лишении нас следующего субботнего отпуска, обязав заниматься хозяйственными работами, но через две недели компания снова в полном составе заняла места в моей машине, направляясь в отпуск.

Алик робко предложил заехать к арабу, но встретив недоумённые взгляды товарищей, быстро поправился и сказал, что пошутил, однако высказал мнение, что, вообще-то, не мешало бы скупить оставшуюся водку. Своё предложение он аргументировал тем, что, во-первых, мы из-за неё уже понесли тяжёлое наказание и, во-вторых, водку нужно удалить из магазина, как провокационный продукт, дабы у врага в будущем не возникло даже мысли надругаться над нашим славным прошлым. Этот вариант нашёл единодушную поддержку.

Хозяин встретил нас, как родных. Угостил «колой» и вопросительно посмотрел, надеясь на повторение банкета. Альберт обшарил все полки и принёс несколько оставшихся бутылок. Глаза араба оживились, но мы отрицательно закачали головами. Альберт пытался было уплатить из расчёта двух долларов за бутылку, но араб показал четыре пальца, что означало удорожание в два раза, поскольку «на вынос». Возмутившись его наглостью, мы вернули бутылки и направились к машине. Когда машина тронулась с места, все увидели, как хозяин бежал вслед с высоко поднятой, словно полковое знамя, бутылкой водки, показывая два пальца. Но наша великолепная пятёрка в порыве патриотизма единодушно наложила эмбарго на вражеский продукт, показав этим свой твёрдый еврейский характер. Прибавив скорость, я выехал на шоссе. Бежавший за автомобилем араб, словно мираж, исчез, растворившись в дорожной пыли.

Р.С. В Рамаллу мы никогда больше не ездили. Пить тёплую водку, видеть арабов ещё раз и давать бесплатный «концерт», даже по нашим заявкам, желания у нас больше не было.

В Отечественной войне Генка не участвовал, поскольку на момент описываемого события ему было всего четыре года, и он исправно посещал детский сад. Его отец погиб под Севастополем, но мать не хотела в это верить и, несмотря на то, что война закончилась, упорно продолжала его ждать, поскольку случаи, когда люди возвращались даже после получения похоронки, уже бывали.

Ежедневно дедушка отводил Генку в детский сад дорогой, которая проходила мимо высокой пожарной каланчи и одноэтажного здания военкомата. Около каланчи он останавливался, чтобы помахать рукой неизвестно как попавшим на такую высоту маленьким человечкам, поскольку никакой лестницы он не видел, что его, как ребёнка, естественно, удивляло. Маленький дядя-пожарник в ответ тоже махал ему рукой и что-то кричал, но Генка его не слышал. А вот на входную дверь военкомата он всегда глядел с надеждой, что вот сейчас оттуда выйдет его отец и бросится к нему. Шло время, солдаты стали возвращаться с войны. Как-то по дороге в детский сад дедушка остановился и долго глядел через забор в чей-то двор. Потом сказал, что в этот дом пришло счастье. Генка не знал, что такое счастье, и как оно само может идти, и спросил об этом. Дедушка обнял его и сказал, что во дворе он увидел висящие на верёвке постиранные солдатские штаны и гимнастёрку, и нет большего счастья для солдата, чем вернуться с войны живым. Для Генки было не совсем понятно: какая связь может быть между штанами и счастьем? Его больше одолевала зависть, обыкновенная детская зависть к другим таким же детям, которые ввели в моду приходить в садик с прикрепленными на их рубашечки медалями своих отцов. Они с презрением глядели на тех, у которых на груди ничего не висело. А какой-то мальчишка, глядя на генкину «пустую» грудь сказал с ухмылкой:

– А откуда у них ордена, если их папы не воевали?

Дома он рассказал об этом маме. Она покачала головой и тихо сказала:

– Воевали, сынок, ещё как воевали, но не всем при жизни суждено было получать ордена, разве что только посмертно.

Однажды, когда дедушка в очередной раз отвёл его в садик, Генка, проследив пока дед уйдёт, направился к зданию военкомата. Своим детским умом он понимал, что этот дом несёт в себе какую-то тайну, связанную с его отцом, и это вызывало у него особый интерес. Ему казалось, что отец где-то здесь, рядом, и люди, работающие в этом доме, знали, где он и обязательно помогут его отыскать. В коридоре какой-то дядя говорил по телефону, потом повесил трубку и ушёл. Раньше Генка

никогда телефонов не видел, и не мог понять, как в таком маленьком ящичке может спрятаться человек, однако любопытство взяло верх. Придвинув стул, он взгромоздился на него и снял трубку. Телефон молчал, слышно было только шипение.

– Папа?! – тихо и неуверенно, с лёгкой надеждой на чудо, произнёс он в трубку – Приезжай, нам плохо без тебя. – Но там по-прежнему было слышно только шипение. От отчаяния, не зная, что делать и к кому обратиться, Генка сел на стул и заплакал. Услышав детский плач, из комнаты вышел какой-то военный, подошёл к нему и спросил, что он здесь делает. Генка, как мог, рассказал ему о своём горе и что ему нужна всего одна медаль, неважно какая. Военный присел на корточки и стал расспрашивать о его семье, об отце, затем, попросив никуда не уходить, забежал в какую-то комнату, откуда вернулся с небольшой плиткой шоколада. Сунув её Генке в руки, он разъяснил, что медали не даются просто так. Их заслужили солдаты на войне, и обнадёжил его, сказав, что ещё не всё потеряно и папа обязательно вернётся живой и с орденами.

Шло время, уцелевшие фронтовики возвращались домой, но в генкиной жизни ничего не изменилось. Напротив, детсадовские «орденоносцы» его всё больше и больше донимали. Он приходил домой весь в слезах и наутро валялся по полу в истерике, отказываясь вообще ходить в садик.

Счастье свалилось на Генку совсем неожиданно в лице вернувшегося с войны сына соседки, лейтенанта, Максима Лянского. Такого количества орденов и медалей, как на его кителе, он ни у кого в городе ещё не видел. Узнав причину генкиного плача, он обнял его, прижал к своей груди и сказал, что сам будет отводить Генку в садик. Максим снял со своего мундира орден Славы, прикрепил его к генкиной курточке и, протянув руку, крепко сжал маленькую ладонь. Улица встретила их ярким солнцем, и во всём мире счастливее Генки в этот момент не было никого. Его распирала гордость, и моментами даже казалось, что прохожие, поражённые блеском орденов Максима, останавливаются и с завистью смотрят именно на Генку.

Но это всё так – пролог. Настоящий же «спектакль» прошёл уже в садике. Воспитательницы, не отводя восхищённых глаз от Максима, почтительно поздоровались, а дети, глядя на его «иконостас», остались стоять с открытыми ртами, будто зачарованные. Они были уверены, что это генкин отец, и Генка не счёл необходимостью их в этом переубеждать. Он стал героем дня и больше его не обижали, наоборот, даже угощали сладостями, принесёнными из дома. Дядя Максим ещё долгое время отводил и приводил его из садика. Ордена и медали на генкиной

груди менялись, и хотя эта мода со временем прошла, уступив место другим детским интересам, история с медалью запомнилась ему на всю жизнь. Сам же Максим впоследствии орденов никогда не носил, только на день Победы на лацкане его пиджака красовалась одна, но самая дорогая для него медаль «За победу над Германией».

[171]

МОСТ ЧЕРЕЗ ТЕМЗУ

*Порой, чтобы изменить жизнь,
достаточно перейти мост.*

Несколько лет назад я приехал в Лондон. Стояла дождливая погода, присущая столице туманного Альбиона, но я всё же посетил несколько музеев и не менее знаменитый универмаг «Marks & Spenser». В универмаге я обратил внимание на красивого ортодоксального еврея, уверенно переходящего от одного отдела к другому. Я на иврите спросил, как пройти в интересующий меня отдел. Поинтересовавшись, откуда такой хороший иврит и получив разъяснение, пригласил меня в кошерное кафе, расположенное на верхнем этаже универмага. За чашечкой кофе завязалась беседа, во время которой он рассказал историю этого универмага.

В начале 19 века Лондон представлял собой большой промышленный город, в сердце которого располагалось огромное количество офисов и банков. Особняком среди них высилось четырёхэтажное здание с вывеской «Банк оф Майер Ротшильд». Этот банк подмял под себя и разорил множество мелких банков и меняльных контор. Весь деловой мир знал этого финансового магната, карикатура на которого в виде щупальцев спрута, охватившего всю Европу, была напечатана в газете.

Родоначалник банковской семьи Амшель Мозез Бауэр содержал во Франкфурте небольшую меняльную контору под красной вывеской, что по-немецки звучит, как «Ротес шилд». Так появилось прозвище, которое стало нарицательным и положило начало 260-летней династии Ротшильдов.

Когда один из сыновей Амшеля, Натан, появлялся утром на улице, направляясь в свой офис, лондонские купцы, заискивающе улыбаясь, издали снимали перед ним свои шляпы. Тот, кому Ротшильд пожимал руку, был в почёте у местной знати и пользовался особым уважением.

Предприимчивые еврейские юноши приезжали в Лондон, чтобы разбогатеть на торговле сукном, которое в огромном количестве и от-

личного качества производилось в Англии. Эти юноши искали покровительство и финансовую поддержку Ротшильда и, зачастую, находили её.

Лазарь Спектор, содержащий небольшой постоянный двор в польском местечке, всегда мечтал, что старший из его сыновей, Соломон, продолжит семейный бизнес. Но Соломон оказался строптив и заявил как-то отцу, что не хочет всю жизнь нюхать конский навоз и смазывать дёгтем оси телег. Умевший изъясняться только на идиш и по-польски, он покинул отчий дом, имея в кармане небольшую сумму, которой по его расчёту должно было хватить ему на первое время.

В Лондоне он появился только через несколько месяцев, исхудавший и голодный. Узнав у местных евреев нужный ему адрес, он оказался у заветных дверей банка.

Секретарь доложил шефу о просившем аудиенции молодом человеке в необычной для жителей Лондона одежде. К его удивлению, Ротшильд изъявил желание того принять и, когда Соломон вошёл в кабинет, с нескрываемым интересом и улыбкой рассматривал его доношенный до дыр лапсердак и пейсы, закрученные на висках в кольца.

На вопрос, что привело его к нему, Соломон, жестикулируя и волнуясь, принялся излагать свою просьбу. Он хочет начать своё дело и просит заём. Ротшильд, опустив поседевшую голову, слушал его благосклонно и, когда Соломон закончил свою речь, сказал:

– Ничем не могу тебе помочь. Представь себе, что если я даже из сотни просителей буду оказывать помощь хотя бы одному, я через год сам пойду просить кредит.

В больших тёмных глазах Соломона заблестели слёзы. Разочарованный отказом, он потоптался у дверей и, опустив плечи, направился к выходу. Банкир это заметил и, как бы спохватившись, спросил:

– Куда же ты пойдёшь?

– Не знаю...

– Хорошо, юноша, я пройду с тобой до моста, – сказал магнат.

Он взял Соломона под руку и вышел на шумную лондонскую улицу.

Из окон бесчисленных лавок с любопытством выглядывали торговцы. Каждому хотелось знать, с кем это идёт великий Ротшильд, по-дружески разговаривая и улыбаясь. Все старались запомнить юношу в лицо.

Кто-то остановил карету, предлагая их подвести, но Ротшильд отказался. Он перешёл с Соломоном мост, пожелал ему всего хорошего и, прощаясь, добавил:

– Теперь, молодой человек, можешь зайти на этой улице к любому торговцу и брать товар в кредит. Никто здесь тебе не откажет.

Соломон низко поклонился. Ротшильд подозвал извозчика и возвратился в свой банк.

Преодолев минутную робость, Соломон открыл дверь первого торговца. Навстречу ему вышел рыжеватый купец – ортодоксальный еврей с пухлыми, как у женщины, руками, узнавший в Соломоне молодого человека, с которым прогуливался Ротшильд. Наклонив слегка голову, купец спросил:

– Чем могу вам помочь, сэръ?

Соломон несколько опешил от такого обращения, но быстро взял себя в руки, приняв правила игры и развалившись в кресле, сказал:

– Мне нужно пятьсот ярдов сукна. Разумеется, в кредит...

Рыжий купец широко улыбнулся:

– Только пятьсот? Больше не хотите?

– На первый раз хватит этого, а потом посмотрим, – входя в роль делового человека, ответил Соломон.

– Хорошо. Вот вам образцы. Выбирайте, потом подпишем бумаги.

После недолгой процедуры оформления необходимых документов, Соломон получил товар и с выгодой продал его в Голландии. Вернувшись в Лондон, он рассчитался с рыжим купцом и взял уже на этот раз тысячу ярдов сукна. Со временем Соломон стал зваться Солом Спенсером, создав себе имя честного и порядочного купца. Ему чуть ли не наперебой предлагала свои товары в кредит вся торговая улица и уже через два года он открыл свой магазин, который со временем превратился в знаменитый на весь мир универмаг «Marks&Spenser».

Оказывается, для этого нужно было только перейти с нужным человеком мост через Темзу.

Мой собеседник закончил свой рассказ. Я помолчал, дотил остывший кофе. Прощавшись, так ничего и не купив, я вышел на шумную лондонскую улицу, посетовав, что не родился двести лет назад. Послеобеденное солнце ярко освещало здание универмага.



**Вера
Фёдорова**

СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ

Старый, забытый колодец
Шепчет разохшимся ртом.
Тёмный, прогнивший уродец
Силится вспомнить о том,

Как в улетевшие годы,
Словно судьбы торжество,
Били подземные воды,
Переполняя его.

Вечером воздух сгущался,
С неба лилось серебро,
Месяц в колодце плескался,
Перетекая в ведро.

Весело звуки летели
С чистой, студёной струёй,
В каждой избе голубели
Кадки с живою водой.

Водопроводы открыли, –
Вёдра теперь ни к чему,
Старый колодец зарыли, –
Нечем поплакать ему.

У МОРЯ

Приду на берег утром рано –
Сияющий простор!
Вдали, под призрачным туманом,
Заметен абрис гор.

А море сказочно красиво
Прозрачной синевой!
Ворчит тихонько, терпеливо,
Поёт своей волной.

Иду сквозь пенные пороги
По гальке босиком,
И море нежно лижет ноги
Солёным языком.

Спокойно стайки рыб пасутся,
Гонимые волной.
А я шагну и расплывутся,
Испуганные мной.

И кажется, что сказка эта –
На годы, на века.
Но это только у поэта.
А море ждёт пока.

БОРЬБА

Опустились грозовые тучи.
Как атлант напрягся дуб могучий,
Заскрипел под тяжестью чугунной
Чёрной ночью жуткой и безлунной.

Бесноватый ветер мчался с рёвом,
Убегал и возвращался снова,
Бился, вился с воем сатанинским
И боролся с дубом исполинским.

Дуб, прочёсан ливнем, словно гребнем,
Лишь умыт – не сладить с дубом древним.

Двести лет – ещё совсем не старость.
Что ему грозы слепая ярость?!

ОСЕНЬ В ПУТИ

Грустно хмурит брови осень.
Скука. Мучает зевота.
По обочинам колосья,
Впереди блестит болото.

По стеклу стекают слёзы.
Под колёса – грязь навстречу.
Наползают тьмою грозы.
Ранний день похож на вечер.

Стало небо голубое
Губкой серой и тяжёлой.
Дождь идёт без перебоя,
Виснет шторой долгополой.

Едем, как на старой кляче,
Пробираясь между сосен.
Нет сегодня нам удачи...
Грустно хмурит брови осень.

РАЗДЕЛЁННЫЕ РОКОМ

Одной монеты половинки,
Их невозможно разделить.
Пусть появляются морщинки
И серебром блестят сединки,
Но друг без друга как прожить?

В тот день, как прежде, пели птицы,
Нёс ароматы ветерок.
Перевернула жизнь страницу.
Казалось, не могло случиться –
Но разделил фатальный рок!

Он навалился хищным зверем,
Вонзая в сердце острый клык.
Поверить трудно и не верим,
Но он ушёл в другие двери...
И смолк последней боли крик.

Стихи для детей

[177]

ВКУСНОТА

Глазированный сырок –
В шоколад одет творог.
Я вкусней еды не знаю,
Так во рту приятно тает!

Я бы мог десяток съесть,
Сразу, за один присест.
Только мне позволят разве?
– Пицца вся должна быть разной, –

Слышу мамины слова.
Всё же мама не права.
Ем я кашу, хлеб, печенье,
Просто всё без настроенья.

За единственный сырок
Дам бананы и пирог.
– Поменяюсь, если с мясом –
Говорит приятель Вася.

А сырки – еда не та.
Врёшь! Такая вкуснота!!

ЁЖ, ЕЖИХА И ЕЖАТА

В молодом лесу зелёном,
Добрый солнцем освещённом,
Жили дружно, как опята,
Ёж, Ежиха и Ежата.

За работу спозаранку:
Ставят лестницу-стремянку,
В крыше делают заплаты
Ёж, Ежиха и Ежата.

Носят ветки и солому,
Чтоб теплее было дому.
Успевают до заката
Ёж, Ежиха и Ежата.

А сорока-балаболка
Тараторит без умолку:
– Что там делают ребята,
Ёж, Ежиха и Ежата?

– Не мешай нам, балаболка,
До зимы не так уж долго. –
Взяли острые лопаты
Ёж, Ежиха и Ежата.

Два должны построить вала,
Чтоб вода не подступала.
Строят долго «мастерята» –
Ёж, Ежиха и Ежата.

Вся окончена работа.
За грибами на охоту.
Друг за другом, как гусята –
Ёж, Ежиха и Ежата.

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Тяжело Жирафке –
Сильная ангина.
– Пей настой из травки,
Тридцать три кувшина.

Жуй цветок Алоэ,
Ничего, что горько.
Горлышко больное –
Порошков ведёрко.

И компресс матрёшкой –
Небольшой – два метра.
На четыре ножки –
Шерстяные гетры.

Всё семейство сникло,
– Как прогнать заразу?
– Дайте лучше сникерс,
Я поправлюсь сразу!

[179]

ПОДКИДЫШ

Щенка подкинули под дверь,
Он жалобно скулил.
– Что ж, проходи, кудлатый зверь,
Да ты совсем без сил!

Я на руках его занёс:
– Погрейся здесь пока,
Сейчас тебе, несчастный пёс,
Дам с булкой молока.

Поешь, подкидыш, отлежись
И не косись на дверь.
Забудь свою былую жизнь,
Не выгоню, поверь.

Какой ты милый! Умный взгляд –
Забавный «двор-терьер».
И я тебе, подкидыш, рад,
Порода – не барьер.

Согрелся, сыт и – за хвостом.
Что надо малышу? –
Тебя я вымою потом
И феном просушу.

Скрою из старого ремня
Ошейник, поводок,
Чтоб ты не бегал от меня –
Гулять спокойно мог.

Подстилку, миску, кличку дам,
Ты всё запоминай.
Вдвоём неплохо будет нам,
Ну, а пока – играй.

СУДЬБА

Держит мама с тканью пяльцы,
Быстро двигаются пальцы,
Тянут нитку мулине,
Вышивая блузку мне.

Блузке я, конечно, рада,
Только слёз совсем не надо,
Грусти в маминых глазах
И сединок в волосах.

Друг от друга мы скрываем
То, что обе понимаем –
Папа наш в другой семье,
Очень больно ей и мне.

И скучает брат мой, Вовка:
– Папа всё в командировке? –
Молча я кивну в ответ.
Вовке только восемь лет.

Врать противно, но об этом,
Может быть, скажу я летом.
Пусть немного подрастёт,
А пока он папу ждёт.

Уронила мама пяльцы,
Нервно вздрагивают пальцы.
Жить с неведомой судьбой...
– Мама, мы всегда с тобой!

ТЕЛЕЖКА

Есть у нашего Олежки
Деревянная тележка.
Просит мальчик: «Хоть немножко
Покататься по дорожкам».

Вот впрягается лошадка.
Едут медленно и гладко.
– Но! Вперёд! Быстрей, быстрей!
Торопись, гони сильней!

Мимо лазалок и горок,
Даже влезли на пригорок,
А с пригорка, ух ты, вниз,
– Ну, Олежка, берегись!

Уменьшает лошадь скорость,
На обед, пожалуй, скоро.
Тарахтели два часа
Все четыре колеса.

Вся лошадка в пене, в мыле –
Как из лейки окатили.
С головы сползает шляпа...
А лошадка эта – папа.

ТОШКА И ГОШКА

У меня морская свинка
В комнате живёт,
Пёстрая, как коврик, спинка,
Беленький живот.

А ещё котёнка Гошку
Принесли в наш дом.
Крошка он, с мою ладошку,
Пусть живут вдвоём.

Приняла котёнка Тошка,
Только не поймёт –

Ни морковку, ни картошку
Есть не хочет кот.

Я кормлю его с пипетки
Тёплым молочком.
Так и спит у Тошки в клетке
Под её бочком.

Кот растёт, уже не крошка,
Свинку перерос.
Всё равно суёт под Тошку
Розовый свой нос.

По квартире скачет Гошка.
Как прекрасно жить!
Ночью – рядом с мамой Тошкой –
Их не разлучить.

ФУТБОЛ

Тяжело учиться в школе.
Кто пойдёт по доброй воле?
Целых сорок пять минут
Мне побегать не дадут.

Есть, конечно, перемены –
Пять минут от стенки к стенке.
А потом урок опять
И опять на сорок пять!

Что за жизнь?! Хочу на поле!
Я мечтаю о футболе.
У меня задача – гол!
За задачу ставят кол.

Не выдерживают нервы,
Мы – растущие резервы!
Защищают честь страны
Футболисты, бегуны.

А причём, скажите, школа?
Разве можно без футбола?
Для меня, друзья, футбол –
Существительный глагол!

КРОВАТЬ

[183]

Бегемот купил кровать.
Стало так удобно спать,
Что забыл про все заботы,
Не выходит на работу.

Целый год он спал и ел,
И толстел, толстел, толстел.
А кровати так досталось,
Что под тяжестью сломалась!

Горько плачет Бегемот,
Не поднять ему живот,
Потому что стал огромный...
Нужен кран теперь подъёмный.

БАРСУК

Шёл Барсук к своей норе,
Нёс гостинцы детворе:
Лягушат, мышат, тритонов –
Самых маленьких драконов.
Наловил и, всем знакомых,
Полпакета насекомых.
Нёс улиток, червяков.
Ну и вкус у Барсуков!
Фу!



**Елена
Зельгер**

С НОВЫМ ГОДОМ

За подарки – спасибо и прости-прощай,
Мы не свидимся – это точно.
Заварю настоящий зелёный чай
Первой ночью, бессонной ночью.

Чародей, раскрывай же скорее зонт,
Да цветной, чтобы сны цветные!
Эй, Алиса, ну где твоя птица дронт?
Где зверушки твои чудные?

За подарки спасибо. Прошедший год...
Ну, ступай себе в вечность, с Богом...
Разродился, не мается небосвод.
С Новым годом Вас, с Новым годом!

ЛЁД УХОДИТ В НЕБЕСА...

Лёд плывёт из-под моста –
Снов зеркальные осколки.
От мороза мало толка –
Лёд уходит в небеса...

Ускользает, словно ртуть.
Танец – головокруженье,
Лебединое движение:
Шея к шее – грудью в грудь.

Лёд летит, ломая ход
Равновесия скольженья.
По лагунам наважденья
Проплывает теплоход.

Лебединый – выходной,
Накрахмаленный, с изыском,
Выгнув шеи низко-низко
Изощрённый поворот.

В поднебесье отражён,
Древний мост, над Шпрее спящий.
Этот город настоящий
Двойником заворожён.

БОГИ И ЛЮДИ

Боги застыли
И дремлют в забвении зыбком.
Боги забыли
На плечи накинуть пальто.

Недоумённые
У приходящих улыбки:
Боги нагие!
Каков небожителей тон!

Я оставляю
Заслуги-грехи за порогом,
Боги, для вас
Мой нижайший, светлейший поклон.

Боги нагие!
Какие же вы недотроги!
У беломраморных,
Вечных античных колонн.

Люди застыли
И смотрят в забвении зыбком.
Люди забыли
Свой век, и РС, и авто.

Полубожественны
У проходящих улыбки,
Души – нагие
И им не мешает никто.

ОДА ЦИНИИ

Цвет Цинии от нежности до страсти
От солнечных, – Orange до грусти – Lilla.
Цвет Цинии – махровые напасти.
И в центре – вызов! Грозная Сивилла,

Должно быть, Циния превыше всех цветов
Те стойкие ценила, что не годятся для венков,
Которые не ведают согбенья,
Не слушают чужого повеленья
И не выносят грубости оков.

Невинно смотрит Циния,
Ресниц махровы взмахи.
Торжественна, как шапка Мономаха!
О, бесконечный зов полутонов!

РИМ

Здесь и дышится,
И естся,
И гуляется
По-царски.

Город пышный,
Город грешный,
Дерзко-узкий,
Дивно-барский.

Светлым камнем окаймлённый,
Офонтаненный прохладой,
Перезвоном колоннады
Просветлённо-удивлённый.

Спит эпоху за эпохой,
Ничему не удивляясь,
Прижимаясь сердцем к Богу
И столетий не стесняясь.

Хорошая год от года,
По-коньячному крепчая,
Принимая все народы,
И объятьями встречая.

ПРАГА

Прага – птицею в руках.
Удивлённых глаз распах.
Запах липы, львиный рык,
Ангелов печальный лик,
Древний камень, звон, часы!
Вьются пенные волосы
Влтавы. Властью быстрых вод
Опьянённая плывет
Прага – Спасом на Веках!
Прага – золото и прах!
Ах!

СТОЛЕТИЙ ВЕТЕР

О, мириады звёзд, упавших навзничь,
Ослушаться не смеющих Веленья.
О, угасанье миллиона празднеств.
О, золотая россыпь удивленья.

Прощаний – до! До срока – до весны.
О, дрёма Осени, смежающая веки,
Ночная изморозь, пугающая реки,
Обречены...

Не уставай, неутомный Гений!
Гони по следу зимний ветер быстрый,
Он безрассуден, холоден, неистов.
Он без сомнений...

Так мириады звёзд упали тенью,
Свеченье потеряли в одночасье,
Забывшие в зеркальном отраженье
Фольги ненастья...

Им шепчут ели вкрадчиво: «Смелей,
Клянись обещанием возврата –
Вернуться на пристанище аллей,
Умножиться и расцвести стократно».

Вы, мириады павшие листвою!
Вы, в зароженье будущих соцветий
Прислушайтесь, у вас над головой
Столетний ветер!

СМОТРИ В ГЛАЗА

Смотри в глаза – в зрачки,
В них Бог таится свято,
Как мыслью, отражённая, тонка,
Несмело распахнётся тьма агата,
И тень ресниц коснётся потолка,
Исчезнет ночь. Душа светлее света,
Прозрачней и яснее, чем кристалл.
(Смотри в глаза, – от губ не жди ответа)
Там истина, что отражает сталь.

УРАВНЕНИЕ НЕЗНАНЬЯ

Поэт, твоё творенье просит влаги
в глазу, и умиляешься отваге:
безумней бабочки стремишься в пламя –
огонь и нетерпенье под крылами.

Что жизнь, мы – мотыльки для мироздания.
О, тщетность Уравнения Незнания, –
сплошь неизвестные искомые «икс», «игрек»,
зависли над решением, как колибри.

Тычиночно-нектарное блаженство.
Не бабочка, не птица – просто особь.
Нам, Гений, далеко до совершенства
и совершенно недоступен способ
решенья, но покуда живы,
шокирует нас шестирукость Шивы
и, что таить, желаем радикально
проникнуть в горизонты Зазеркалья.

За гладью зеркала рождается «не так»
часы и те навыворот топочут:
«кит-кат», а вовсе не «тик-так, тик-так»,
и рыба-кот пересекает площадь
квартиры, сияясь заглянуть
за амальгамно-дымчатую суть.

Там – всё не так, там левую дают,
приветствуя, а сердце бьётся справа?
Должно быть, там лжецы имеют право
на ложь – её за правду выдают.
И пуля – в дуло, задом наперёд,
и жив Поэт, а не наоборот.

Но Некто ведает и нас ведёт
не в зазеркалье, а наоборот.
Но Некто ведает и вслед поводирию
я жизнь свою мгновенную струю.

ВЛАСТЬ МИНДАЛЯ

(Уравнение Незнания)

Попытка подражания Милораду Павичу

[190]

ДиП / 2016

Девочка чувствовала перемену вкуса своей слюны. С удивлённо-кислого на пряно-сладкий.

Это длилось уже больше года каждое утро. А сегодня к сладости прибавился терпкий вкус миндаля. На юг! Лежать на горячих камнях, которые пахнут не калённым миндалём. Так и произошло – их каникулярный путь долго нёсся по непреклонным рельсам, которые не терпят возражений и возвращений. «На юг - на юг! – стучали колёса, тут же забывая и бесконечно повторяя, – на юг!-на юг!-на юг!»

– Ну вот! – Сказал отец, в задумчивости стоя на перроне, будто самому себе, будто не замечая рук ветра. Она же видела, как ветер взял отца за плечи и развернул его лицо в солёную сторону.

Пришлось доехать до прибрежного городка «Рофос»* – местные жители произносили его название, как «Форос»**. Рыбачье побережье подчинилось греческому написанию – буквы послушно поменялись местами, соединив горные запахи, рыбы запутанные пути, бессонницы, утренние звёзды и зреющие персики.

Девочка лежала на крыше и дышала сосками едва развившихся грудей – они предсказывали перемены. Она смотрела на созвездие Кассиопеи, на безупречно-неуловимый Млечный путь, и персики зрели в глубине сада, готовые попасться в руки хозяйскому мальчишке, и руки его во сне уже вкладывали бархатно-шершавые плоды в ладонь длинноногой бледной Приезжей.

На следующее утро в шесть часов тридцать минут персик лопнул от переполнявшего его солнечного света и лунного терпения – сладким желанием в пальцах девочки. Городок ахнул и проснулся. Кривые и стройные, загорелые и не очень ноги в разноцветных сандалиях и шлёпанцах понесли их владельцев к прибою ссориться за место на солнце – до обеда и в тени – после. Отдыхающие у края крабы схлынули с первой волной. Чайки обиженно пытались лететь против ветра с моря.

Миндальный запах примирил чаек с ветром, а крабов – с полотенцами, самые смелые решительно покусывали соперников за мохнатые края. Аромат миндаля распространился с такой силой, что опрокинул за горизонт паруса дрейфовавших всю ночь кораблей.

Зелёные драконы, обитавшие здесь всегда, с рубиновыми ягодными глазами тоже проснулись. Испуганные стаи голодных птиц заслонили небо, не решаясь продолжить трапезу, взвились и превратились в тучи.

Поэзия и проза

В этом году люди рыбного побережья смогли собрать невиданный урожай кизила. Они ходили по спинам исполинов с полными кружками, бидонами, вёдрами. Ягоды зрели пока их доносили до дома, а если дорога была долгой, то превращались в конфитюр. Слепо доверяя голосам людей, дракон уснул до следующего урожая, засунув морду в солёную воду.

После морского купания ляг на песок спиной, раскинь руки в стороны, зажмурься, не открывая глаз! Жди! Девочка слушала приказ Миндального запаха и ждала. Ждала день, третий... Целых две недели! Она училась различать прикосновения. Прежде всего, ветра и солнца. Тени пролетающих над ней птиц отличать от теней проходивших мимо людей. Осторожное касание пены прибоя сравнивать с дерзкими брызгами. Взгляды – о, взгляды давались ей труднее всего: смелые и робкие, кусающие, добродушные, наглые. Они скользили, струились, обжигали; от одних веяло прохладой, другие вонзались будто иглы.

Девочка загорела от их прикосновений до цвета сердцевины оливкового дерева. Ноги уподобились резным колоннам из сердолика; руки стали, словно лианы, нежными и цепкими; лицо засветилось. Особенно изменились глаза. Зеркало зажмурилось бы, а будь у него руки, заслонило бы от сияния зелёно-опаловых, отчаянных звёзд. Аромат свежего миндаля не отходил от девушки. Они полюбились друг другу. Созвездие Кассиопей***, прикрываясь шлейфом Млечного пути, волновалось за свою внешность, как любая женщина, но иногда она превращалась только в указующую руку, чтобы можно было быстрее отыскать Свой Путь, а иногда просто светила во всю силу пяти самых ярких звёзд. Зелёно-опаловые две встречались каждую ночь с пятью путеводными и подружились.

Хозяйский мальчишка выкрал все персики у неопытного папаша. Молодое персиковое дерево гордилось своими первенцами. Они удались на славу: все три были розовощёкие, пушистые, тяжёлые. Вор мог унести только один в двух руках. Соседние деревья завидовали и старались побыстрее вырастить и своих чад, постоянно напевая им предания о далёком севере, о миллионах белейших цветов, падающих с небес, о том как они укрывают всю землю и о том, как сладко спится под этим пуховым одеялом; а тот, кто хорошо спит – быстро растёт.

Потому ли, что зелёные ладошки устали держать в себе ароматное ядро и раскрылись, или просто пришло время. Время – понятие относительное, и относится к себе не строго. Вот и теперь, приостановившись на двух нулях, оно понесло планету, привычно отделяя плоды от плевел.

Миндальные орехи раскрылись, ядра выпадали из обойм, а непокорные показывали язык из своего укрытия.

Утвердился вкус миндаля. Сок тѣк сквозь пальцы. Время – сквозь звѣзды. Ночь смотрела на море и любовалась собой.

Девушка не узнавала себя ни в зеркалах, ни в отражениях своей памяти.

[192]

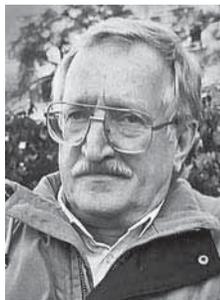
**Рофос (греч.) – вид рыбы.*

***Форос (греч.), фѳрос – денежный налог в др. Греции.*

Слово «форос» имеет множество значений, такие как: несущий, парус, обрыв, дань, попутный, площадь или рынок. Единого мнения, какое именно из перечисленных значений имели в виду греки, нет.

****В некоторых рукописях созвездие «Кассиопея» называется «Сидящая женщина» Также древние видели в расположении звѣзд руку, указывающую пальцем на впереди расположенные звѣзды.*

Вениамин Палагашвили



[193]

УЖАСЫ

Прозванный Грозным Иван,
поучая с пристрастьем потомка,
череп ему проломил,
желая достичь пониманья.

Множа традиции эти
в общеньи с ребёнком,
Пётр на плаху послал
неразумное чадо.

Яркий урок воспитанья
дан детям и взрослым надолго,
в коих любовь отступила
пред чувством гражданского долга.

Обе красотки убиты –
Кармен и Земфира –
страсть направляла кинжалы
Хозе и Алеко.

Ревность затмила рассудок
героя Шекспира –
стала судьба Дездемоны
трагедией века.

Стенька, созвавший братву
для гульбы и разбоя,

воле друзей вопреки,
персиянку любивший,

вскоре однако решил,
что её утопивши,
станет (и он не ошибся)
народным героем.

И чем дальше – страшней:
у попа появилась собака,
он её полюбил,
и она ему тем же платила.

Но пропал кусок мяса,
и поп, обратясь в вурдалака,
позабыв про любовь,
поступил как нечистая сила.

Жаль собаку! Печалит другое –
быстротечность развития действия,
заключение которого горько:
как любовь сопредельна злодейству!

Я пишу это ночью. Не сплю,
эту жуть вспоминая...
Чем закончится ночь? Я боюсь,
хоть надеюсь на чудо.

Ведь не зря ты так грозно
глядела в лицо, дорогая,
когда я, припозднившись,
пришел и не вспомнил, откуда.

ПРО ЗВЕРЕЙ

Прости нас, бедное зверье,
за наше грешное господство,
за то, что мысль о превосходстве
храним, как ветхое тряпье.

Прими за верность естеству
поклон – ты лишь ему покорен
и с ним един, и просто так устроен,
что своему лишь служишь божеству.

Ещё за то, как пестуешь детей
и за твоё презрение к неволе,
уменье выживать в лесу и в поле,
держась возможно дальше от людей.

Хвала тебе и за отличие в том,
что с нами проявляешь мало сходства
и никогда не станешь прятать скотства
за человеческим лицом.

А я давно живу в кругу людей,
среди которых не ищу героя,
но как мне встретить хочется порою
достоинством похожих на зверей!

* * *

Мне всё ещё обидно за державу,
которой нет, но нужно ль осуждать
блуждания её то влево, то направо –
усопшего не принято ругать.

Печалюсь я о ней, разрубленной на части,
о каждой из её пятнадцати частей.
Единая беда на множество несчастий
разделена на всех. Всё стоящее в ней

она снесла сама, а не чужие танки;
отыщут патриоты в сундуке
папахи, архалуки, вышиванки,
поставят крест на общем языке

и примутся друг друга убивать
из-за границ, в прицел глядеть почаше,
чтобы сосед не вздумал посягать
на их болота, пустыри и чащи.

Начнут палить по городам своим
и закипит солдатская работа –
крестов достаточно, их заготовил кто-то
и мёртвым и пока ещё живым.

А у Кремля чеканит шаг пехота,
СУ-27 готов на перехват,
зовут гостей на праздничный парад,
чтоб напугать ракетами кого-то.

И всё ж я рад сегодняшнему дню -
за то что жив, шепчу судьбе я: «Браво!».
Но как же мне обидно за державу
поруганную, бывшую, мою!

ПОРА...

Прибавилось к семидесяти пять
и мне пора, пока живу на свете,
чтоб выглядеть прилично на портрете
грехи на добродетель поменять.

Пора следы пороков на лице
на видимость менять благообразья,
постыдное грехов разнообразье
успеть заретушировать в конце.

Пора менять свинину на кефир,
на свежий воздух кайф от сигареты
на тапки тёплые французские штиблеты,
ночной загул на кафельный сортир.

Когда гостей я усажу за стол,
скажу им тост про преданность и дружбу
и, вспомнив разницу меж «хочется» и «нужно»,
я свой коньяк сменю на корвалол.

Но я не в силах в семьдесят пять лет
сменить волнение при виде женской ножки
на равнодушие: ведь женский силуэт

меня влечёт, (смущаюсь я немножко),
куда сильнее, чем женский интеллект.

Пора менять движенье на покой,
живое дело на воспоминанье,
но дай-то Бог не изменить желанье
жалеть других, смеяться над собой.

[197]

* * *

Мне не дано своим умом
постичь закон соотношенья
пространства с временем. О том
известно Б-гу и Эйнштейну.

Как сладко спится нам подчас
от мысли, что пространство вечно,
а время длится бесконечно...
Но то – вообще, а не про нас.

Моё ж пространство всё тесней
и в нём ручей пересыхает.
Ещё течёт, но иссякает
поток моих недель и дней.

Когда же время унесёт
меня совсем в иную местность,
где нет ни зависти, ни мести,
спрошу того, кто не соврёт

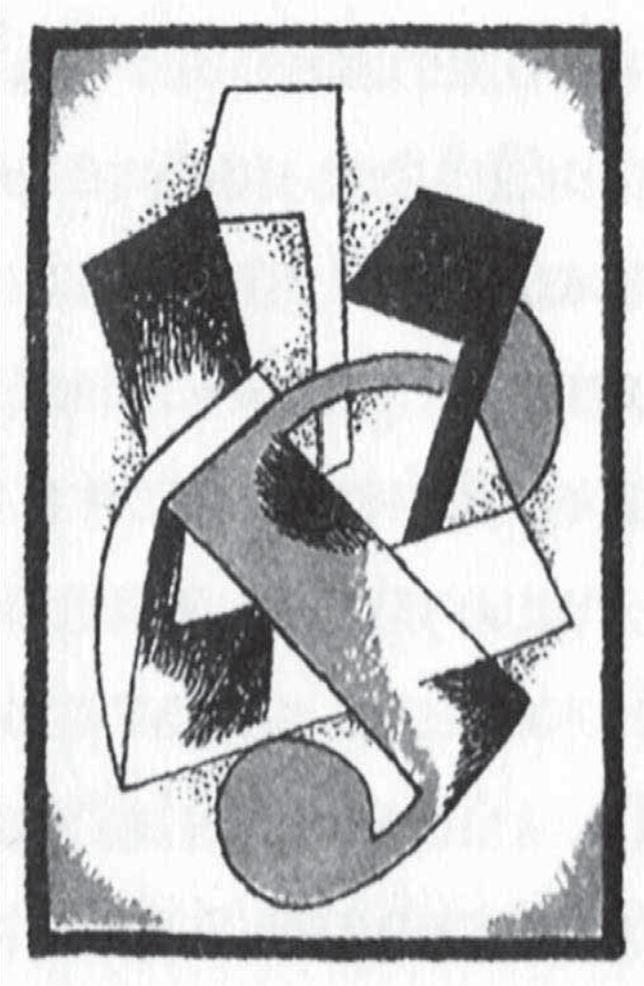
и знает, но хранит в секрете,
кого какая ждёт судьба,
и кто единственный на свете
заставил верить нас в себя.

Спрошу Его: «Ответь, куда
деваются печаль и радость,
азарт и страсть, любовь и жалость?
Неужто канут в никуда!

И коль с согласия Твоего
возможно предсказать рожденье,

то день и час исчезновенья
нам неизвестен. Отчего?

Что мне ответит Он тогда?
Скорей всего и не услышит...
А может, часть грехов мне спишет
за то, что думал иногда?





**Генриетта
Ляховицкая**

В РТУТНОЙ КАПЛЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Автобиография

экспромтом, без черновиков, напечатана на машинке с 10 по 15 сентября 1994 г. в Санкт-Петербурге для конкурса автобиографий шестидесятников «Гляжу в себя, как в зеркало эпохи». Вошла в число дипломированных.

Окончание. (Начало см. в Альманахе «До и после» № 19)

Обычная жизнь. Так промелькнули студенческие годы. Они не были лёгкими, как, впрочем, и сейчас совсем не беззаботно живут студенты. Очень «нелегко быть молодым», и следовало бы любым властям думать о тех, из кого получается народ – о детях, о юных, о начинающих.

Пришлось мне закончить ЛПИ, уповая на будущую возможность приобрести другое образование. Я защитила диплом 8 февраля 1961 г., а 9 февраля (!) вышло Инструктивное письмо Минвуза СССР № И-11, которое практически всех, за исключением военных и больных, лишало права поступления во второй ВУЗ даже после отработки обязательных трёх лет за первый. К тому же, на моё несчастье, проектный институт, в котором я смогла бы сразу начать интересную и полезную работу по теме своего диплома, опоздал с заявкой в Москву на молодых специалистов, и меня отдали, наподобие крепостной, в НИИ, откуда заявка была подана своевременно, но где я была совершенно не нужна. Отпустить же меня не пожелали, чтобы НИИ не был обвинён в зряшной заявке. Несколько месяцев меня использовали на совершенно идиотской работе – я обрезала края фотографий и наклеивала их в толстый отчёт, выпущенный в десятках ненужных экземпляров.

Я страшно тосковала и мучилась бессмысленной отсидкой беско-

нечных часов от звонка до звонка. Наконец, мне дали инженерную расчётную работу, которую я выполнила за три дня, за что мой наставник упрекнул меня, указав, что у них принято такой расчёт делать не менее месяца. Короче, как тогда говорили: «Трудно только первые тридцать лет, а после привыкнешь». Я работаю в этом НИИ тридцать три года, но так и не смогла привыкнуть к бесчисленным нелепостям, характерным для советской отраслевой науки. Конечно, нелепости множились не только в этой области, но эту я знаю на личном опыте.

Итак, я была официально зачислена в штат на должность конструктора 2-й категории 4-го апреля 1961 г., а 12 апреля свершился первый шаг землян в Космос. Никакая военизированная охрана не смогла удерживать меня на работе. Я пулей пролетела через проходную, едва услышав сообщение по радио. Уже не помню, как добралась до Невского, забитого ликующими людьми. Поначалу как-то удавалось улыбающимся милиционерам проводить за собой троллейбусы и автобусы, уговаривая граждан расступиться, но вскоре транспорт встал. На его крыши забирались молодые люди, на их спинах мелом было написано по одной большой букве, они брались за руки и образовывали замечательную, живую надпись: «Г-А-Г-А-Р-И-Н». Некоторые шли, вздымая над головой носовые платки с надписями: «Ура!», «Мы первые!», «Я – следующий!»

Впервые в жизни стала я свидетелем абсолютно несанкционированной, стихийной демонстрации. Все стекались на Дворцовую, где уже появились импровизированные эстрады на грузовиках с откинутыми бортами. На одном из них пели несусветные частушки: «Мы в аптеке дуст купили, сыпали – старались, всех соседей отравили, а клопы остались». Но им добродушно прощали неподходящую к случаю тематику и даже аплодировали. Народу всё прибывало, и нас стали вытеснять в сторону Невы. Меня зажал в плотной массе людей, кто-то закричал от боли, я поняла, что меня раздавят, или, если упаду – растопчут. Непонятно, откуда взялись силы, но я протиснулась к парапету у Эрмитажа, и меня вытянули на него за руки дюжие ребята.

Пережитый страх не умерил моего восторга от великого свершения. В тот же вечер я написала поэму о суровом Землянине, в огне и грохоте ракетных дюз опустившемся на планету близ Веги, и о прекрасной Вежанке, отдавшей ему свое сердце «теперь, когда она узнала всю силу страсти и металла...» На следующий день, на работе я заключила пари на бутылку коньяка (так потребовали спорщики), заявив, что до 1971 года нога человека коснётся Луны. Все газеты и журналы были полны разнообразными сведениями о Космосе. Через месяц - другой я услышала, как один инженер назвал Солнце планетой. Тогда я провела опрос сотрудников, сколько планет в Солнечной системе? Основным ответом

был такой: три планеты – Земля, Луна и Солнце. Когда же я спрашивала, что такое звезда, то получала сверхъестественные ответы типа «Это – Большая Медведица»...

А у меня начался «информационный голод». Отупляющая отсидка от звонка до звонка, монотонная, однообразная работа за кульманом толкали меня на поиски новых знаний. Поступила на платные вечерние двухгодичные курсы английского языка при ЛГУ. Они размещались позади Смольного вместе с факультетом подготовки студентов из слаборазвитых стран. Через год курсы решили прикрыть. Многолюдное собрание преподавателей и слушателей составило обращение в отдел образования обкома КПСС о сохранении курсов на один год для завершения цикла обучения. На решение оставался один день, поэтому несколько человек, среди них и я, так как жила на Тверской рядом со Смольным, понесли обращение лично. Но на второй этаж, где был нужный отдел, никого из нас не впустили. Тогда я по местному телефону позвонила соответствующему партийному чиновнику и грозно спросила:

– Вы где сидите? Небошь там, где Ленин ходоков из деревень принимал, а вы штыками от народа отгородились!

Такая напористая демагогия немедленно сработала:

– Я распоряджусь выписать пропуск, но только вам одной.

Получив пропуск, я поднялась на второй этаж и вошла в просторный кабинет, где стоял огромный письменный стол. Сидевший за ним партийный чиновник уже потерял интерес ко мне, видимо, выяснив, что я не дочь кого-либо из сильных мира сего. Не дождавшись приглашения, села и положила перед ним «Правду» с недавним Постановлением партии и правительства «Об улучшении изучения иностранных языков»:

– Вы это читали? – постучала я пальцем по заголовку.

– Мы это писали, – язвительно ответил он.

– Значит, одной рукой вы пишете такое Постановление, а другой закрываете языковые курсы? Мы сообщим об этом в ЦК.

– Что же вы нашим же оружием нас бьете! Ну, ладно...

Он набрал номер на «вертушке» прямого провода:

– Партком Университета! – соединение было мгновенным. – Здравствуй. Где у тебя красная тетрадка для наших указаний? Под рукой? Запиши – мы за то, чтобы курсы продолжали работать.

На следующий день мы приступили к занятиям. Однако, зря учила я тогда разговорный английский. Все попытки непосредственного общения с иностранцами пресекались «людьми в штатском», письма не доходили, как, впрочем, и сейчас не доходят до Петербурга многие письма из Америки.

Затем поступила я на философский факультет двухгодичного Университета марксизма-ленинизма, где занятия велись вечерами, дважды в неделю, профессорами и доцентами из ЛГУ. Вопреки идеологической выдержанности лекций и семинаров, курируемых горкомом партии, стала выявляться для меня совершенно новая картина эволюции сложных систем, объединяющая общими закономерностями природные и социальные системы. Размышления об этом всё чаще занимали меня, я стала читать серьёзные работы, в их числе и запретного прежде Норберта Винера – «пособника империалистов», кибернетика.

Личная жизнь моя не задалась. Человек, которого я полюбила, женился на другой. Меня тоже прочили за другого, любившего, судя по всему, меня. Уже потихоньку готовились к свадьбе – маме удалось даже купить несколько глубоких тарелок, которых у нас вечно не хватало. Но я была не в состоянии согласиться на замужество без любви. Приятельницы настойчиво рекомендовали: «Сходи замуж, не понравится – разведёшься». Но меня тошнило от такого цинизма. Не могла я предать свою любовь и обмануть любовь ко мне хорошего человека...

Под разработки нашего НИИ был выстроен большой завод в Вильнюсе. Я часто бывала там в командировках. Вообще, всегда Прибалтика была близка и любима. Силуэты старого Таллинна, башенки Риги, озёрный край у Зарасая – милые воспоминания молодости. Но в Вильнюсе, где довелось бывать неоднократно, чувствовалась уже какая-то напряжённость. Вдруг, во время деловой встречи, наши литовские партнёры переходили на свой язык, настороженно поглядывая на нас. Или в дружеской личной беседе зло критиковали политику Москвы. Но и в страшном сне нельзя было представить, во что выльется в будущем эта неприязнь, скрытое недовольство, как жутко нам будет смотреть на экраны телевидения, где показывалась трагедия на таких знакомых улицах Вильнюса...

В эти годы начались многие явления, которые впоследствии привели к размыванию догматических установлений идеологии тоталитарного государства, да и самого этого государства, в конечном счете.

Проходили процессы над диссидентами. Когда судили Иосифа Бродского за тунеядство, он представил документы о том, сколько зарабатывал в месяц своим литературным трудом. Судьёй было сказано, что все понимают – на такие деньги прожить нельзя. Моя тётя, смотрительница зала в музее, имела в месяц меньшую зарплату. Получалось, что всех зрителей музейных залов надо упечь в лагерь за тунеядство, как это сделали с Бродским. Но «логика здесь ни при чём». Судили Даниэля и Синявского. В спектакле БДТ «Правду, ничего кроме правды» закованный в колодки у позорного столба человек громко возглашал:

«Я – Даниэль» и замолкал. Мы, зрители, нервно оглядывались, не стоят ли рядом люди из КГБ. После напряжённой паузы он продолжал: «... Дефо!» В ряду блистательных спектаклей БДТ особым был чёрный алмаз – «Карьера Артура Уи»...

Людей стали принудительно высылать за пределы Союза. Появились «выдворяне», как их остроумно называли. Выдворили и Солженицына, едва мы успели насладиться его публикацией в «Новом мире», пробившем в печать «Один день Ивана Денисовича». По рукам начал ходить самиздат. Под угрозой больших неприятностей мы всё же читали эти запрещённые книги. Журнальный вариант романа Булгакова «Мастер и Маргарита», вышедший Париже и скопированный на ксероксе, стал привычным атрибутом культурного дома вместе с гипсовой копией головы Нефертити. Последовали более страшные публикации самиздата, например, «Архипелаг ГУЛАГ». Аркадий Райкин заговорил с эстрады о таких маленьких недостатках – незаметных штучках, которые разъедают всё вокруг, ну совсем маленьких, «как туберкулёзные палочки». Евреи, осмеливавшиеся подать заявление на выезд из страны, сурово осуждались по месту работы и высылались, лишаясь даже орденов, полученных в боях Великой Отечественной... Всего не упомянуть. Среди диссидентов оказались и знакомые мне художники. Они стали покидать страну, а я беспомощно вопрошала их: «Но вдруг кровоточить там станут раны / бездомной памяти, и до скончания дней / тревожить будет боль обрывков рваных / в земле Отечества оставшихся корней?»

Развернулось жилищно-кооперативное строительство. Я стала умолять отца, чтобы он «построил» для себя, мамы и моей сестры двухкомнатную квартиру, а мне оставил комнату в коммуналке, где все мы жили. Он отрезал: «От трудов праведных не наживёшь палат каменных» и отказал. Тогда я затянула поясок и стала копить деньги из своих 110 рублей ежемесячной зарплаты. Суровые навыки материально ограниченной жизни и подарок мамы – 300 рублей, помогли мне за пару лет собрать 800 рублей. Правда, я совершенно обносилась, хотя и умела перешивать старые вещи, но, признав ещё 300 рублей, я сумела внести первый взнос за однокомнатную квартиру в ЖСК (жилищно-строительном кооперативе) – в блочном доме на Пискаревском проспекте. Какое неповторимое ощущение испытала я, войдя в СВОЮ КВАРТИРУ! Сначала у меня были только стол-книжка и табуретки на кухне, да радиолы и матрас на полу в комнате, но я *вырвалась* из противоестественного прозябания вчетвером в одной небольшой комнате, избавилась от унижительного сосуществования в тесной коммуналке с ещё двумя семьями. Для меня это стало первым шагом к обретению свободы.

Свободную жизнь мы, отгороженные от мира «железным занаве-

сом», плохо представляли себе. Радиопередачи из-за рубежа старательно глушились. Мы припадали к радиоприёмникам, впитывая каждую просочившуюся каплю информации. Этих капель становилось всё больше, они сливались в ручейки, стекавшие в иссохший котлован, вырытый усилиями большевиков – поразительный по точности образ, гениально найденный Платоновым. Ручейки подмывали преграду, и она рухнула в пустоту котлована. Мировой информационный океан постепенно заполнит впадину, надо лишь суметь не захлебнуться, не дать обломкам стены придавить себя, не принять грязь и пену водоворотов за чистый источник правдивой информации. Но это всё впереди, я снова нарушила ход событий.

Возвращаюсь к своей личной жизни. Не миновала я всё же близости с любимым человеком, и так как в его семье детей всё не было, я позволила себе, вопреки запрету, родить от него сына. Он родился в 1969 году, в день, когда нога человека коснулась Луны – я таки выиграла пари восьмилетней давности! Познала я многие «прелести» нашей медицины – и женских консультаций, и роддомов, и общих и детских поликлиник, и больниц. Жаль, что Илья Штемлер не женщина, а то имели бы еще один захватывающий «производственный роман». И всё же я ни разу не пожалела, что стала матерью. Если бы мне суждена была полная семья, то я имела бы двоих или троих детей, но «бодливой корове бог рог не даёт», и у меня один свет в окне – мой чудесный сын. Со временем узнала, что одиноких матерей много не только в Союзе, но и в Европе, и в Америке. Конечно, растить ребёнка одной труднее, чем в полной семье, но счастье материнства недаром так называется. Мне радостно, что в карточке, которую заполняли на меня медики, было написано: «Ребёнок желанный». Это действительно так!

Я росла духовно вместе с сыном, каждый свой отпуск проводила с ним. Мы много путешествовали: Крым, Кавказ, Белоруссия, Прибалтийские республики, Одесса. Особенным был отдых на теплоходе по маршруту Ленинград – Астрахань – Ленинград. Там я научила девятилетнего сына вести дневниковые записи, мы увидели столько красоты, надышались Волгой, впитали печальную прелесть Ипатьевского монастыря... Но было обидно видеть безнадежную пустоту продовольственных магазинов всех городов Поволжья. Я твердо знаю, что летом 1978 года ни в одном из них не было в открытой продаже такого продукта, как сливочное масло. Безграничная, неизмеримо богатая страна – и постоянный дефицит еды, жилья, гражданских прав, свободы...

Мой мальчик рос, а мальчики постарше воевали в Афганистане. Мы почти ничего не знали об этой войне. Однажды на Южном кладбище я увидела десятки могил, с каменных стел которых смотрели красивые

лица молодых людей. Даты рождения и смерти их были почти одинаковы. «Что это за эпидемия, – подумала я, – которая поражает лишь молодых мужчин?» И вдруг поняла – АФГАНИСТАН! Ужас охватил меня.

Но об этом чуть позже. Пока же, в 1972 году мне посчастливилось сменить тяготившую меня профессию. Одиннадцать лет я не оставляла попыток избавиться от унылой работы в КБ, тем более, что считала себя довольно посредственным конструктором. Хотелось мне также найти работу ближе к дому для того, чтобы больше времени проводить с сыном, а не в транспорте. В мою старую записную книжку занесены более десятка организаций, куда я обращалась, по объявлениям или по знакомству, с просьбой принять на работу. Рассказывали, что в отношении евреев у начальников отделов кадров была негласная установка сверху, под названием «Три НЕ»: «НЕ повышать, НЕ увольнять, НЕ нанимать». Со мною это именно так и было. Мне говорили, что я очень подхожу на вакансию, просили поскорее прийти. Руководители отделов, куда я должна была поступить, были довольны моей квалификацией и опытом работы, но как только кадровик брал в руки мой паспорт, предназначенное мне рабочее место... мгновенно испарялось. Под конец, чтобы каждый раз не отпрашиваться зря с работы, я по завершении успешного телефонного разговора стала сообщать: «У меня пятый пункт». Кадровики, только что с нетерпением ожидавшие меня на пустующую вакансию, тут же отвечали, что беспокоиться не стоит, что они уже нашли кого-то на это место.

Хотела я уже пойти в уборщицы, что, впрочем, тоже было почти невозможно для лица с высшим образованием, но тут в нашем НИИ обезлюдел Отдел научно-технической информации и патентно-лицензионной работы. Подчинялся он тому же заместителю директора, что и КБ, поэтому тот не стал противиться моему переходу на другое рабочее место, хотя раньше категорически отказывался отпускать меня из КБ в какую-нибудь лабораторию, где я смогла бы подготовить диссертацию.

Один из моих бывших начальников сказал, что я попала на это место, «как шар в лузу», настолько точно соответствовала работа патентоведа моим желаниям, и настолько полно соответствовали этой работе мои знания и склонности. Здесь было живое общение с неординарными людьми, которым я помогала выявлять и оформлять в виде заявок на изобретения созданные ими новейшие технические решения. Здесь оказались востребованными и высшее техническое образование, и опыт работы в КБ, и наследственная склонность к юриспруденции. Я буквально ожила, уже не стремилась уволиться, а напротив – стала искать возможность сменить жильё ближе к работе.

В это время не выдержали пытки жизнью в коммуналке нервы моей

мамы, и она сказала, что выбросится из окна нашей комнаты на шестом этаже. Психологические испытания, которые вынуждены терпеть скученные в тесном пространстве абсолютно чуждые друг другу люди, смог бы достоверно живописать только мастер масштаба Достоевского. Не хочу говорить о склоках и пакостях, приведу комическую историйку. К одной из соседских семей никогда не приходили гости, но однажды хозяйка затеяла большой приём и испекла пирог, на котором красовалась надпись из теста: «Слава КПСС!». Гости быстро всю эту славу съели. Кто же были эти гости, если для них пекли такой пирог? А вот трагическая история: в том же доме, надеюсь, в отдельной квартире, жил известный дирижёр Мравинский. Как-то, идя к родителям, я издали увидела под окнами их комнаты скопление людей. Сердце моё сжалось: «Мама выбросилась из окна!» Я подбежала и судорожно выдохнула: «Что ... Что случилось?!» «Жена Мравинского умерла» – ответила какая-то женщина. «Слава Богу!» – вырвалось у меня с облегчением. Только увидав, с каким ужасом посмотрела на меня женщина, я осознала, какие чудовищные слова произнесла, думая о своём...

С великим трудом и с доплатой удалось обменять мою квартиру ЖСК и комнату родителей с сестрой на трёхкомнатную квартиру вблизи нашего довоенного жилья. Сына я стала водить в ясли за БКЗ. Помню день, когда никто не мог попасть в ясли, чтобы забрать детей. Мы метались вдоль сплошной цепи войск МВД, окруживших Концертный зал. Нам ничего не объясняли, просто не пускали. Отцы-работяги матерились, мамы были готовы плакать. Наконец, вынуд паспорт, я показала лейтенанту прописку, мол, живу в оцепленном районе и прошу меня пропустить, чтобы забрать двухлетнего ребенка из яслей. О диво, он меня пропустил! Прибжав в ясли, обнаружила напуганных нянечек, которые не могли взять в толк, почему так долго никто не приходит за детьми. Оказалось, что в БКЗ какое-то торжество, на котором присутствует «сам Романов». Я вывела сына на улицу как раз в тот момент, когда в воздухе благоговейно прошелестело: «Романов идет!» «Где, где?» – спрашивала я, высовываясь из-за плотной генеральской спины. И увидела странно короткого человека со знакомым по киножурналам лицом. Он шёл, с улыбкой протягивая мне руку. Я удивилась, но приготовилась эту руку пожать. Однако пожал её генерал, после чего Романов сел в огромный черный лимузин и уехал, а мы с сыном пробрались сквозь ряды войск к себе домой.

Вскоре после этого мы с сестрой разговаривали в моей комнате, а сыночек играл на полу с кубиками. Сестра толкнула меня: «Слушай, что он говорит». Я прислушалась. Каждый раз, ставя кубик на кубик, он приговаривал: «Слава КПСС! Слава КПСС!» Я спросила у него, что это значит, а он пожал плечами: «Не знаю, нам нянечка велела так говорить». Через

минуту он попросил спеть ему песню «*про девусек и губовь*», которую им нянечка пела. Перебрав множество песен, наконец попала в точку: «Зачем вы, девушки, красивых любите, непостоянная у них любовь». Вспомнилось, что в детстве я пела по-особому: «С песнями *борясей* побеждая, наш народ за Сталиным идёт». *Боряси* – это, значит, враги такие, которых побеждают. Или: «Карамболина, Карамболетта, я все *отдам*, лишь только б ты была *мадам*» – у меня всегда было развито чувство рифмы. Поэтому, сколько не сопротивлялась я желанию писать стихи, да и прозу тоже, так как не больно жаловала в молодости «разрешённых к печати» женщин-литераторов, всё же не миновала я этого искушения.

Появились у меня стихи для сына. О них узнали сотрудницы. Их детям стихи эти нравились. Стали требовать, чтобы давала им больше стихов, и спрашивать, что ещё пишу. Постепенно дошло до литературных студий и семинаров. Сперва короткое время занималась в Доме писателей у Виктора Бакинского. Был там высокий и красивый молодой человек – Серёжа. Если он приходил позже меня, то садился рядом, мне кажется из-за того, что все остальные особы женского пола были в него безумно влюблены, и он опасался их. У нас с ним часто оказывалась одинаковая реакция на обсуждаемое. Когда он прочёл пару своих рассказов, я пришла в восторг, сразу поняв, что ему нет равных среди нас, что это настоящее. Фамилия у Серёжи была Довлатов. Мне помнится, что подвизался он, вроде бы, в журнале «Аврора», отвечая на письма в редакцию, но его не публиковали. Наконец, я увидела напечатанным его крохотный рассказик, вернее, какой-то обрубок рассказа, из которого было вырезано всё лучшее. На занятиях я кинулась к нему: «Серёжа, что же это такое?» Он был тёмен лицом и мрачно объяснил, что так специально делают, чтобы не надо было больше печатать «такую бездарь». Я опешила, как такое может быть, но он только рукой махнул: «Сваливать надо отсюда».

Я бросила семинар – некогда мне было, с ребёнком и с целыми рабочими днями. Чтобы иметь хоть немного свободных дней, особенно необходимых для ухода за ребёнком, если он заболел, так как больничный по уходу давали лишь на три дня, а «своего счёта» у меня не было, я стала безвозмездно сдавать кровь в «Дни донора» на работе. По справке давали обед и два оплачиваемых свободных дня. Сдавала много раз, пока мой прекрасный в молодости гемоглобин не снизился до нежелательной величины, съеденный трудной жизнью, ядовитыми выхлопами моторных боксов нашего НИИ и миазмами литейного цеха ближнего завода.

В связи с переходом в патентный отдел я закончила вечерний двухгодичный Институт повышения квалификации в области патентной работы, который после защиты дипломного проекта давал людям с высшим

образованием второй диплом с квалификацией профессионального патентоведца и специалиста по научно-технической информации. Так мне удалось обойти антиконституционное Инструктивное письмо о запрете на второе образование, действие которого отменили как раз тогда, когда я достигла пенсионного возраста, не раньше и не позже!

В институте преподавали такие великолепные специалисты, как Иосиф Эммануилович Мамиофа – профессор, доктор юридических наук. Он открыл нам мир правовых уложений, защищавших интеллектуальную собственность, его лекции были великолепны, его знали во всем Союзе и за рубежом. Кончилось дело тем, что ему, только потому, что он еврей, издевательски предложили должность техника на предприятии «Патент», и он вынужден был эмигрировать в США, где сейчас блистает в одном из университетов Бостона. Просто диву даёшься, как плохо переносят в нашей стране талантливых, выдающихся людей. А так как страну эту населяют народы прекрасные, одарённые, то неординарные люди встречаются в них слишком часто, и при таком отношении к ним наши просторы могут совсем обезлюдеть, не так ли? Надеюсь, что эта шутка останется лишь шуткой.

Но не до шуток всем нам стало, когда рванул Чернобыльский реактор. Утром первого мая сын собирался со школой на демонстрацию, я упрасивала его взять с собой кожаную кепочку на случай дождя. Не взял. Кто-то днём мне позвонил, рассказал о тучах, что шли на нас, тая во чреве радиацию. Эти сведения дошли от знакомых, имевших других знакомых, к которым приехала женщина из Чернобыля. Она раньше работала на атомной станции, кое-что понимала. Обратилась здесь, куда следует. Счётчик радиации безумствовал у её головы. Остригли волосы, но и это не помогло... Пошёл дождь, сын вернулся с мокрыми волосами. Я сказала: «Вот не взял кепку, теперь облысеешь» и объяснила, в чём дело. Он сразу же метнулся в ванную и тщательно вымыл голову.

Власти всех уровней безмолвствовали. Украинское начальство спешно эвакуировало своих близких за пределы Союза, дети простых людей играли в смертоносных песочницах, народ «ликовал» на майских демонстрациях, а в опасную зону гнали молодых солдат, ещё не имевших детей. Так рассказывали мне жители Украины. Почему-то я им верю. В центре Ленинграда, недалеко от Московского вокзала, устроили, как в войну, санпропускник для дезактивации приезжающих. Отец нашего соседа по лестничной площадке, милый человек, у которого незадолго до этого мы гостили в Гомеле, приехал оттуда и рассказал, что сколько ни моют дома, сколько ни срезают земли, всё равно радиация высокая. Вскоре он умер. Позже стало известно о сокрытии первой катастрофы – на Урале, где стали опасными огромные площади ураль-

ской земли. Помнила я всегда о Хиросиме и Нагасаки, ведь жила на Сахалине, почти в Японии. Земной шар сжимался в беззащитный тёплый колобок перед хищными зубами ядерной опасности, да и вообще – перед экологической катастрофой. Люди учились мыслить глобально.

В январе 1983 года я чуть не попала под трамвай. Первой моей мыслью было, что вот, я могу умереть, и никто не узнает о моей идее – новой философско-геометрической схеме эволюции сложных систем и модели Вселенной, которая сформировалась (идея, а не Вселенная) в результате моих философских занятий. Моя умница-приятельница Вера Николаевна Афросимова уговорила меня заявить изобретение. Уже 15 февраля 1983-го, я подала заявку на «Учебный прибор». Не желая наступать на «идеологические мозоли», ограничилась лишь философскими закономерностями и естественнонаучными представлениями, ни словом не коснувшись развития общества. Но «там» поняли, что по моей схеме общество может регрессировать и даже коллапсировать, поэтому отказали в выдаче охранного документа. Лишь перестройка сломала барьеры старых догм, и мне выдали патент России № 2000609, которым я очень горжусь. Он выдан через *десять лет* после заявки, в 1993 году. Это были 10 лет, «которые потрясли мир» – столько тектонических событий, в буквальном и в переносном смыслах, случилось за это десятилетие, изменив жизнь всей планеты.

К этому же периоду относится появление моих литературных публикаций. Не стану здесь говорить о них. Следовало бы писать биографии интеллектов, их жизни, а не только факты жизни внешней. Думаю, что внутренняя жизнь интеллигентов-шестидесятников зачастую гораздо ярче и трагичнее их бытовой жизни.

Сын закончил школу с углублённым изучением французского в 1986 году, получив золотую медаль. Параллельно он с отличием завершил обучение на экспериментальном отделении музыкальной школы по классу классической гитары. Стал дипломантом X-го конкурса юных исполнителей им. Андреева. На счастье, в музыкальной школе он овладел и духовым инструментом. Об этом чуть ниже. Не зная, кем он хочет быть и не желая закрыть себе путь к другой профессии, как это было со мной, он, выдержав большой конкурс, поступил пока в среднее музыкальное училище им. Мусоргского. Педагоги считали его одарённым музыкантом, был он отличником и в училище, но закончить его не довелось. Год рождения сына – 1969-й – оказался годом *абсолютного минимума рождаемости* по Советскому Союзу. Кроме того, здоровье молодёжи призывного возраста было никудышным, поэтому в армию забирали всех, кто не был тяжёлым инвалидом, даже бывших заключённых и студентов вузов, включая Военмех. Сын был признан «год-

ным без ограничений» и пошёл в армию исполнять свой гражданский долг. Я осталась без его физической и моральной поддержки, тяжело больная бронхиальной астмой. Не имея сил даже проводить сына до пункта сбора призывников, я задыхалась в сильном приступе и сипела: «Верните мне сына! Верните...» Целых десять дней не знала я, где он. В военкомате сказали: «Что вы плачете, не на войну же его послали. Мы запрашиваем о месте службы не раньше, чем через месяц после призыва». На 11-й день я получил сразу шесть писем, равнодушно задержанных в воинской части. А он писал мне почти каждый день, зная, как я волнуюсь. Оказалось, что он рядом, в Сертоловском учебном полку – будущий водитель-механик танка. Не стану описывать весь кошмар нашей армии в последние годы существования СССР. Это уже больше относится к страницам биографий наших сыновей, но за два года армейской службы сына постарела я на десять лет.

Один из одноклассников сына погиб в Афганистане через 4 месяца службы. Отпевали его в Никольском соборе. Гроб не открывали. Иностранцы, увидев военную фуражку на крышке гроба, произносили: «Эф-гэнистэн». Богомольная старушка спросила у меня: «Сколько лет отроку?». Услышав, что 19, запричитала: «Дитё убили, сгубили дитё!» Я и сейчас не могу удержать слёз, когда вспоминаю это. Сына спасла от Афганистана музыка – умение играть на духовых инструментах. Его взяли в оркестр, который послали под Архангельск в составе новой дорожно-строительной бригады. Силами армии тогда пытались решать самые неподъёмные проблемы, в их числе и вечную проблему российского бездорожья.

После похорон павшего в Афганистане мальчика я больше не могла выдержать и поехала на Север, к сыну. То, что увидела и узнала я, навещая сына в Сертолово и в той дорожно-строительной части, я бы хотела рассказать лично министру обороны Язову. Добавила бы ещё один эпизод о том, как повесился сын сотрудницы нашего НИИ, не вынеся службы в Москве, в строительной части. Его вовремя вынули из петли, но что с того? Разве не калека он на всю жизнь? Мать добилась его комиссования и увезла за границу навсегда. Если бы я судила Язова и должна была назначить ему наказание, то предложила бы выбор: тюрьма или ежедневное выслушивание личных рассказов матерей, чьи сыновья служили в СА в бытность его военным министром. Возможно, что он выбрал бы тюрьму до скончания своих дней.

Считаю чудом, что мой сын не только остался жив, но и не сломался нравственно, и буду вечно благодарна судьбе за это чудо. Его спасению способствовала не только музыка, но и стойкость духа, которую дает лишь развитый интеллект. В самоволку он шёл в библиотеку городка и конспектировал Тейяра де Шардена. Из армии он вернулся человеком,

понявшим, что жить в такой стране – безнадёжно. Когда представилась возможность уехать, он без колебаний ею воспользовался.

Благодаря сыну довелось мне посетить Швейцарию. Мы побывали с ним в этой особенной стране в дни, когда она праздновала свое 700-летие, и присутствовали как гости мэра небольшого городка на торжестве в горах. Видели праздничный фейерверк над водами Женевского озера, любовались Лозанной... Возвращалась я поездом через Германию и Польшу. На границу СССР поезд прибыл утром 19 августа 1991 г., в день путча. Радиотрансляция молчала. В соседнем купе у американцев был приёмник. Проводник раздобыл длинную проволоку, кто-то закрепил её на крыше вагона как антенну. «Глушилки» работали на полную мощность, но удалось кое-что расслышать на английском языке. Все, даже те, кто не знал английского, разобрали фамилии членов ГКЧП и поняли, что на улицах Москвы танки. На платформе через один путь от нас стояла очередь беженцев из Белоруссии с детьми и чемоданами, ожидая таможенного досмотра. Мы кричали им из окон поезда: «Что в Союзе?», но они молча отворачивались.

Многие пассажиры нашего состава спешно собрали вещи и кинулись на выход, но там стояли польские пограничники. Однако некие суммы в валюте быстро взламывали границу, и почти все покинули поезд. Они не пожелали возвращаться в прошлое. В нашем вагоне остались возбуждённые событиями американцы, растерянная юная немочка, которой я пообещала, что доставлю её в «дойче консулат» в Ленинграде, и я. Уходя, попутчики оставили мне номера телефонов, прося сообщить, что они задерживаются. Проводники скатали и убрали на верхние полки матрасы с опустевших мест. Я наплакалась и уснула. Разбудил меня крик таможенницы: «Вы что здесь спите!» Я спросонья удивилась: «А что, спать теперь не разрешается?» Она быстро и нервно осмотрела мои вещи. Наши пограничники приказали мне выйти из купе и стали штыками прокалывать свёрнутые матрасы. Было тоскливо и страшно.

Заработала в пути радиотрансляция. Бесстрастный голос обещал гражданам от имени ГКЧП по три сотки земли, но становилось ясно, что возможен такой оборот дела, когда многим можно будет обойтись гораздо меньшей площадью для могилы на каждого. В Белоруссии наш поезд осадили жаждущие добраться до Ленинграда. Проводники неплохо подзаработали на этом. В моё купе посадили поляков – мать со взрослым сыном. Он лёг спать, а она, слушая радио, так как понимала по-русски, приговаривала: «Ой, пвохо-пвохо...» Я с тревогой думала о больном старом отце, ожидавшем меня, и о том, что вряд ли теперь увижу моего сыночка, поступившего в Свободный университет Западного Берлина. От полного отчаяния ограждала меня странная уверенность,

что путч не продлится более трёх дней. Нутром чуяла я, что народ не согласится на возврат былого.

Ещё не совсем остановился поезд, а проводник уже спрыгнул на перрон Варшавского вокзала: «Что тут, в Питере?» – спросил он железнодорожника. «Собираемся бастовать» – ответил тот. На душе повеселело. Немочку встретили те, к кому она ехала, а меня – брат. Едва поставив дома чемоданы и убедившись, что отец в порядке, я побежала на Невский. Кое-где наклеены были листовки. Люди толпились возле них. Какой-то высокий человек, похожий на бомжа, нечаянно толкнул меня. Он долго вежливо извинялся и попросил всех расступиться, пропустить меня ближе к воззванию, так как «гражданочке не видно». Пропустили. Чувствовалось всеобщее добросердечие друг к другу и небывалое гражданское единение. Я шла к Дворцовой площади и вспоминала похожее чувство давнего апрельского дня 1961 г., в день полёта Гагарина. 30 лет спустя 19 августа 1991 г. в Ленинграде снова пахло весной.

Позже, на работе, мне рассказали, что кое-кто вспомнил о давно не уплаченных партийных взносах, а ещё кое-кто на всякий случай записал фамилии сотрудников, ушедших на митинг протеста... Одноклассник моего сына участвовал в строительстве баррикады у Марининского дворца. «Я тогда впервые почувствовал, что такое настоящая жизнь!» – воскликнул он. А я сказала, что баррикады не только строят, на них еще и сражаются, и гибнут. Но всё время верила, что не будет, не будет гражданской войны.

Вот и подходит к концу мой торопливый и сбивчивый монолог. У меня не было времени изложить всё полно и упорядоченно из-за того, что слишком поздно узнала о проведении конкурса биографий шестидесятников, всего за пять дней до окончания срока подачи материалов. Дело в том, что я месяц провела в Берлине. Мне обязательно хотелось быть там 31 августа нынешнего 1994 года, когда предстояла церемония вывода наших войск.

Трептов парк с мемориалом советским воинам охраняли сотни германских полицейских, а всего их было задействовано в Берлине в тот день три тысячи. Пропускали строго по приглашениям, которых у нас с сыном не было. Мы и еще человек двадцать из бывшего Союза ССР обратились к нашему старшему лейтенанту с просьбой помочь пройти на торжество. Он отвечал, что сделать ничего не может, но всё же сумел помочь, спасибо ему – свой парень! Нас пропустили.

Немногие приглашённые стояли за ограждающими натянутыми верёвками. Вдоль мемориала построены были наши и германские войска, всего 1600 человек. Ельцин и Коль проследовали в нескольких метрах от нас, поднялись по ступеням известного памятника советскому вои-

ну-освободителю, возложили венки. Борис Николаевич говорил свою речь взволнованно, эмоционально. Коль обошёл без особых эмоций. Торжественным маршем проследовали войска, построились лицом к нам, и вдруг, маршируя на месте, наши солдаты запели: «Прощай, Германия, прощай... Встречай нас, Родина, встречай!» Они пели по-русски, затем по-немецки. Но если наши глаза увлажнились, то глаза приглашённых иностранцев (рядом с нами стояли французы) выражали недоумение и встревоженность. Оказалось, что для них марширующие с песней солдаты однозначно ассоциируются с фашистами.

По окончании официальной церемонии мы осмотрели мемориал. Всюду – на белых стелах с барельефами, в траурном зале под памятником, у гигантских склонённых знамён из красного гранита – многочисленные цитаты, под каждой из которых лишь одно имя – *И. Сталин*. Тягостное, мертвящее впечатление оставляет это многократное повторение. Невозможно прочесть и осмыслить тексты цитат. Всё заслоняют лишь эти подписи, гвоздями вколачиваясь в сознание: «*И .Сталин, И. Сталин, И. СТАЛИН!*»

Но как бы то ни было, война с Германией завершена. Товарищи!
ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ! МЫ ПОБЕДИЛИ!

Да, не слушайте тех, кто говорит, будто вывод наших войск – это поражение. Это огромная победа, оценить которую ещё сумеют наши дети. А мы, кто помнит 9 мая 1945 года, ценим её уже сейчас. Не меч есть символ могущества народа: «Оружие дарят правители, в народе подносят хлеб-соль». Это говорит та самая девочка, что впервые осознала себя 22 июня 1941 года,* затем, голодная, но весёлая, встретила великий день 9 мая 1945 года на станции между Европой и Азией, и хочет верить, что распрощалась с войной в Берлине 31 августа 1994 года.

Вот и всё. Остается добавить, что биография моей души уже давно написана мною в стихах. К своему 55-летию из сотен я отобрала несколько десятков, и получилась книжечка «Увидеть рассвет». Последнее стихотворение в ней кончается так: «С годами мягчея душою, / на прошлое знаю ответ: / есть счастье, такое простое – / проснувшись, увидеть рассвет».

15 сентября 1994 года, Санкт-Петербург.

* По странному совпадению, этот материал готовился к печати в июне 2016 года, т.е. ровно 75 лет спустя после нападения гитлеровской Германии на СССР.



**Мина
Полянская**

[215]

**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ:
СОБОР ЛОЗАННСКОЙ
БОГОМАТЕРИ**

Собор Лозаннской Богоматери ещё не дождался своего Виктора Гюго, но может и дожждаться, и создан будет монументальный роман о его тайнах – у готических храмов неторопливый отсчёт времени. Иные достойные соборы ждут своего часа сотни лет, и динамика их славы обладает своим собственным неисповедимым ходом, меж тем как тяжёлый маятник часов качается из стороны в сторону, отбивая неумолимые удары, наперекор превратностям судьбы.

В старину, когда Лозанна была деревянной, и пожары время от времени уничтожали её, город жил напряжённо, стоял на страже в ожидании очередного нашествия огня. Городская традиция настороженной бдительности сохранилась и напоминает в нынешней каменной Лозанне игру взрослых в сказку для детей. Вот уже шесть столетий свершается торжественный ночной дозор, страж – из династии стражей? – поднимается по ступеням Собора, преодолевая 153 ступени, на башню и возвещает ежечасно с десяти вечера до двух часов ночи: «Это ночной смотритель, час пробил». Я полагаю, что крепкие узы связывают стража с собором, а священные стены для него и дом, и родина, и вселенная.

Наш мир переполнен гениями, исполняющими свою ежедневную работу и не подозревающими о своих талантах. Простые люди долбили землю, переворачивали камни, волокли по каменному полу брёвна, роняли тяжести и вот таким будничным образом создавали красоту готических соборов.

Но лютеранство осуждало католическую роскошь, и ринулись на соборы полчища религиозных смут и разорили их. Реформаторы пере-

плавили на монеты даже золотую чудотворную статую Богородицы. Сохранилась, слава Богу, входная дверь собора Лозаннской Богоматери с изображением евангелических сюжетов, а также искусно выполненные скульптуры на консолях в нишах фасада.

А для атмосферы – обратим внимание на гигантское южное окно Розы тринадцатого века – круглый витраж в стене, изображающий средневековое представление о вселенной. Когда солнце врывается в окно, то из стёкол как будто бы высекаются цветные искры, и пылинки кружатся-плутают вокруг Розы, замечая следы Истины. Как говорил мой преподаватель: *«это и в самом деле составляет сущность готики, как художественной идеологии: точнейший расчет и непреременная мистика – союз конечного с бесконечным».*

Для возникших как будто бы во времена средневековья, а может и раньше, розенкрейцеров, именно роза, эмблема древнейших времен, стала цветком посвящения. Братья Розы и Креста жили неприметно, и даже своим близким не раскрывали своей принадлежности к Ордену. После смерти учителя С.Р.С (тайное имя основателя) большинство Братьев, якобы, не имели определенного центра для встреч. Таков один из мифов. Я вполне могу предположить, что в Лозаннском соборе, обладавшем одним из древнейших символов – Розой, розенкрейцеры, испытывая на себе её воздействие, неведомое нам, свершали и поныне свершают свои тайные встречи. Такое допущение без натяжки вписывается в контекст моего рассказа.

Подобно тому, как из любой точки поверхности земли возможно предпринять путешествие к ее центру, устремлюсь и я к избранному мной центру – собору Лозаннской Богоматери.

Мой путь тернист, препятствий – через край. Лишь отблеск истинного хода событий я сумею изложить, поскольку нужно перенестись отнюдь не метафизически из реального двадцатого века в атмосферу чуть ли не средневековья. История, которую я изложу, повисает между мифом, сказкой и рассказом. Я скорее склоняюсь к мифу, который всё же хочу понять и даже объяснить.

О встрече Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) с таинственным господином в соборе Лозанны мне известно из лаконичного свидетельства строгой Аси Тургеневой, первой жены писателя, художницы Анны Алексеевны Тургеневой, ставшей адресатом большинства стихотворений Белого, в том числе и сборника «После разлуки», созданного в Берлине после окончательного разрыва с ней, о чём я сообщила в книге, целиком посвящённой Андрею Белому, писателю, достигшему высшей точки русской литературы.

Я в который раз с изумлением читаю воспоминания Аси, странную смесь фантастики, мистики и религии, о фанатичном строительстве первого антропософского храма Гётеанума – в двухстах километрах от Лозанны в 1913 году. «Всякий, кто оказывался в Дорнахе, – сообщала Ася, – хотел стесать хотя бы несколько щепок». Мне кажется, что я читаю книгу о некоем мистическом христианстве, замешанном на розенкрейцерстве, находящемся за стеной, непроницаемой для времени и внешнего мира.

И вот уже в безвестной раньше швейцарской деревне собралась огромная толпа страждущих из разных стран мира, жаждущих тесать, вырезать, или же хотя бы прикоснуться к строящемуся храму, и вот уже вновь и вновь прибывающим не хватало там места и инструментов, и вот уже, какое счастье, группа Аси удостоилась чести вырезать деревянный архитрав Сатурна, а затем и Марса! И вырезали-тесали ежедневно и лихорадочно до глубокой ночи, суставы болели, рука Аси распухла, но это всё были ничтожные мелочи по сравнению с тем великим будущим, созидателями которого они себя возгласили. Асины воспоминания нагнетали эзотерические чувства, а она ещё и утверждала: «Нас неодолимо влекла какая-то могущественная сила». Ася вращалась в среде, где всё сущее подвергалось анализируванию. Однако, каков он, параллельный, иррациональный мир, которого мы не знаем, и насколько же неистребима идея рока и миссии, возвышающая членов неких объединений над иными смертными! Лидер антропософии Рудольф Штейнер, задумавший создать центр антропософского общества, обратился к духовным и естественнонаучным идеям Гёте, которого назвал отцом новой эстетики, и храм, о котором с таким упоением пишет Ася, заложенный на холме в деревне Дорнах, рядом с Базелем в сентябре тринадцатого года, был назван Гётеанумом. Цель Штейнера – нравственное совершенствование, выявление в человеке (в себе) высшей божественной сущности, а для этого необходимо установить мировое внесловное братство. Здание первого Гётеанума состояло из двух цилиндрических объёмов разного диаметра, перекрытых взаимопроницающими, взаимосвязанными одинаковыми куполами. Два купола отражали двойственность человека – низшее его «я» и высшее.

Белый с Асей Тургеневой покинули, как оказалось, навсегда, Россию накануне Первой мировой войны и поселились в Дорнахе.

«С утра до вечера со стамесками в руках работаем над капителями и архитравом (Johannes bau – деревянный), – писал Андрей Белый, – здание ещё только вырисовывается, но – что за форма! Это действительно небывалый, воистину новый, воистину оригинальный стиль (не стиль-модерн); если можно сравнить, так это с Софией (Константинополь)».

Наш поэт числился вахтёром, совершал ночной дозор и даже обладал «почётным» прозвищем «вахтёр Бугаев» (антропософы с равнодушием отнеслись к литературным делам Белого, одного из самых известных писателей России).

Мировая война создала атмосферу шовинизма в среде антропософов и напоминала грозную атмосферу межнациональной вражды, созданного Томасом Манном туберкулёзного госпиталя в горах той же Швейцарии в годы той же войны в романе «Волшебная гора». Мечта Штейнера об установлении мирового внесловного братства превращалась в иллюзию. «Один за другим уходили на войну «сильные мужчины». Каждый должен был проститься с другом, с которым здесь он делал общее дело, чтобы воевать с ним как с врагом», – вспоминала Ася Тургенева.

В Дорнахе была слышна канонада эльзасских сражений, земля сотрясалась, окна звенели, ивы трепетали, Андрей Белый писал:

*Помню: перламутровые травы,
Купол ясноглавый, величавый,
Розовые воздухи Эльзаса,
Пушечные взрывы... из Эльзаса,*

*Легкие, лепечущие ивы,
Тёмные, гребенчатые горы,
Синие, огромные разрывы
В синие, огромные просторы.*

Андрей Белый, между тем, завершил в Дорнахе свой великолепный роман «Петербург», где «петербургский период» русской истории осмыслен в контексте судеб мира, в том числе и древних восточных цивилизаций. Публикация «Петербурга» в 1914 году принесла писателю всемирную известность. Он едва ли не первый в мире создал ритмизованный прозаический текст, предвещающий опыты Д. Джойса и О. Хаксли. Он также написал философское исследование «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрениях современников». Когда Андрей Белый навсегда покинул Дорнах (в 1916 году), он оставил архив, ставший впоследствии достоянием архива «Наследие Рудольфа Штейнера» (Rudolf Steiner – Nachlassverwaltung). Он находится и поныне в Дорнахе.

Быть может, в архивной тишине «Rudolf Steiner – Nachlassverwaltung» стареют, желтеют записки Андрея Белого – а они на русском языке! – о Лозаннском соборе и о загадочном господине, с которым он там встретился?

Здесь мне нужно сообщить, забегая вперед, что последующие, после Андрея Белого, ночные стражи Гётеанума не уберегли храм от пожара: таинственные люди сожгли его 31 декабря двадцать второго года.

«В пасмурный, сырой день, – вспоминала Ася, – я спешила после обеда в Гётеанум. Две тёмные фигуры, похожие на химер собора Парижской Богоматери, свесились с парапета террасы возле большого помоста, установленного над южным входом. Собственно говоря, в это время на террасе уже не должно быть ни одного человека, мелькнуло у меня в голове...»

Неужели Ася увидела тогда истинных поджигателей? И храм был подождён, и подобно гигантскому факелу, горел в новогоднюю ночь наступающего двадцать третьего года, а потом ещё и весь день наступившего двадцать третьего года. То было страшное событие: Гётеанум был со всех сторон объят грозным пламенем.

Тяжкие испытания выпали на долю Рудольфа Штейнера, человека, который, по словам Марины Цветаевой, был сам по себе тайной. Какие мысли одолевали его, понимающего знаки и грозные символы иных миров? Мастер внушал своим людям, что каждый из них по своей воле выбирает дорогу служения делу. А вдруг Мастер осознал, что члены общества служат ему с наслаждением людей, сделавших свободный выбор, тогда как это был не свободный выбор, а внушённый им, Мастером? А вдруг такая догадка лишила его опоры жизни, а жить после этого пожарища ему оставалось недолго? Таковы мои домыслы, или догадки, когда вглядываюсь в его портрет – портрет человека старинной красоты, высоколобого, с тёмными, грустными глазами и неожиданно изысканной лепки подбородком с ямочкой посередине, свидетельствующем скорее, не о твёрдости и непреклонности, а о мягкости, доброте, даже уступчивости характера.

Страховая сумма была выплачена, поскольку Штейнер установил, что предохранители были в исправности. Но он вдруг заявил, что сгоревшее Здание строилось силой любви и жертвы и если бы было достроено, то излучало бы мир, а что касается другого, второго, здания, которое будет возведено, то вместе с деньгами этой самой страховки внесена будет человеческая ненависть. Вот такое мрачное до безнадёжности пророчество сделал Штейнер, а после этого продержался в тоске по сгоревшему храму ещё два года, умер 30 марта 1925 года и похоронен (прах развеян по ветру) на территории Гётеанума.

Железобетонный второй Гётеанум, завершённый в двадцать восьмом году, сохранился до наших дней. С витражами, созданными по рисункам Аси Тургеневой. Но познать эти рисунки, осмыслить содержание замысловатых витражей дано не всем. А только посвящённым, и

только тем из нас, кто истово изучал антропософию, ибо на витражах представлен антропософский путь человека к постижению духа и, более того, особый путь духовного в человеке, который может привести его (человека) к духовному во Вселенной.

Вновь отступаю от сказочного приключения Андрея Белого у собора Лозаннской Богоматери, поскольку нет другого пути, чтобы вспомнить о таинственном исчезновении женщины в чёрном летом 1910 года – Анны Рудольфовны Минцловой, друга многих литераторов, в том числе Максимилиана Волошина, Вячеслава Иванова и Андрея Белого.

Минцлова – внучка знаменитого библиографа, старшего хранителя иностранного отдела Императорской библиотеки. Она – сестра не менее знаменитого библиографа и писателя Сергея Рудольфовича Минцлова, автора книг «За мёртвыми душами», «Далёкие дни», «Петербург в 1903 - 1905 годах», «Трапезная эпопея». Принадлежность к такой семье уже придавала весомость тому, что проповедовала фрейлейн фон Минцлова, как называл её Рудольф Штейнер. Анна Рудольфовна перевела несколько работ лидера теософии, а затем антропософии на русский язык, но решив, что переросла своего учителя, отошла от него, намереваясь создать в России общество розенкрейцеров с ведущей ролью в нём Вячеслава Иванова и Андрея Белого. Ася Тургенева в своих воспоминаниях посчитала Минцлову одарённой мощным ясновидением женщиной.

Но русские литераторы засомневались «в подлинности того «братства», которого представительницей являлась она», по выражению Белого, и отказались следовать за ней. Неверие было воспринято ею как знак невыполненной миссии, якобы, возложенной на неё кем-то. Андрей Белый – последний – видел её.

...И запомнилась полная, точно опухшая, Минцлова в «чёрном мешке» с запрокинутой головою, с глазами Блаватской, не то «шарлатанскими», не то гениальными.

Андрей Белый проводил Минцлову на поезд «Москва – Петербург». Она – в поезд села, но в Петербург не приехала. И по сегодняшний день – нет её. Загадка исчезновения Минцловой преследовала Белого всю жизнь:

Единственный случай бесследного исчезновения человека, который, я знаю, живёт до сих пор неизживным вопросом во мне: как возможно, чтобы имеющий столько друзей и знакомых живой человек так бес-

следно исчез, чтобы даже не спрашивали впоследствии: что случилось с Минцловой? (...). Лишь ходили страннейшие шёпоты, что де бросилась в волны она Атлантического океана, что де живёт она в монастыре иезуитов (и называли мне города в Италии, где её будто видели). Верных сведений – не было.

Но присутствует в этом странном деле одна деталь, которую мне хотелось бы выделить, и читателю решать, не поступилась ли я честью, что высветила ЭТУ ДЕТАЛЬ, или же, подобно беловедам, следовало мне её тоже затушевать, или как-то отшутиться, пройти мимо, как это чаще всего и происходит, когда речь идёт о деталях мистической биографии Белого.

Прежде чем исчезнуть, Анна Рудольфовна обещала Белому встречу с посланцами *оттуда*. А для опознания и контакта вручила ему *своё кольцо*. Посланцы при встрече должны были произнести определённые изречения из Евангелия в качестве опознавательных знаков, а проще говоря, пароля. Факты такого рода вполне достойны приключенческого романа и даже пера писателя-интеллектуала типа Хаксли, творчество которого отдалённо напоминает творчество Белого.

Но посланцы ОТТУДА всё не объявлялись, а розенкрейцеры (так говорят!) находят своего избранника самостоятельно, в одностороннем порядке.

Андрей Белый создал стихотворение «Голос прошлого», в котором выразил со всей возможной страстностью свои рыцарские чаяния. Об этой страсти свидетельствует и чудом сохранившаяся старая киноплёнка с собственным его, наполненным невероятной энергией, чтением стихотворения. Он, Белый, во всём чёрном, благородно - красивый, в руке, так что глаз не оторвать, завораживающе поблёскивает круглое стеклышко – от очков ли стеклышко, или тайный знак Братьям по ордену подаёт, или нас из прошлого призывает? Мне сейчас помогут впечатления Цветаевой от увиденного ею в Париже портрета Белого в эмигрантской газете после его смерти в Москве 8 января тридцать четвёртого года: «Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги и т. д. Всё это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз, поэту – послужило. На нас со страницы «Последних новостей» глядит лицо духа с просквожёнными тем светом глазами. На нас – сквозит».

И вслед за Цветаевой, не ссылаясь на «плохость» плёнки, несовершенство кинематографа, недостаточную синхронность звука, я не без робости сообщаю, что лицо поэта с «экрана» также показалось мне лицом духа – «на нас сквозит» – меж тем, как голос его из про-

шлого, просквожённый тем светом, неторопливо, ритмично, властно и призывно читал:

*В веках я спал... Но я ждал,
О, невеста Север моя!
Я встал из подземных зал
Спассти – тебя, тебя!*

*Мы рыцари дальних стран.
Я – рог, гудящий из тьмы.
В сырой, в дождевой туман, –
Несёмся на север мы.*

*На крутые груди коней
Кидается чахлый куст...
Как ливень, потоки дней,
Как бури, глаголы уст!*

*Плащ семицветием звёзд
Слетает в туман с плеча,
Тяжёлый червонный крест –
Рукоять моего меча.*

*Его в пустые края
Вознесла стальная рука.
Секли мечей лезвия –
Не ветер – года, века.*

Поиски поэта встречи с рыцарями – не изощрённая литературная игра, свойственная символистам или романтикам, когда стираются границы искусства и реальности, хотя нельзя исключить, что поэт всё же сочинил эффектный сценарий, в котором на сей раз сам оказался главным действующим лицом.

Минцлова, с её уверениями о том, что она является посланцем неведомых благодетелей человечества, – примета времени, тревожного времени предреволюционной России.

«Этот юный прелестный век», – так писала о России начала века Цветаева. Век, юный и прелестный, отличился поисками раскрепощения личности, приводившими к самым неожиданным результатам. «И всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям, – вспоминал Белый, – чтению эзотерической литературы, мечтам об «ордене».

После исчезновения Минцловой, в том же 1910 году, Тургенева и Белый совершили длительное путешествие: побывали в Италии, Тунисе, Египте, Палестине, а затем отправились в Брюссель, где Ася училась гравюре у Огюста Мишеля Данса (гравёр Огюст Данзе – так у Аси).

Встреча с невидимыми розенкрейцерами могла как будто бы произойти и в Брюсселе. В Брюсселе и затеялись чудеса. Белому и Асе во сне стал являться Рудольф Штейнер или некто похожий на Штейнера. Также некто пасторского вида встречался им в трамвае и на трамвайной остановке, непрерывно и многозначительно глядя на них. Чудеса происходили и в квартире: угольно-чёрная тучка настороженно вдруг останавливалась у окна, стараясь привлечь к себе внимание, раздавался стук в дверь, причём спиритический, поскольку сверху раздавался, а не там, где обыкновенно люди стучат, и прочее в этом роде. Андрей Белый описал эти события в письме к Александру Блоку, который субсидировал поездку молодожёнов в Брюссель (дал Белому в долг 500 рублей).

Из брюссельских событий очевидно стало, что Штейнер зовёт к себе, *и надо ехать*. «Оставив нетронутым наш обед в ресторане, мы ринулись на вокзал, чтобы успеть на поезд, отправляющийся в Кёльн, – вспоминала Ася. – Счастливое время, когда и русские могли ездить по Европе без виз!»

Не без труда удалось попасть на лекции Штейнера, однако – удалось. И всё – на удивление удавалось, как будто на пути к Штейнеру загорался зелёный свет. Тогда как, на самом деле, Штейнер уже наслышан был об Андрее Белом, он получал информацию из России о деятельности всевозможных религиозных и оккультных организаций.

Так или иначе – брюссельские события подтолкнули Белого к антропософии и, как выяснилось, навсегда, ибо Рудольф Штейнер сделался для него альтернативой розенкрейцерам.

Спустя много лет, наглухо запёртый в России, непубликующийся, растоптанный большевистской властью, Андрей Белый с тоской вспоминал о днях минувших, о зарубежных путешествиях, о Берлине. И о Швейцарии, где с любимой женой Асей, предаваясь изощрённым причудам своего времени, коснувшись запретного, совершенствовался, выявляя в себе высшую божественную сущность. И погасла любовь молодожёнов – безвозвратно.

Белый в Советской России мог делиться недозволенными мыслями со второй женой, антропософкой Клавдией Николаевной Васильевой, и с некоторыми антропософами, ушедшими в подполье до разгрома в 1931 году. И летом в Коктебеле с поэтом и художником Максимилианом Волошиным, тоже пережившим период увлечения антропософией и строившим, правда, недолго (расписывал занавес зрительного зала)

первый Гётеанум. Итак, Белый, запертый в России навсегда, остался с портретом Штейнера – над кроватью!

*Внимайте, внимайте...
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!
Зовёт за собою
старик аргонавт,
взывает
трубой.*

[224]

Ди П / 2016

Примечательно, что многие русские мистики облюбовали именно Швейцарию. Так, например, в Локарно-Монти в 1947 году завершил дни свои филолог, мистик, поэт, переводчик, драматург Эллис (Лев Львович Кобылинский), некогда друг Андрея Белого, ценившего Эллиса «за вечность, что в сердце его». Эллис – первый возлюбленный Цветаевой, ему посвятила Марина поэму «Чародей»:

*Из чёрной глубины рояля
Пылают гроздьё алых роз.
– «Я рыцарь Розы и Грааля,
Со мной Христос...*

А красавица художница Маргарита Сабашникова-Волошина (первая жена Максимилиана Волошина), страстная антропософка, не успела в очередной раз пересечь границу Швейцарии, граница закрылась после Первой мировой войны для граждан из Советской России, не присутствовала она на похоронах своего кумира Рудольфа Штейнера. И осталась Маргарита Васильевна служить антропософии в 250 километрах от Дорнаха, в немецком Штутгарте, где написала замечательную книгу воспоминаний «Зелёная змея», там и умерла в 1973 году в девяностолетнем возрасте в доме престарелых. Ася Тургенева в страшные времена надёжно спряталась в *волиебной горе*, а точнее, на холме, который Волошин удачно назвал Ноевым ковчегом. И благополучно продержалась до старости – умерла в 1966 году, пережив Белого на 32 года.

Ну, а Минцлова? Кинулась ли и в самом деле эта дама, по образному выражению Белого, в воды Атлантического океана?

Воспоминания Аси приобретают живописность в моём сознании, переплетаются с другими ассоциациями и становятся ярче и красоч-

Мина Полянская

ней. В своём воображении я спускаюсь к собору, как в чистилище, и неизменно нахожу там любимого поэта, испытывая тревогу за его судьбу. Мне хотелось бы передать всю живую плоть происшедшего, ощутить биение неистовой энергии сцены у собора, которой я не уделила внимания в своей книге об Андрее Белом. Я перенесусь в мистическую атмосферу Средневековья отнюдь не метафизически, не на крыльях фантазии. Тайны параллельных миров, как правило не раскрываются, и мой штурм лишь попытка их раскрытия, лишь видимость активного действия.

Итак, как свидетельствует Ася Тургенева, весной 1915 года из Дорнаха в Лозанну прибыл Андрей Белый и направился к собору. Там к нему подошёл пожилой господин и прочитал по книге те самые, предсказанные Минцловой (!) слова из Евангелия. Господин простился с растерявшимся поэтом и ушёл. Белый подумал было, что возможно это и есть посланец розенкрейцеров и кинулся к Штейнеру – рассказывать. Однако Штейнер, выслушав пылкий рассказ, заключил, что господин к розенкрейцерам не имеет отношения. Фрейлен фон Минцлова, уверял Штейнер, умерла и не могла успокоиться, пока не завершила начатого. Через господина говорила с Белым она, Минцлова. Я так понимаю, что душа Минцловой находилась в оболочке, или теле господина... Или – как?

Но преследует меня видение, а точнее, зрелище, можно даже сказать, представление, но очень зрелищное, поданное мне в контрастных до резкости красках. Я настолько уверовала в то, что увидела (и вижу), что осмелюсь даже для большей убедительности повторить вслед за Мэри Шелли фразу, которой она охарактеризовала своё изощренной фантазии, немислимое для трезвого разума сочинение «Франкенштейн»: «Эта повесть – не бред. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах».

Мартовское утро, солнце светит с удовольствием новизны, и лучи его пронизывают насквозь всю красавицу Лозанну вместе с озером и Савойскими Альпами. По-весеннему тепло, природа потеряла рассудок и прикинулась маем. Входная дверь Собора, та, что в евангелических сюжетах, приоткрыта, я толкнула её, вошла.

Массивны своды древнего Собора, *играет мускулами крестовый лёгкий свод* и – витражи, витражи. Некто другой управляет действием, а я не сценарист, и в предстоящей сцене, а мне известно, что будет – сцена, намечается нетвердость фабулы. Выхожу-выхожу торопливо за пределы кадра. *Чтобы зреньем напитать судьбу развязку.*

Отчего-то потемнело, и я не сразу увидела то, что увидеть надлежа-

ло, но ощутила какую-то манящую неизвестность, принимающую неясные очертания, как это бывает, когда в сумерках видишь силуэт, который можно определить лишь словами: там что-то есть. Но вот вспыхнул спасительный свет – солнечный свет. Началось!

Уже чётко я вижу Андрея Белого – вот он в чёрной крылатке и широкополой чёрной шляпе, напоминающий рыцаря Тогенбурга, поднимается по ступенькам собора, казавшегося серебристым в мартовском потоке солнечного света. А навстречу ему с раскрытой книгой (Евангелие) направляется величественный господин в сером просторном, развеваемом, как парус на ветру – а ветра нет – плаще, благородством внешности и изысканным блеском седины (тоже серебряной) в бороде и на висках, и волосах, гладко зачесанных назад, напоминающий пожилого Шона О, Коннери. Вот господин остановился перед поэтом. Читает ТЕ САМЫЕ евангельские изречения. Мучительно хотелось бы услышать, но – ни звука, как в немом кино, и не дано узнать библейские слова. Мучительно гадаю, может, эти строки из «Нагорной проповеди»: «Многие скажут Мне в тот день: «Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Но – это мои фантазии. Назидательные мысли, с моралью мысли, а этого – нельзя. Там – много фраз, не таких прямолинейных. Господин прочитал изречения, которые – как хочешь, так и понимай: «Вы – соль земли», или «Вы – свет мира». Да, что-то в этом роде и прочитал. После чего простился, изящно наклонив голову, и ушёл, растворился в воздухе навсегда.

А на протяжении ВСТРЕЧИ за углом собора – в чёрном, очень чёрном одеянии, в ореоле рыжих, очень рыжих волос, наклонившись вперёд, прислонившись, вцепившись хваткими пальцами в шершавые стены собора, стояла огромных размеров женщина. Она опасливо выглядывала из-за соборного угла, наблюдала за сценой, и, как в пьесах, спектаклях, подслушивала. Яркие, пышные, спутанные волосы женщины, загорающиеся на солнце огненными бликами, и огромные, выпуклые голубые её глаза, полные азартного, страстного любопытства, *не то «шарлатанские», не то гениальные*, мне хорошо видны.

ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА В КАПРОНОВОЙ ШЛЯПЕ

«Не сотвори себе кумира».
Библейская заповедь

[227]

Вот не покидает меня ощущение, что я видела Калиновку с её «горюхинцами» и энергетическими аномалиями, повлиявшими не только на их сознание, но и на ход Большой истории. Так и стоит у меня перед глазами деревня, утопающая в безбрежном море колыхающихся с серебристой рябью цветов, и как будто вижу дома – по-бредберевски неправдоподобно и картинно зелёные и синие, утопающие в немыслимо ярких полевых цветах, сохранившихся только здесь со времен Екатерины Великой. Но, увы, правда жизни выпорхнула на волю подражанием вымыслу, который почему-то радует сочинителей больше, чем обратный процесс.

В деревне Калиновка прошлым летом произошёл бунт, тот самый – бессмысленный и беспощадный.

Я постараюсь придерживаться хронологии эпизодов, чтобы они выстроились в событийную связь, но буду вынуждена отступить в прошлое, поскольку нет другого пути.

Я впервые услышала о деревне, пограничной с Украиной – всего десять километров их разделяет – лет пятнадцать тому назад от берлинской моей приятельницы Ольги Л.

Ольга – дальняя родственница Никиты Сергеевича Хрущёва. Настолько дальняя, что не существует для такого родства генеалогического термина. Тем не менее, она на удивление похожа на Хрущёва. К тому же, и родилась она в той же деревне, что и Хрущёв – мать приехала в Калиновку на две недели в гости и там её родила.

Деревня Калиновка Хомутовского района Курской области расположена в зоне Курской магнитной аномалии. В небесах над Калиновкой, как в Бермудском треугольнике, отказывали приборы на борту первых советских самолётов. Ольга полагает, что эта аномалия отразилась на жителях деревни, пронизанных какой-то особенной магнетической энергией. Калиновцы, точно братья и сёстры, похожи друг на друга и все вместе взятые – на Хрущёва. А кроме того, они сильно смахивают на жителей села Горюхина: *росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы <...>. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, вытуклыми скулами и дородностью.*

У калиновцев одинаковое выражение глаз, как будто бы и весёлое

и даже с хитрецей, но всё же... не совсем нормальное, наверное, из-за неугасающей улыбки на устах. Рассказы Ольги о родной деревне вызывали в памяти романтика Э. Т. А. Гофмана с его пристрастием к «животному магнетизму», теории, созданной австрийским врачом Францем Месмером об особой энергии живого, способной гипнотически влиять на психику.

Некалиновские родственники Ольги любили подчеркнуть, что она, мол, родилась в Калиновке, а стало быть – «другая». Например, Ольга не может носить электронных часов, электронные будильники останавливаются при её появлении, а компьютеры, разумеется, замирают.

Весной 1997 года наш берлинский друг, писатель Ф. Г., познакомился с Ольгой и, выслушав странные рассказы о Калиновке, назначил Ольгу, несмотря на её протесты, внучатой племянницей бывшего главы страны, и, таким образом, сама того не подозревая, она оказалась втянутой в очередную литературную игру писателя, поскольку Хрущёв – персонаж главного его романа, детища его. Сам глава государства на страницах романа ни разу не появляется, а остается за кулисами, или смотрит весело из портретной рамы. В домах реабилитированных жертв сталинизма красуются его портреты – *«в капроновой шляпе и рубашке, с широкой улыбкой на жирном крестьянском лице любителя простой и обильной пищи»*. Личностью Хрущёва буквально пронизан преогромный роман, повсюду о нём говорят – на кухоньках, на вокзалах, в поездах, троллейбусах и трамваях:

– А анекдот слышали? – сказала толстуха с янтарными бусами, и, ещё не успев рассказать анекдот, она затрясла жирным своим бюстом. – Хрущёва, значит, возле мавзолея поймали: с раскладушкой туда пробирался... А то ещё один: как найти шахту, где Хрущёв в молодости работал...

– Да какой он там шахтёр, – махнул рукой старичок, – помещик он... Из помещиков... Хотите коммунизм, говорит... Вот вам коммунизм... Вот вам голодуха...

Ольга не подозревала ещё, что в глазах Ф. Г. ей доведётся нести личную ответственность за поступки и деяния давно ушедшего из жизни Никиты Сергеевича. Время от времени в её берлинской квартире раздавался звонок – на проводе был наш писатель с очередными претензиями по поводу событий более чем тридцатилетней давности: говорил, например, что не простит перестроенного в эпоху «оттепели»

Арбата. Узнав о том, что памятник работы Эрнста Неизвестного на могиле Хрущёва на Новодевичьем кладбище разрушается – на нём появилась трещина! – он потребовал, чтобы Ольга восстановила памятник: «Стыдно жалеть каких-нибудь пару тысяч марок, когда разрушаются памятники!»

Рассказы Ольги о Калиновке органично вписывались в созданный писателем противоречивый образ «Любушки-России». Быть может, и в самом деле магнитная аномалия виновна в скудости и убожестве Калиновки? Или же магнитная аномалия – метафора, не поддающаяся объяснению?

В одной повести Ф.Г. в приволжском городке герой случайно заходит в столовую под названием «Блинная». Грязная и прокуренная, она напомнила ему записки некоего серба-путешественника, потрясённого когда-то атмосферой русского трактира, «где из века в век сидят люди мелкого счастья, лакомы на питё, где место и посуда свиного гнуснее». Однако рассказчика обескураживает не пошлость заведения, а отсутствие логики, аномалия происходящего. В таком притоне должно отгаливать абсолютно всё, в том числе и качество блюд. Однако фирменное блюдо «Блинной» превзошло всякие ожидания. В лучших ресторанах не ел герой таких, обжариваемых до румяной корочки, блинчиков с тающими во рту фаршем из рубленых варёных яиц, риса и мяса. Рассказчик вопрошает: «Зачем жарили здесь эти блинчики? Зачем их подавали на заплёванные столы или на смрадные вонючие скатёрки. А если и подавали, то отчего не вымыли помещение, не постелили хрустящие белоснежные скатерти, на которых таким блинчикам место? В этих чудесных блинчиках на грязных скатертях была какая-то Достоевщина, какой-то Гоголевский шарж, какая-то Тютчевская невозможность понять Россию».

Здесь явно напрашивается сравнение с противоречивой Калиновкой. С незапамятных времён Горюхино... оговорилась – Калиновка! – *славилась своим плодородием и благодарственным климатом*. Вот, например, Курский чернозём! Он – самый плодородный в мире. Однако это обстоятельство, долженствующее как будто бы и содействовать процветанию и благоденствию, повлияло на калиновцев гораздо меньше, чем магнитная аномалия, сказавшаяся не только на их сознании, но и на ходе истории (стук ботинком во время выступления в ООН, Карибский кризис – курско-бермудский треугольник). Стоят скособоленные деревянные избы, окрашенные в давно выцветшие голубой и зелёный цвета.

А рядом, совсем рядом, торжествует неземной красотой заповедная Стрелецкая степь, островок первозданности, которая не запахивалась со

времен Екатерины II. Миллионы трав уничтожил человек, а Стрелецкая степь осталась. И до синего горизонта в середине лета рассыпаны крупные, намагниченные полевые цветы всех цветов радуги. И особенно здесь много ромашек, маков, солнечных володушек и волчегодника лилового цвета. И растут цветы у дорог, проникают и в Калиновку (а маки алые – так целыми оазисами!), их там видимо-невидимо у заборов, во дворах, у курятников и свинарников, и куда ни кинь взор, рвётся с фантастической энергией из земли ликующая красота.

И можете себе представить такое положение? Рядом с красотой – примитивный быт Калиновки, следствие, на мой взгляд, всё же в первую очередь магнитной аномалии, повлиявшей на исторические процессы. А вот, кстати, ещё одно противоречие, напоминающее о чудесных блинчиках на грязных скатертях в повести нашего писателя: хотя и льётся самогон рекой, а в избах царит нищета, здесь еженедельно, всей деревней направлялись в баню. Личная гигиена соблюдалась и соблюдается неукоснительно.

И свято в нашей деревне оберегалась чистота традиции: мебель и другие предметы в жилищах десятилетиями не сдвигались и не снимались со своих мест, на стенах висели фотографии из давно ушедшей, другой жизни и открытки из прошлых времён, а в углу – икона, которая почему-то не убиралась не только в сталинские, но и в хрущёвские антиклерикальные времена, прославившиеся невиданных масштабов погромами церквей, а на стене – портрет Хрущёва, благодетеля и гордости деревни, посетившего её однажды, что и было запечатлено на обложке журнала «Огонёк»: на центральной площади девочка вручала ему цветы. (Кстати, именно эта хорошенькая девочка станет впоследствии главарём – сказывалась порода! – деревенского бунта). И номер засиженного мухами «Огонька» – на обложке Хрущёв, окружённый радостной толпой односельчан, принимающий букет от девочки, – приколотый гвоздём, висел в каждом доме между портретом Хрущёва и семейными фотографиями.

А мы для надвигающегося неизбежного конфликта должны представить себе (выдвинуть на передний план своего сознания) два главных предмета декорации обиталищ: икону и портрет погромщика икон. Стало быть, в углу у нас икона, в центре – портрет. В капроновой шляпе. Вы конечно же помните эпохальный лозунг человека на портрете: «Коммунизм – это химизация всей страны». Отсюда и шляпа.

Нашего писателя уже двенадцать лет не было в живых, когда Ольга вдруг позвонила мне и гневно сообщила, что летом четырнадцатого года в Калиновке произошёл русский бунт против Хрущёва за отдачу

в пятьдесят четвёртом году Крымской области Украине. Претензий к девяносто первому, когда Крым уже совсем отъехал, у калиновцев не было, поскольку с девяносто первым пускай себе разбираются жители Буткинского района Уральской области деревни Бутка – гнезда, из которого выпорхнул другой птенец, ставший впоследствии бесшабашным, и тоже, кстати, на удивление весёлым, первым российским президентом. Ольга требовала, чтобы я о деревенском позоре написала. Я отнекивалась, говорила, что достаточно написала (целую главу!) о ней и её деревне в книге о писателе Ф.Г., но Ольга, политически накалённая, как и вся её деревня, породившая некогда вождя-феномена, требовала, чтобы я переписала текст, ибо это – мой долг и моя честь. Как верно заметил один мыслитель, никто не знает целого, «всякая версия состоит из оторванного клочка». Утрата единства мстит, злорадствуя в каждой частности. Полагаю, что мне, частному человеку, не следует расслаблять себя такими фатальными понятиями как «логика истории» и её «закономерности», или же другими утешениями, которые предлагают нам философы истории. Я решила переписать главу о Калиновке, предложить мою версию «оторванного клочка» насколько возможно искренне и даже исповедально. К тому же, я и в самом деле была захвачена историзмом момента, а, кроме того, поскольку я после смерти писателя уделила в книге о нём Калиновке почтительное внимание, то установила с ней метафизическую связь.

Вот как совершился бунт живых людей с изображением их идола, портретом человека, которого давно уже не было в живых. Калиновцы, охваченные патриотизмом нового времени, всей неделимой этнографической группой дружно сняли со своих обветшалых стен старые портреты Хрущёва, те самые – в *шляпе из капрона* – и толпой, достаточно большой, подчиняющейся уже не законам личности, а законам массы, когда любое слово и движение носило уже не самостоятельный, а публичный смысл, торжественно вынесли эти портреты на площадь, и там предали публичной казни. Калиновцы «с детской резвостью» топтали бывшего односельчанина ногами и костылями, которых немало обнаружилось в деревне. Такие вот дела...

А и в самом деле: отчего бы не ударить, не поставить на колени, не превратить в посмешище, если за это не последует наказания?

Позвольте-с! – ответил мне Салтыков-Щедрин. – Что мы не можем бунтовать иначе, как показывая кукиши в кармане, – это так. Но это печальное требование времени – и ничего больше. Это скудная форма современного [русского] бунта, которая, однако ж, отнюдь не предвещает вопроса о форме и содержании бунтов в будущем.

Да, Михаил Евграфович, финал в этой истории обречён на вечную циклическую повторяемость, поскольку всего лишь на время была убрана заповедь «не сотвори себе кумира» до появления нового кумира (или новый кумир на горизонте уже обозначился?)

[232]

После такого рода протестных выступлений, независимо от того носят ли они в себе элемент массовости и народности, или же они – результат действия кучки злоумышленников, могут возникнуть даже и всеобщие беспорядки, могут запылать даже и пожары, может быть разгромлен магазин, или винно-водочный склад, но мне про такое развитие бунта ничего не известно. А известно только, что затихла - замерла деревня.

И пустынная площадь, заваленная грязными стеклянными осколками, обломками рамок, обрывками бумаг иной раз и с разорванной вдвое-вчетверо улыбкой Никиты Сергеевича, разносимой ветром, производила опасное и напряжённое впечатление.

Sic transit gloria mundi? Так проходит мирская слава? Жалко и горестно было мне видеть этого, некогда воистину эпохально значимого, человека, разорванного в клочья на собственной родине.



**Карл
Абрагам**

ГУСТАВ МАЛЕР

12 сентября 1910 года, в 19 часов 30 мин. в огромном концертном зале Мюнхена, рассчитанном на 3400 зрителей и набитом до отказа, состоялась премьера восьмой симфонии Густава Малера – величайшего композитора конца XIX и начала XX века. Среди приглашённых – члены королевской семьи Баварии, композиторы Рихард Штраус и Камиль Сен-Санс, писатели Герхарт Гауптман, Томас Манн и Стефан Цвейг, дирижёры Бруно Вальтер и Франц Шальк, а также широко известный актёр и режиссёр Макс Рейнхардт. За дирижёрским пультом стоял сам автор.

Восьмая симфония – огромное двучастное монументальное произведение для хора и оркестра. В тот вечер на сцену вышли 850 хористов, в том числе, хор мальчиков, восемь солистов и оркестр в составе 170 музыкантов. В общей сложности 1028 исполнителей. Музыкальные критики нарекли это произведение «Симфонией тысячи».

Исполнение симфонии было с восторгом встречено публикой, которая в течение 20 минут стоя приветствовала автора и исполнителей. Это был триумф. Он – тяжело больной человек, которому осталось жить меньше года, взойшёл на вершину славы. А ведь так было далеко не всегда...

Герой нашего повествования, Густав Малер, родился 7 июля 1860 г. в местечке Калишт (тогдашняя Австро-Венгрия, ныне территория Чехии), в многодетной еврейской семье вторым из двенадцати детей. В том же году семья переехала в город Иглау – третий по величине город Моравии (ныне – Йегава), так как в крупном городе еврейю легче было устроиться на работу, чем в провинции. Глава семьи занимался производством водки, мать – воспитанием детей. Маленький Густав начал заниматься музицированием с четырёхлетнего возраста. На чердаке дома, в котором жили Малеры, среди хлама и всевозможной рухляди Густав обнаружил старое

пианино, за которым проводил всё свободное время. Здесь рождались первые сочинения будущего композитора, притом, что Малер в то время ещё не имел представления ни о нотах, ни о гаммах. Музыкальным воспитанием мальчика практически занималась улица: окна дома, в котором жила семья Малеров, выходили в казарменный двор, где ежедневно исполнялись военные марши. Эта музыка, эти маршевые ритмы вошли позднее в симфонии Малера. Будущий композитор находился под влиянием народных песен, которые слышал на уличных праздниках и свадьбах. Он настолько овладел игрой на фортепиано, что уже в



Густав Малер

10-летнем возрасте выступил с сольным концертом. В прессе это было подано так: «15 октября 1870 года в театре нашего города с большим успехом выступил сын еврейского коммерсанта Бернхардта Малера – Густав, покрывший нас своей виртуозной игрой на фортепьяно».

Получив аттестат зрелости, Малер поступает сразу в два высших учебных заведения: в университет, где он изучает историю, философию и историю музыки, и в консерваторию, где ему преподают композицию, контрапункт и фортепьяно. Кроме этого он брал частные уроки у Антона Брукнера, которого считал своим духовным учителем. Уже в двадцатилетнем возрасте он занял место дирижёра оркестра в курортном городке Bad Hall (Бад Халл), что в Земле Верхняя Австрия. Что было дальше? Дальше началось трудное восхождение Малера на музыкальный Олимп, где, как известно, живут, только Боги. За последующие десять-одиннадцать лет после Бад Халла он сменил шесть театров. В творческом плане это всякий раз было шагом вперёд. Люблина, Кассель, Прага, Лейпциг, Будапешт, наконец, оперный театр Гамбурга, куда он бы принят в 1891 году. Таков «путь наверх» этого замечательного музыканта. За эти годы он прогрессирует как композитор, как дирижёр и как постановщик оперных спектаклей. Его переход из одного театра в другой был обусловлен, прежде всего, спецификой театральной жизни. Во-первых, он не терпел закулисных интриг (по-немецки – *Kulissen-schmutz*), во-вторых, он как-то очень быстро наживал себе врагов. Вначале многие лезли к нему со своими советами. Но когда они замечали, что он обладает несгибаемой волей и делает всё по-своему, отходили в сторону, оказывая ему глухое сопротивление. Характер у него был сложный, чтобы не сказать деспотичный. Во время репетиций он часто

кричал на оркестрантов, топал ногами, говорил, что они нарочно играют плохо. Опоздавшего на репетицию мог выгнать или лишить отпуска.

Малер, в то время человек ещё неженатый, не отказывал себе в земных радостях. Так, пребывая в Касселе, он начал ухаживать одновременно за двумя певицами, которые всё рассказывали друг другу. Назревал скандал; пришлось срочно ретироваться из этого города. Интересна история поступления Малера в этот театр. Узнав, что в Касселе освободилось место дирижёра оперного театра, он пришёл к директору с просьбой принять его на работу, и тот спросил: «А вы смогли бы без репетиции продирижировать оперой Ф. Флотова «Марта»?»

«Легко», – ответил двадцатитрёхлетний юноша, попросив «на ночь» партитуру оперы, чтобы «освежить кое-что в памяти».

Малер забрал партитуру и выучил её наизусть. Спектакль прошёл «без сучка и задоринки».

Во время работы в Лейпцигском оперном театре Малер пережил бурный роман с женой внука композитора Вебера, баронессой Марией Каролиной фон Вебер (1847-1920), которая была старше его на тринадцать лет. Свою первую симфонию, «Титан», он посвятил ей. Сказать, что публика холодно встретила это произведение, значит ничего не сказать. Критика не пощупилась на уничижительные оценки симфонии, обвинив автора в «диссонансах, какофонии, скуке, путанице, безобразии, истерии, гигантомании, импотенции и в отсутствии формы», походя обозвав Малера ещё и «эпигоном Вагнера». Некоторые актрисы назойливо добивались его расположения, увы, без взаимности. И это тоже было одной из причин частой смены Малером оперных театров. Расставание с будапештским Придворным театром произошло из-за конфликта с директором. Замечу, что за двадцать месяцев работы в этом городе маэстро осуществил постановку тридцати одного премьерного спектакля, что свидетельствует о его исключительной работоспособности.

Год 1891. Итак, мы в ганзейском Гамбурге. Начинается новый этап в жизни Малера. Он вводит в репертуар театра всё новые и новые оперные спектакли, в том числе вагнеровскую тетралогию «Кольцо Нибелунгов» и «Нюрнбергских мейстерзингеров». В 1892 году Малер впервые поставил на немецкой сцене «Евгения Онегина». На премьеру прибыл из Санкт-Петербурга Пётр Ильич Чайковский. Своё отношение к Малеру он выразил двумя короткими фразами: «Ничего усреднённого. Он – просто гений».

В 1894 году на освободившееся место концертмейстера в театр был принят восемнадцатилетний молодой человек, Бруно Вальтер – будущий выдающийся дирижёр и блестящий интерпретатор произведений Малера. Несмотря на разницу в возрасте, они очень быстро нашли общий язык. Б. Вальтер оставил после себя интересные воспоминания о

своём учителе. Вот как он описывает внешность Малера при первой их встрече: «Я столкнулся с ним в кабинете директора театра. Он доброжелательно посмотрел в мою сторону. Это был бледный, худой, маленького роста (160 см) человек с продолговатым, обрамлённым чёрными волосами лицом, и высоким лбом. Внимательные глаза за стёклами очков и быстро меняющееся выражение лица».

Жена композитора писала: «он не был красив в общепринятом понимании этого слова, но необыкновенно привлекателен».

Что касается бледности лица, то она была обусловлена скорей всего врождённым, к счастью компенсированным, пороком сердца, обнаруженным врачами у него только в сорокасемилетнем возрасте. Это не мешало ему, однако, вести спортивный образ жизни. Он охотно занимался греблей, плаванием, пешими переходами, в том числе, – восхождением на горы. Когда болезнь сердца была установлена, от всего этого пришлось отказаться. Врачи разрешили Малеру только непродолжительные прогулки. Он ходил всегда с непокрытой головой, держа в правой руке свою шляпу. Походка его была неровной. Со стороны казалось, что он хромает, но с ногами у него всё было в порядке. Кажущаяся хромота была обусловлена нарушением ритма звучавших внутри Малера мелодий, и так как он в какой-то момент «шёл не в ногу», то приходилось «менять шаг». Он носил дорогие костюмы, которые почему-то всегда нелепо на нём сидели.

Каков был внутренний мир этой, безусловно, незаурядной личности? Он был прекрасным собеседником, мог не только говорить, но и слушать. По содержанию эти беседы никогда не были «болтовнёй», а по форме в них не было никакой назидательности. Ему не чуждо было чувство юмора, но он не мог слушать анекдоты, считая их «товаром из консервной банки». Он не играл ни в карты, ни в другие настольные игры, зато охотно играл в четыре руки. Особой привязанности к произведениям живописи – не испытывал. Родственность душ Малер испытывал только, созерцая полотна Рембрандта. Дома у него висела репродукция картины Джорджоне «Древенский концерт».

Малер доверял людям бесконечно, но если его обманывали, то негодованию его не было предела. Он обладал огромной силой внушения. Герхард Гауптман – классик немецкой литературы, известный русскому читателю по пьесе «Перед заходом солнца», говорил, что находится под гипнотическим влиянием личности Малера, от которого он «в восторге» (цит. по дневнику Иды Демель – бывшей супруги Рихарда Демеля).

Малер отличался импульсивным характером и быстрой сменой настроения. Был очень разным, но всегда искренним. Мастер не лишён был странностей. Во время прогулки мог внезапно оставить своего по-

путчика и скрыться в одном из ближайших домов. В ресторане показывал пальцем на то, что ел некто за другим столом и громогласно заказывал себе это блюдо. Сообщать ему плохие новости можно было только после хорошего обеда и послеобеденного сна. Оценивая какие-то события, он мог на следующий день высказать об этом совершенно противоположное суждение. Однажды, ещё в молодости, его спросили: «Во что вы верите?» Он ответил: «Я – музыкант, и этим всё сказано».

У него было почти мистическое, я бы сказал, иррациональное отношение к музыке. «Музыка не является чисто рациональным искусством. Это не то, что лежит на поверхности, а то, что спрятано в глубинах души композитора», – сказал как-то Г. Малер в беседе с Б. Вальтером. А вот та же мысль, выраженная им же ещё лаконичнее: «Самое прекрасное в музыке выражено не в нотах».

Художник, перекинувший мостик от композиторов XIX века к композиторам XX века, обогативший музыку девятью симфониями (десятая – не оконченная) и несколькими произведениями для голоса с оркестром, бывал часто не понят современниками. Приходившие послушать музыку композитора, делились на поклонников и противников. Между ними часто возникали словесные бои, переходящие иногда в рукопашные, как это было, судя по воспоминаниям Бруно Вальтера, на премьере III и IV симфоний. Сам композитор спокойно относился как к похвале, так и к критике своих произведений. В прессе творилось то же самое. Некоторые репортёры хвалили композитора, другие пытались укунить его как можно больнее, объявляя новации Малера «еврейскими штучками». «То, что сегодня «ново», завтра станет правилом, – отвечал своим оппонентам Малер, – моё время ещё придёт».

Так в чём же состоят новации Малера по большому счёту? Он – крупный режиссёр, который сумел соединить в одном спектакле музыку, либретто, игру актёров, работу театрального художника и осветителя. Это то, что сегодня считается само собой разумеющимся. Композитор убрал все купюры из партитур Вагнера, которые были до него. И это, безусловно, новаторский ход в деятельности Малера – дирижёра. Он ушёл от сочинения обязательных четырёхчастных симфоний. Значительным шагом вперёд в творчестве композитора явилось введение в ткань симфоний хоровых номеров. «Малер, – пишет И.И. Соллертинский (цит. по Андроникову), – единственный из западных композиторов второй половины 19 века, сумел построить симфонию из «песенной стихии», тогда как ни Брамс (за исключением прорывов венгерско-цыганского материала), ни тем более Вагнер, никакого касания к народной песенности не имели». И, наконец, он ликвидировал клаку.

Каковы были литературные предпочтения Малера? Словесный ма-

териал для своих хоралов он черпал в песнях, поэмах и стихотворениях немецких классиков. В первую очередь – это сборник народных песен «Волшебный рог мальчика» в 3-х томах Л. А. фон Арнима и К. Брентано, посвященный И.В. Гёте. Ознакомившись с этим источником народной мудрости, Гёте высказал пожелание, чтобы эти стихи когда-нибудь были положены на музыку. И вот их время пришло. Стихи из «Волшебного рога» звучат в хоралах II, III и IV симфоний Малера. Тексты из второй части «Фауста» Гёте нашли своё место в VIII симфонии композитора. Слова Ницше из «Так говорил Заратустра» легли в основу III симфонии. Кроме этого, Малер в своём творчестве обращался к стихотворениям Ф. Рюккерта (1788-1866) и Ф.Клопштока (1724-1803).

К концу жизни композитор знакомится с новым переводом «Китайской флейты» – классикой китайской поэзии и использует её тексты в своей IX симфонии.

Своим любимым поэтом Малер считал Иоганна Христиана Фридриха Гёльдерлина (1770-1843). Тональность его стихов соответствовала душевному настрою композитора. Он считал их «современными». Из прозаиков он больше всего ценил Ф. М. Достоевского, которого рекомендовал читать всем молодым дирижёрам.

Наступил год 1897. Отношения между Малером и директором Гамбургского театра стали довольно натянутыми. Тем временем в Вене освободилось место главного дирижёра Придворной оперы. «Моё еврейское происхождение не позволяло мне претендовать на должность дирижёра какого-либо придворного театра» – писал Малер (цит. по К. Schumann). Нашлись люди, которые всячески препятствовали поступлению дирижёра на это место по сугубо этническим соображениям. Среди них – Козима Вагнер, махровая антисемитка, дочь Листа и вторая жена Вагнера. Должность дирижёра придворной оперы, как бы сейчас сказали, была номенклатурной и подлежала утверждению монарха. Чтобы получить место директора Венского оперного театра, Малер принял католичество. Когда Францу Иосифу сообщили об этом, кайзер как бы между прочим обронил: «Знаете, а он мне больше нравится евреем». 12 окт. 1897 г. был подписан указ о назначении Малера в одном лице директором и художественным руководителем Венской оперы. Менее, чем через год, директор оперы оказался на аудиенции монарха и тот обратил на него внимание: «Вам удалось в течение короткого отрезка времени стать хозяином положения в Придворном театре». Последующие десять лет стали периодом расцвета Венской Придворной оперы. Здесь талант Малера-дирижёра и Малера-режиссёра развернулся в полной мере. Он работает в тесном контакте с театральным художником Альфредом Роллером, с костюмерами и осветителя-

ми, благодаря которым многие оперные спектакли зазвучали по-новому. Он ставит новые спектакли, которые до него никто не ставил. Реплика Франца Иосифа, сказанная им на аудиенции в адрес Малера, не случайна, так как с дисциплиной в Придворном театре до прихода нового директора было далеко не всё в порядке. Да, маэстро был строг, иногда даже несправедлив, но он умел сострадать, если кому-то было плохо. Например, он как мог, помогал, в том числе материально, одному смертельно больному артисту оркестра. Чтобы облегчить его участь, он пошёл ему навстречу, заключив с ним новый контракт. Другой раз Малер снисходительно отнёсся к ошибке певца (кстати, весьма опытного), которая повторялась из спектакля в спектакль. В очередной раз, когда на сцене случилось короткое замыкание и из-за кулис потянуло дымом, певец справился со своей задачей и спел этот заколдованный пассаж правильно. После спектакля дирижёр подошёл к певцу и добродушно заметил: «Надо, чтобы в театре пожар возник, чтобы вы спели правильно». Он любил людей, с которыми работал. Все боялись его, многим он был интересен, но приятным назвать его нельзя было.

В ноябре 1901г. на званом обеде в доме анатома Р. Цукеркандля, в обществе художника Густава Климта, Малер познакомился со своей будущей женой Альмой Шиндлер, дочерью довольно известного художника-пейзажиста Э. Я. Шиндлера. Отец девушки рано ушёл из жизни, и овдовевшая мать вышла замуж за друга семьи, художника Карла Молля. Дальнейшим воспитанием девочки занимался отчим. Альма – высокая красивая девушка была почти на 20 лет моложе Малера. Она сочиняла песни (уроки композиции брала у композитора Цемлинского), свободно владела игрой на фортепьяно, хорошо пела, постоянно вращалась в среде художников – область человеческой деятельности, в которой Малер не был силён. Контакт с девушкой Малер установил при первой же встрече. Они понравились друг другу. В декабре, на Рождество, состоялась помолвка молодых людей, а в марте 1902 года – венчание в Венской церкви архиепископа Карла. Отчим отговаривал Альму от этого шага: «Он стар для тебя, у него куча долгов (и это было правдой), он страшно обидчив, его положение в опере ужасно. Жених твой некрасив, он сочиняет музыку. Ничего особенного эта музыка собой не представляет». Да и у самих молодожёнов были свои сомнения на этот счёт. Имея ввиду разницу в возрасте, Малер говорил своей невесте: «Понимаешь, если бы ты уже с кем-то встречалась до меня или была вдовой, мне было бы легче». «Но потом, – пишет Альма в своей книге, – случилось то, что должно было случиться, и все сомнения отпали сами собой». Обвенчавшись, молодая чета в тот же день отправилась в трёхнедельную гастрольную поездку в Петербург. Столица поразила молодожёнов сво-

им блеском, дворцами и музеями. Гастроли прошли с большим успехом. Малер остался доволен игрой оркестрантов. На обратном пути молодожёны сделали пересадку в Варшаве. Денег оставалось всего ничего, но Альма, будучи сама католичкой, отдала последние 5 рублей, что у неё были, нищему еврей, который торговал на Варшавском перроне спичками.

От брака Альмы с Густавом у Малеров родились две девочки – Мария и Анна. Старшая, Мария, умерла в раннем возрасте от скарлатины. Младшая – выросла и стала скульптором.

Летние каникулы Малер проводил с семьёй в австрийском Штайнбахе, что на лесистом берегу озера Аттерзее. Там он снимал небольшой особняк. Тропинка в лесу вела к избушке, где композитор сочинял свои произведения. Беспokoить Малера в эти часы было категорически запрещено. Кроме стола в домике стоял рояль, на книжной полке – полные собрания сочинений В. Гёте и Э. Канта, из нот – только произведения И. Баха.

Малер редко ходил в гости, он нигде не чувствовал себя, «как дома». «Там, где он появлялся, – пишет его супруга, – возникала атмосфера неловкости, *«als lage eine Leiche unter dem Tisch»*. Я убеждена, что люди с облегчением вздыхали, когда мы уходили». Где бы Малер не находился, он проявлял беспокойство, нетерпение, желание скорее вернуться домой к работе, будь то к своим симфониям, либо к оперным партитурам. Будучи близко знаком со спецификой театральной кухни, он почти не посещал театры.

Жена композитора, как мы уже упоминали, была не только красивой, но и широко образованной женщиной. Вполне естественно, что у неё была масса поклонников. Один из них был влюблён в Альму «до беспамятства» и готов был на всё, чтобы Альма оставила мужа и связала с ним свою жизнь. Ей нравился этот молодой человек, но уйти от Малера Альма не смогла. Обо всём этом она рассказала мужу, заверив его, что никогда с ним не расстанется.

Признание жены заставило Малера многое переосмыслить. Он вспомнил, что никогда не дарил ей драгоценности и другие красивые вещи, что в самом начале замужества запретил жене сочинять музыку («достаточно одного композитора в семье!»). Вспомнил о возрастной разнице между собой и Альмой. Душевное состояние Малера было надломлено, и он решил обратиться за помощью к венскому невропатологу Зигмунду Фрейд. Тот поговорил с Малером «как мужчина с женщиной», после чего психическое состояние маэстро вошло в обычное русло. «Разница в возрасте в данном конкретном случае, – заметил Фрейд, – как раз то, что делает вас привлекательным в глазах супруги».

Между тем, отношения директора Венской оперы с коллективом

стали портиться. Он сумел восстановить против себя большую часть солистов, с которыми обращался довольно бесцеремонно. Ширились слухи, сплетни, вся эта грязь выносилась на улицу и была предметом обсуждения кого угодно, не исключая последнего владельца фиакра. Началась совершенно беспардонная травля в прессе. Особенно усердствовала газетёнка антисемитского толка «*Alldeutsche Bewegung*». Супруга композитора вспоминает: «Каждое утро мы со страхом открывали газеты, в которых крупным шрифтом было набрано: «СНОВА СКАНДАЛ В ПРИДВОРНОЙ ОПЕРЕ». Некая дамочка (певица) пожаловалась одному репортёру, что господин Малер берёт маленькие отпуска, чтобы где-то протолкнуть свои симфонии». Это квалифицировалось как небрежение директора к своим непосредственным обязанностям в театре. Мастер часто говорил: «Я трижды безродный, как богемец среди австрийцев, как австриец среди немцев и как еврей среди людей всего света. Я везде не ко двору».

В 1907 году Карл Молль заказал О. Родену бюст Малера. Дело было обставлено так, будто сам Роден вызвался извять его скульптурный портрет. После долгих уговоров композитор согласился с «предложением Родена». В настоящее время бюст Малера выставлен в вестибюле Венского оперного театра.

Год 1907 стал переломным в жизни Малеров. Умерла старшая дочь Мария. Из Придворной оперы, в конце концов, пришлось уйти. Наступал новый, последний этап в жизни великого музыканта: он получает приглашение выступить в качестве дирижёра с серией концертов в Нью-Йоркской Метрополитен Опера и заключает контракт на четыре года. Каждую зиму он вместе с семьёй отправляется за океан и в начале лета, по окончании сезона, возвращается в Европу. Нигде Малер не чувствовал себя так раскованно, как в Америке. Сама собой отпала необходимость решать какие-либо хозяйственные или организационные вопросы. Публика была настроена весьма доброжелательно. В прессе – одни позитивные оценки Малера-дирижёра.

В 1910 году Малер заболел ангиной, осложнившейся сепсисом. Болезнь приняла затяжной характер. Будучи больным, маэстро продолжал свою концертную деятельность. 20 февраля 1911 года у него снова заболело горло и поднялась температура. Ему дали таблетку аспирина. Температура спала, и на следующий день он отправился на концерт, оказавшийся последним в его жизни.

В марте месяце чета Малеров вернулась в Европу. По прибытии в Шербур Малер пытался помочь при выгрузке багажа. Он настолько плохо выглядел, что следивший за разгрузкой немецкий чиновник, сказав, обращаясь к Альме: «Ваш папа мог бы этого не делать». Некоторое

время Малер провёл в одном из парижских санаториев, а затем с большими предосторожностями его перевезли в Вену. Приближалась неотвратимая развязка. Медикаментов против сепсиса в то время ещё не существовало, а симптоматические средства из опасения – навредить больному не применялись. За ним ухаживали жена, тёща (это ей он посвятил свою восьмую симфонию) и домашний врач, доктор Френкель. Посторонних людей в качестве сиделок он видеть не хотел.

18 мая 1911 года великого мастера не стало. Карл Молль снял с покойного посмертную маску. Малера похоронили, как он завещал, рядом с могилой дочери на Старом кладбище Гринциг. В тот день над городом собрались чёрные тучи, разразилась гроза, пошёл проливной дождь. Когда опускали гроб выглянуло солнце и гроза прекратилась. Так природа проводила в последний путь Густава Малера.

При жизни Малер был очень популярен, главным образом, как дирижёр и постановщик оперных спектаклей. Специфика его сочинений была далеко не всем по душе. Спустя годы, а то и десятилетия после смерти композитора отношение к его музыке резко изменилось. Его произведения исполняют во всём мире. И в этом заслуга, прежде всего, популяризаторов его сочинений – таких дирижёров, как Бруно Вальтер, Отто Клемперер и Виллем Менгельберг, знавших Малера лично.

Литература:

1. *Alma Mahler-Werfel, Gustav Mahler, Erinnerungen. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 2. Auflage, 2011, S. 238*
2. *Clemens Romijn, Beiheft zur CD Gustav Mahler, Symphony Nr. 4 in G-dur, Chanell Classics, Budapest, 2009*
3. *Karl Schumann, Das kleine Gustav Mahler Buch, Residenz Verlag Salzburg, 2. Auflage, 1975, S. 123*
4. *Bruno Walter, Gustav Mahler, Ein Porträt, Wilhelmshafen, 1981, S. 131*
5. *„Welt der Musik“ Propiläen Verlag, Band 3, 1989, S. 519-524*



16-й ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК БЕРЛИНА В ГОДЫ НАЦИЗМА

Часть 1 «Я выполнял лишь свой служебный долг»

Ноябрьский погром 1938 года был по «версии» министерства пропаганды Германии ответом на убийство третьего секретаря германского посольства в Париже Эрнста фон Рата, которое совершил поляк еврейского происхождения Гершель Гриншпан. Предыстория такова: 27 октября 1938 года было опубликовано постановление немецкого правительства, в котором предлагалось польским гражданам, проживавшим в Германии, а таких было около 27 000, немедленно покинуть страну и возвратиться на родину. В основном это были евреи, которые не собирались возвращаться в Польшу, тем более, что польское правительство отказало им во въезде. Семья Гриншпан жила в Ганновере. Там родился их сын Гершель. Так случилось, что семья не успела вовремя оформить немецкое гражданство. Таким образом они попали в число лиц, подлежащих депортации. В знак протеста 17-летний Гершель, проживавший во Франции, решил убить немецкого посла в Париже. 7 ноября он купил револьвер и отправился в немецкое посольство. Там его принял 29-летний третий секретарь посольства Эрнст фон Рат. Гриншпан нанёс ему смертельную рану, от которой тот 9 ноября скончался. Сказать, что убийство немецкого дипломата в Париже явилось прелюдией к «Хрустальной ночи», было бы неправильно. Совпадение обоих событий по времени чисто случайно. Нацисты давно готовились к погрому. Так в апреле 38 года вся собственность евреев была взята на учёт. Орган СС «Чёрный корпус» открыто призывал отобрать её у хозяев, а их магазины закрыть. Ну и, самое главное, летом 1938 года были расшире-

ны концлагеря в Бухенвальде, Дахау и Заксенхаузене. Для кого, с какой целью? Министерство пропаганды и средства массовой информации пытались представить погром как «взрыв народного негодования», как спонтанную реакцию простого бюргера на убийство германского дипломата. Но это не так. Еврейский погром 38 года был хорошо спланирован и до мелочей продуман.

Расхожая картина горящей Новой Синагоги на Oranienburger Straße у многих ассоциируется с событиями «Хрустальной ночи» 9-10 ноября 1938 года. На самом деле, – это заблуждение. Фотография сделана после налёта английских и канадских ВВС на Берлин 22 ноября 1943 года.

Во время ноябрьского погрома 1938 года были подожжены и большей частью разрушены девять из четырнадцати самых больших берлинских синагог. Благодаря сотрудникам 16-го полицейского участка Новая Синагога избежала этой участи. События той ночи разворачивались следующим образом: ближе к полуночи отряд штурмовиков подъехал к синагоге, ворвался в помещение и совершил поджог этого культового здания. Поджогу подверглись прежде всего все входы и выходы синагоги. Пожарники «стояли наготове». Они следили только за тем, чтобы пламя не перекинулось на соседние «нееврейские» здания. К началу пожара в синагоге находился только дежурный пожарник. Тревогу поднял швейцар, который находился рядом, в соседнем административном здании и всё это видел. Он-то и сообщил в полицию о случившемся. Очень скоро возле синагоги появился наряд полиции во главе с начальником 16-го полицейского участка. В одной руке он держал пистолет, в другой – папку с документами, подтверждавшими, что Новая Синагога является памятником архитектуры (это, кстати, самое большое и самое красивое культовое учреждение евреев Берлина) и что она находится под охраной государства. Благодаря настойчивым требованиям начальника полиции пожар был быстро потушен, а поджигатели ретировались. 10 ноября было опубликовано распоряжение министерства юстиции, рекомендовавшее прокуратуре никаких следственных мероприятий, связанных с еврейским погромом, не предпринимать. Долгие пятьдесят лет никто ни разу не поинтересовался, кто же был тот отважный человек, спасший в ту ночь одно из красивейших сооружений Берлина от разрушения. На следующий день после погрома начальник полицейского участка был вызван к президенту берлинской полиции, графу фон Хельдорфу, устроившему разнос старшему лейтенанту полиции за самоуправство. На все упрёки начальник полицейского участка отвечал, что действовал в рамках существующих инструкций. Оргвыводов, к счастью, не последовало. Кстати о Хельдорфе. В 1944 г. немцы казнили генерала за участие в заговоре против Гитлера.

Но из этого вовсе не следует, что он с симпатией относился к евреям. Напротив, он отбирал у богатых евреев загранпаспорта, а затем продавал их им же и брал за это в среднем по 150 000 рейхсмарок. Понятно, что покинуть Рейх евреи могли только при наличии паспорта.

Спустя 45 лет после погрома, весной 1983 года в тогдашнем Berlin-Museum была развёрнута фотовыставка «К истории разрушенных архитектурных памятников», посвящённая синагогам Берлина, Прилагаемый каталог представлял собой двухтомник, в котором одним из авторов значился некий Ганс Гиршберг, переживший события «Хрустальной ночи», и вынужденный в 1939 году бежать за границу. Вот что запомнилось мальчику, который в то время ещё ходил в школу:

«Мои родители содержали на Oranienburger Straße 89 портновскую мастерскую. Однажды, в октябре 38 года, в мастерскую зашла супружеская пара. В мужчине я сразу же узнал начальника 16-го полицейского участка, находившегося совсем рядом, в районе Hackescher Markt. Мои родители были некоторым образом удивлены и напуганы внезапным приходом полицейского (в те годы ничего хорошего евреям от такого визита ожидать не приходилось). Однако, когда дама заказала себе пальто, напряжение в мастерской несколько спало. Меня отправили в дружную комнату. Через неплотно закрытую дверь я услышал следующее: «Не волнуйтесь, господин Гиршберг, мы регулярно получаем списки евреев, подлежащих аресту. Если в этих списках обнаружится Ваша фамилия, мы дадим вам об этом знать. В этом случае вам придётся покинуть свою квартиру и найти прибежище в городской электричке». Так оно и случилось. В ночь с 9 на 10 ноября нам кто-то позвонил и мы с отцом несколько дней «катались» в S-Bahn'e с четырёх до девяти часов утра. Таким образом отец избежал ареста. Через несколько дней после этого начальник полицейского участка и его супруга зашли на примерку и рассказали моим родителям о поджоге Новой Синагоги и о мерах, предотвративших распространение пожара, Я услышал это, что называется, из первых уст.

После окончания войны мой отец, Sigmund Hirschberg (Зигмунд Гиршберг), вернулся в Берлин, и первое, что он сделал, – предпринял попытку найти начальника полиции, который не только спас от пожара Новую Синагогу, но и спас жизнь всей нашей семьи. Во время войны судьба забросила меня в Палестину. В одном из писем папа сообщил мне, что в последние дни войны эсесовцы повесили бывшего начальника 16-го полицейского участка на одном из уличных фонарей Берлина».

«Дело» можно было бы считать закрытым, если бы не одно «но».

В материалах не хватало очень важного звена – фамилии начальника полиции. Ни отец, ни сын фамилию героя, к сожалению, не запомнили.

Ознакомившись с материалами Ганса Гиршберга, немецкий писатель

и публицист Heinz Knobloch (Хайнц Кноблех) рассказал на страницах еженедельника Wochenpost (№ 17 за 1985) об отважном полицейском, спасшем в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года Новую Синагогу от уничтожения. Автор статьи обратился к читателям с просьбой сообщить в редакцию еженедельника о судьбе этого человека, если кто-либо что-либо знает о нём. Откликнулось двое. Один сказал, что видел в конце войны начальника 16-го полицейского участка мёртвым в районе метро Weinmeisterstr, что практически в десяти минутах ходьбы от станции S-Bahn'a «Hackescher Markt». Другой, представившись Артуром Крюцфельдом, сказал: «Это мой отец – Wilhelm Krütfeld (Вильгельм Крюцфельд), был в ноябре тридцать восьмого года начальником 16-го полицейского участка Берлина».

Кто же он, этот прусский служака, выполнявший просто свой гражданский и служебный долг? Вильгельм Крюцфельд родился в декабре 1880 года в селе Хорндорф, в Земле Шлезвиг-Гольштейн. В двадцатилетнем возрасте был призван в армию. После обязательной службы остался сверхсрочником и в 1907 году поступил на работу в полицию. Его послужной список безупречен. В 1932 году ему был вручён приветственный адрес президента Берлинской полиции, в котором перечислялись заслуги Крюцфельда перед государством.

О том, что поступок Крюцфельда по спасению Новой Синагоги был не случаен, говорит следующий факт. До того, как возглавить работу 16-го полицейского участка, Крюцфельд служил начальником 65-го участка в районе Пренцлауер Берг. Однажды, уже после захвата власти, нацисты потребовали от полицейского, чтобы тот в один из вечеров отказался от патрулирования улицы, на которой находился кабачок «Спорт-казино». Владельцем его был еврей А. Бергер. Требование штурмовиков было выполнено. Но что сделал Крюцфельд? Он лично посетил пивную и предупредил хозяина о грозящей ему опасности. В этот вечер питейное заведение оказалось закрытым. Так повторялось несколько раз, пока штурмовики не отказались от своих намерений.

Что, собственно, представлял собой 16-тый полицейский участок? Участок насчитывал 28 полицейских, следивших за соблюдением правопорядка в районе Hackescher Markt и прилегающих к нему улиц. Здесь сидел, в основном, бедный люд. Преступность в районе была значительно выше, чем в других, более благополучных районах города: работы много, бумажной волокиты – ещё больше. Получив назначение в 16-й участок, говорили – «не повезло». Для некоторых полицейских 16-й участок оказался «местом ссылки». Например, один из них, – Вилли Штойк, ответственный за учёт и прописку граждан, был направлен сюда за какую-то провинность.

27 февраля 1943 г. в Берлине была проведена так называемая «фабричная акция». В этот день было арестовано около 7000 евреев. В основном это

были люди, работавшие на заводах оборонного значения, а также рабочие и служащие, занятые на других производствах и имевшие временную отсрочку от депортации. В ряде случаев людей хватали прямо на улице. Находились и такие, которые охотно «сдавали» евреев в руки гестапо. Так сказать, по своей инициативе. Широкое распространение среди немцев получило такое явление как доноительство. О том, что где-то скрывается еврей, следовало немедленно в письменном виде поставить в известность полицию, что многие и делали. Практика доноительства была широко распространена в гитлеровской Германии. Впрочем, такой метод «воспитания» своих граждан характерен для любого тоталитарного государства. Наверное, здесь уместнее говорить не столько о практике доноительства, сколько о страхе недоноительства. Ведь гораздо легче «стучать», чем жить в постоянном страхе в ожидании ареста, зная, что по соседству, за стеной, скрывается еврей, а то и целая еврейская семья.

Преследование берлинских евреев и депортация их на Восток достигли во время «Фабричной акции» своего апогея. Глубоко несогласный с политикой национал-социалистов в отношении евреев, и не в состоянии что-либо изменить в этой ситуации, Крюцфельд подаёт прошение об отставке. Просьба его была удовлетворена. Шёл 1943 год. Оставаться в Берлине стало небезопасно, и он удалился на покой в свою родную деревню. О событиях «Хрустальной ночи», в которых он принимал самое активное участие, он никогда никому не рассказывал.

Часть II Отто Вайт и другие

Попыток сопротивления нацизму известно не так много. Известно лишь, что все они были жестоко подавлены. Позволю себе коротко напомнить читателю о наиболее известных из них.

Антифашистская группа, действовавшая в районе Кёпеника (Берлин) в 1933 году, под руководством социал-демократа Пауля фон Эссена.

Подпольная организация «Белая роза» (июнь 1942 – февраль 1943), состоявшая в основном из студентов-медиков.

Почти легальная молодёжная организация «Пираты Эдельвейса», которую нацисты рассматривали как альтернативу «гитлерюгенду» (1944).

Так называемая «Красная капелла» – группы сопротивления в разных странах, в том числе и в нацистской Германии, связанные с советской разведкой.

К участникам Сопротивления следует отнести и ряд служителей культа, таких как Д. Бонхёффер, М. Нимёллер, К. фон Гален, открыто осуждавших политику национал-социалистов.

Протест 2000 немецких женщин Берлина, вышедших на улицу в

последних числах февраля сорок третьего, чтобы отстоять своих мужей-евреев от депортации на Восток. В этой акции верх одержали женщины. Не обошлось без накладок: ещё до того, как мужей отпустили, 25 из них были уже отправлены в Освенцим. Через несколько дней этих мужчин вернули в Берлин к своим жёнам.

Наконец, растущее сопротивление среди дипломатов и армейских офицеров. По данным различных исследователей на фюрера было совершено от 39 до 42 покушений. Наиболее известное из них состоялось в ставке Гитлера, в Восточной Пруссии, 20 июля 1944.

Кроме этого, существовали очаги сопротивления местного значения, о которых известно значительно меньше. Об одном из них рассказывает журналистка Регина Шеер (Regina Scheer) в материале, опубликованном в 1993 году в книге «Die Hackeschen Höfe». Спустя несколько десятков лет после окончания Второй Мировой войны, автор ходила из дома в дом и опрашивала людей, населявших этот район, о том, как они пережили двенадцатилетнюю гитлеровскую диктатуру, войну и об их отношении к депортации евреев. Давайте присоединимся к Регине Шеер и пройдем по наиболее густозаселённой улице этого района – Rosenthaler Straße.

Входим во двор дома № 39. Здесь на первом этаже находилась мастерская по производству мётел, щёток и кистей, имевшая стратегическое значение. Работали в ней преимущественно слепые и глухонемые евреи. Заведовал мастерской немец Отто Вайт (Otto Weidt), обладавший незаурядными организаторскими и коммерческими способностями, но, главное, он умел отстоять рабочего, когда за ним приходило гестапо. Свой товар Вайт менял на духи, свитера, зонты, продукты и продовольственные карточки. Однажды гестаповцы арестовали почти всех евреев мастерской и отвели их на ближайший сборный пункт, находившийся почти рядом, на Гросс Хамбургер штрассе, где несчастные ждали «своей очереди» на депортацию. Слепых забрали в отсутствие хозяина. Как только Вайт узнал об этом, он тут же собрал пакет с остродефицитными продуктами и отнёс «подарок» гестаповцам. После этого слепых отпустили. Они возвращались, держась друг за друга: сзади идущий держался за плечо впереди идущего. А возглавлял шествие, будучи слабовидящим, сам Вайт. Со стороны это напоминало картину Питера Брейгеля Старшего «Слепые». Такие ассоциации возникли у Хайнца Кноблоха, о чём он упоминает в своей книге «Der beherzte Reviervorsteher» (Бесстрашный начальник полиции). Забегая вперёд, следует сказать, что сохранить жизнь слепым евреям во второй раз, к сожалению, не удалось.

В мастерской Вайта находили убежище не только слепые, но и люди вполне зрячие и хорошо слышавшие. Никто точно не знает, сколько еврейских жизней спас Вайт. Вот только два примера. Долгое время

секретарём у него работала некая Алиса Лихт. Работала до тех пор, пока её не выследило гестапо. Её арестовали и отправили с первым же эшеленом в Освенцим. Оттуда ей удалось бежать. В конце войны её видели в одном из бомбоубежищ Берлина. Но никто её не выдал. Дело-производством у Вайта заведовала Инга Дойчкрон, пережившая войну в подполье и получившая известность благодаря своей книге «Я носила жёлтую звезду». После «фабричной акции» Вайт продолжал помогать евреям. Он подыскивал им комнаты, где евреи могли бы укрыться, снабжал их продуктами питания и другими жизненно необходимыми предметами.

Через дорогу, в доме № 43, жила супружеская пара Инга и Густав Хельд. Он – врач-еврей, она – немка – дамочка не очень строгого поведения, часто изменявшая мужу. Тем не менее развестись с ним она не собиралась, так как не хотела, чтобы он попал в руки гестапо и был депортирован.

В одной из съёмных комнат Вайта прятался отец Алисы Лихт, Георг. Ему понадобилось срочное хирургическое вмешательство по поводу прободной язвы желудка. Вайт обратился к доктору Хельду с просьбой о помощи. Операция по ушиванию язвы была выполнена, можно сказать, в условиях, приближенных к полевым. Хельду помогала жена и сам Вайт. Пережившая войну Инга Хельд рассказывала, что в доме № 42 жила цыганка Робертина Лизе, бывшая замужем за немцем. О том как нацисты относились к цыганам хорошо известно. Бесстрашная женщина, жившая в постоянном страхе быть арестованной, сама помогала евреям. Инга Хельд, находясь уже в очень преклонном возрасте, рассказывала, что некая Эмми Тростлер (бывшая приятельница Вайта) в течение нескольких лет прятала у себя в подвале на Гроссбееренштрассе 92 целую еврейскую семью. Другая женщина, содержательница публичного дома, фрау Поршюц, прятала у себя 18-летних девочек-близнецов Марианну и Аннелизу, одна из которых была слепой. Интересно, что бордель мадам находился как раз напротив здания полицейского управления Берлина. Инга Хельд поведала Регине Шеер о некоем полицейском Отто Беллгарде, который был замечен в ночь с 9 на 10 ноября возле горящей синагоги на Ораниенбургерштрассе в команде Крюцфельда. Это согласуется с рассказом юного Гиршберга, который в ночной суматохе ошибочно принял О. Беллгарда за начальника 16-го полицейского участка.

В нескольких шагах от мастерской Вайта, в доме № 26 находилась небольшая типография и переплётная мастерская Теодора Гёрнера (Theodor Görner), имевшая также стратегическое значение. Хозяин этого небольшого производства, в прошлом социал-демократ, тоже, как мог, помогал евреям. Он изготавливал для них фальшивые документы, подыскивал жильё для евреев, ушедших в подполье. У него некоторое

время нелегально работала мать Инги Дойчкрон. У господина Гёрнера были знакомые в 16-том полицейском участке, которые по большому секрету рассказывали ему о зверствах, чинимых нацистами в отношении евреев Восточной Европы. Распространять такого рода информацию было смертельно опасно. Сам по себе факт довольно близкого знакомства заведующего типографии с одним из полицейских 16-го участка говорит о многом. И тот, и другой пытались спасти людей от депортации. Один, надо полагать, изготавливал нужные формуляры, другой заполнял и заверял их штампами и печатями.

На примере одной только улицы Регине Шеер удалось показать, – да, были люди, активно сопротивлявшиеся режиму. То были герои, рисквавшие собственной жизнью, чтобы спасти знакомых, а то и вовсе незнакомых евреев от депортации.

Здесь необходимо сделать следующую оговорку: у читателя не должно создаваться впечатление, что все полицейские 16-го участка с сочувствием относились к евреям. И среди них были нацисты, которые с большим рвением участвовали в арестах и депортации обречённых в лагерь уничтожения.

Эпилог

Какова дальнейшая судьба главного героя нашего повествования, бывшего начальника 16-го полицейского участка Берлина? Год 1949. Мы видим старого ветерана Вильгельма Крюцфельда в рядах народной полиции Германской Демократической Республики, где он служил до своей кончины. Он умер 73 лет от роду и похоронен в берлинском районе Вайсензее на евангелическом кладбище церковно-приходской общины святого Георгия. Полицейская школа в Земле Шлезвиг-Гольштейн носит теперь его имя. А на фасаде Новой Синагоги висит небольшая памятная доска, на которой можно прочесть следующее. «Своим мужественным и решительным вмешательством берлинский полицейский Вильгельм Крюцфельд (1880-1953) сумел уберечь во время ноябрьского погрома 9-10 ноября 1938 года эту синагогу от разрушения».

Алиса Лихт, – секретарь Вайта, пройдя ад нескольких концлагерей, в том числе и Освенцима, сумела вырваться на волю и вернуться в Берлин. После войны она вышла замуж за американца и уехала с ним в Калифорнию.

Полицейский Вилли Штойк и его товарищ Тришак погибли в последние дни войны, охраняя в одном из бомбоубежищ собравшихся там подростков и стариков от участия в народном ополчении. Кто-то донёс, налетел так называемый «Летучий трибунал» во главе с двумя

эсесовцами, разоружили стражей порядка, вывели их на площадь и расстреляли. Их предали земле только через три дня.

Полицейский Отто Беллгард погиб не то в середине марта, не то в середине апреля сорок пятого при неизвестных обстоятельствах в районной станции метро Вайнмайстерштрассе.

Отто Вайт (1883 - 1947) – заведующий мастерской по изготовлению шёток, пережил войну, но рано ушёл из жизни. В подворотне дома № 39 по Rosenthaler Str, висит памятная доска, сообщающая, что в этом доме на первом этаже работали слепые и глухонемые евреи, и что хозяин мастерской делал всё возможное, чтобы уберечь инвалидов от депортации. Отто Вайт похоронен на одном из кладбищ Целендорфа. Его могила имеет статус «Почётного захоронения».

Теодор Гёрнер (1884 - 1971) – заведующий маленькой типографией и переплётной мастерской, спас от депортации 22 еврея. Вполне закономерно, что в честь Теодора Гёрнера в аллее Праведников Мира, в Яд ва-шеме, высажено дерево. Правительство ФРГ наградило его «Крестом за заслуги перед Отечеством». Похоронен в Нойкёльне в Парковом кладбище. Могила его, также как и могила Вайта, имеет статус «Почётного захоронения».

Инга Дойчкрон (род. в 1922 г.) – последние два года войны провела в подполье. После войны обрела профессию журналиста. Долгое время работала корреспондентом израильской газеты Maariv. Около 15 лет жила и работала в Израиле. В 2014 году увидела свет её книга «Берлинские евреи в подполье».

Зигмунд Гиршберг (1880 - 1951) – участвовал в Первой Мировой войне в качестве военного фотографа. При нацистах (до эмиграции) – содержал портновскую мастерскую. Как оказалось, это его побочная профессия. На самом деле он всю жизнь работал кантором Еврейской общины Берлина.

Врач Густав Хельд открыл в день падения Берлина, 2 мая 1945 года, в помещении бывшей мастерской Вайта практику по внутренним болезням.

Справка: в мае 2014 года в столице Германии был открыт Мемориальный Центр, посвящённый участникам немецкого Сопротивления.

Литература: Inge Deutschkron, Berliner Juden im Untergrund, Druckerei Conrad GmbH Berlin, 2014, S. 47

Knobloch Heinz, Der beherrzte Reviervorsteher, Jaron Verlag GmbH, 2003, S. 201
Regina Scheer, Im Revier 16; Die Hackeschen Höfe; Geschichte und

Geschichten einer Lebenswelt in der Mitte Berlins. Verlag Argon, 1993, S. 74 - 79

Грета Ионкис



МЕТАМОРФОЗЫ МАРТИНА ВАЛЬЗЕРА

Мартин Вальзер – последний ныне здравствующий представитель «поколения вернувшихся», входивший вместе с Рихтером, Бёллем, Грассом, Кёппеном, Ленцем в «Группу 47», с которой начиналась литература послевоенной Германии. Их всех представлял читателю недавно опочивший влиятельный критик Марсель Райх-Раницкий. Вальзера связывали с ним особые драматические отношения: дружба-вражда. При этом критик, заслуживший репутацию «Литературного Папы», считал Вальзера одним из самых крупных современных писателей, называл его гениальным, что не мешало литературным разносам.

Предопределение пути

Вальзер, родившийся в 1927 году в католической семье в Баварии, рос мечтательным тихоней, с 12 лет писал стихи. Не окончив школы, в 1944 году был призван в вермахт. Вскоре мать получила известие о гибели старшего сына. Солдат горного егерского полка, Мартин попал в плен к американцам, не став, к счастью, «навекі восемнадцатилетним». В лагере ему вновь повезло: замеченная начальством страсть к чтению избавила его от обязанности мыть танки, ему нашлось место в канцелярии, а вскоре американский лейтенант, симпатизировавший молчаливому очкарику, и вовсе отвёз его с рюкзаком, набитом книгами, в родной городок на берегу Бодензее. Вскоре к его сокровищам добавился двухтомник Гейне, добытый у букиниста. «Атта Троль» просто свёл юношу с ума. По окончании школы он изучает литературу, историю и философию в университетах Регенсбурга

и Тюбингена. В 1951 году защищена диссертация о поэтике Франца Кафки. Поработав радио- и телережиссёром в Штуттгарте, Вальзер окончательно избирает писательский путь.

Успешный дебют тридцатилетнего

[253]

Его первенец «Самолёт над домом и другие рассказы» (1955) был в том же голу отмечен премией «Группы 47», в которую он был принят в 1953-м. За роман «Браки Филиппсбурга», первый в трилогии, куда позже войдут «Один тайм» (1960) и «Единорог» (1966), Вальзер получил в 1957-м премию Германа Гессе.

В его первых рассказах заметно влияние Кафки, что сразу подметил Райх-Раницкий – в них сильно притчевое начало, концепция личности близка Кафке – герои ощущают себя чужаками во враждебном мире. Даже в ситуациях прослеживается нечто кафкианское: герои безуспешно сопротивляются властным инстанциям, от которых невозможно ускользнуть, будь это всеильный финансовый магнат, жестокосердый неумолимый врач страховой кассы или бюрократы домоуправления. Возвращаясь к упрекам критиков в приверженности к героям-неудачникам, Вальзер писал: «На мой взгляд, вся мировая литература имеет дело с неудачниками. Просто все герои, от Антигоны до Йозефа К., не относятся к тем, кто выигрывает в жизни. Кроме того, каждый, перебрвав в памяти своих знакомых, может констатировать, что люди интереснее, когда они терпят неудачу, чем когда оказываются победителями». Неудача вызывает напряжение творческих сил, что Вальзер ценит превыше всего. Из неудач, которых на его пути было немало, выросал его собственный успех.

Д и П / 2016

Ироничный и яростный хронист нашего времени

«Браки Филиппсбурга» – роман, в котором талант Вальзера раскрылся по-новому: он проявил себя как мастер нюансировки бытовой детали и создал настоящий микрокосм провинциального городка. На этот раз автор не отстранён, не безучастен к героям, он явно критичен. По жанру книга близка «роману карьеры» Бальзака и Мопассана.

Действительность Западной Германии конца 50-х годов, пережившей экономическое чудо, представлена Вальзером в ярком и беспощадном свете. Главный герой Ганс Бойман, внебрачный ребёнок деревенской служанки, получивший образование ценой невероятных усилий, всту-

Грета Ионкис

пает в жизнь с желанием выбиться из унижительной бедности и надеждой преуспеть на стезе журналистики. Читатель знакомится с ним в первый день его приезда в Филиппсбург, когда, он безуспешно пытается попасть на приём к главному редактору «Вельтшау» Бюсгену, а затем, изнемогая от жары, тащится на окраину, чтобы снять задёшево комнатёнку.

Движение героя по лестнице к материальному успеху длится недолго, ибо за ним стоит любящая Анна Фолькман, его недоучившаяся «однокашница», а точнее – её отец, богатый и влиятельный делец, предложивший Гансу работать вместе с Анной в рекламном бюллетене Союза промышленников. Вхождение в так называемое высшее общество оборачивается моральным скольжением вниз. При этом он гонит прочь мысли о том, что предаёт свою юность, её идеалы. Он успокаивает себя: такова неизбежная цена за превращение юноши в преуспевающего мужчину. К этому выводу Ганс приходит, наблюдая общество на вилле Фолькманов. Лживость пронизывает все отношения гостей, среди которых известный гей, главный редактор Бюсген и режиссёр тен-Бенген, врач-гинеколог циник Бенрат и адвокат Альвиц, «нацеленный только на то, что поддавалось измерению в цифрах», певица-наркоманка Алина и владелица художественного салона Сесиль – предмет вожделения сразу нескольких гостей. Завеса лжи особенно плотно окутывает семейные отношения, где плохо скрываемая, подчас убийственная ненависть супругов соседствует с откровенным адюльтером. Взгляд героя проникает за эту завесу, ему противно это соседство, и всё же радость пересиливает горечь: ведь он одолел путь наверх. Этим путём идти нашему герою... А у тех, кто не вписался в лживый мир, как жена Бенрата, нежная «женщина-грёза», или как талантливый аутсайдер Клафф (тот отстаивал своё самостоянье, не шёл на компромиссы), выход один – самоубийство.

Роман «Браки Филиппсбурга» в обширном, хотя и неравноценном, творческом наследии плодовитого Вальзера остаётся одной из вершин, более того, он стал источником тем и коллизий для его последующих произведений.

Огромный 900-страничный роман «Один тайм» явил значительные перемены в писательской манере Вальзера. Профессия главного героя Ансельма Кристляйна – торговый агент – позволила расширять и бесконечно менять диапазон действия. Отсюда – замах на эпос. Главное в книге – потрясающее внимание к деталям. Автор рассматривает их под микроскопом, причём важные и незначительные соседствуют на равных. В этих деталях кроется правда. Но при этом сам «фанатик микроанализа» (оценка Райх-Раницкого) признаётся, что не знает, что «даст в итоге сумма этих многочисленных подробностей». Из суммы нюансов трудно создать эпический мир. Слова нанизываются, как бусины в

ожерелье, водопады, бесконечные каскады слов. При этом «читатель тонет в словесном потоке, не в состоянии оценить артистичность первоклассного жонглёра и его рискованный юмор» (Г.М.Энценсбергер). А юмор Вальзера граничит то с цинизмом, то с дружелюбным сарказмом. В этом романе, как и в первом, говорится только о сексе, не о любви. Автор проявляет себя как апологет повседневного существования, но это поток жизни без берегов. И в целом роман, по мнению Райх-Раницкого, «являет собой аморфную эпическую массу, где полная бесформенность возведена в принцип построения».

Тем не менее, именно Райх-Раницкий назвал Вальзера нарушителем спокойствия и отважным провокаторм. Если помнить, что так критик аттестовал и любимого им Генриха Гейне, становится понятно, что он знал цену Вальзеру и предъявлял ему требования в соответствии с его талантом. Да, он назвал его роман «По ту сторону любви» (1976) «никуда не годной, жалкой и бессодержательной книгой», но ведь когда вышла в 1978 году его новелла «На полном скаку», именно Райх-Раницкий первым оценил: «Шедевр!» и был прав: в наследии Вальзера она, изданная более чем полумиллионным тиражом, и сейчас занимает центральное место. Мартин Вальзер как протоколист колик и судорог общества был оценён и неоднократно отмечен литературными премиями: имени Герхарта Гауптмана (1962), Шиллера (1980), Бюхнера (1981), Рикарды Хух (1990), Гёльдерлина (1996). И это далеко не все награды, и они вполне заслужены.

Многоликость таланта

Поселившись в 1957-м у Бодензее, вдали от суетной толпы, Вальзер не стал отшельником. В середине 60-х он участвовал в предвыборной борьбе в пользу Вилли Брандта и активно занимался публицистикой. Он ездил в Гарвард и в Москву и прослыл «симпатизантом» (так называли сочувствующих террористам РАФ и коммунистам). Тяжесть «наследия Освенцима» побудила его отправиться во Франкфурт на процессы по делам нацистов из Аушвица. В итоге появилось большое эссе «Наш Аушвиц» (1965). Оно завершается признанием: «Достаточно одного взгляда на Освенцим, и каждый должен будет признаться, что мы всем этим не разделились. Всё равно, как ты с этим поступишь, но переложить свой долг на чужие плечи ты не сможешь. ... Больше всего мне бы хотелось не смотреть на Освенцим. Но я принуждаю себя к этому. Если я некоторое время не принуждаю себя смотреть на него, то замечаю, что начинаю дичать». Запомним эти слова.

Он был противником войны во Вьетнаме, а затем – в Афганистане: «Я не ощущаю себя на стороне людей, ведущих войну». С завидным постоянством к месту, а чаще не к месту, явно опережая события, Вальзер выступал против раздела Германии, за её объединение. И ход истории подтвердил его правоту. «Поговорим о Германии» – так назвал он публицистическую книгу 20 лет спустя, в которой продемонстрировал чуткость сейсмографа к переменам в общественном климате. Он мог ошибаться в оценках, но тенденции улавливал верно.

Поистине трогательна забота Вальзера о литературной традиции. В книгу «Опыт и опыт чтения» (1965) вошло эссе «Гёльдерлин на чердаке», немало способствовавшее возвращению из забвения поэта, который ощущал себя гражданином грядущих поколений. Недовольный сам собой и своим временем/безвременьем, поэт писал: «Я люблю человечество грядущих столетий». В позднем эссе «Соответствовать Гёльдерлину» (1998) Вальзер представил самого звёздного из романтиков посредником в споре между прошлым и будущим. Соответствовать Гёльдерлину означает, по Вальзеру, «не останавливаться на самом себе», а приближать мир к идеалу. В этом – призвание гения.

«Объяснение в любви» (1983) – так назвал Вальзер сборник своих эссе и статей, посвящённых классикам Шиллеру, Бюхнеру, Гейне, Кафке, Прусту, Брехту и современникам. Само название говорит о его отношении к собратьям по перу. Вальзер не только писал, но и читал в Германии студентам лекции по поэтике и в течение 10 лет преподавал в США и Англии, что увеличило его известность.

Вальзер – автор 15 пьес, он оставил заметный след и в драматургии. Первая его книга в моей библиотеке – «Дуб и Кролик» (1964), сборник трёх антифашистских пьес, переведённых на русский язык. В его активе – книги путевых очерков.

Если бы Юрий Олеся не издал книгу «Ни дня без строчки», можно было бы использовать эти слова как эпитафию, как жизненный девиз Мартина Вальзера. Три тома своих дневников он недавно выпустил под названием «Жить и писать», туда вошли дневниковые записи с 1951-го по 1978 год.

Время позорных скандалов

Осенью 1985 года Германию потряс скандал, вызванный попыткой поставить во Франкфурте пьесу «Мусор, город и смерть», давно написанную известным кинорежиссёром Райнером Фассбиндером (1945-82). Пьеса о еврее-спекулянте, родители которого погибли в Треблинке, скупавшем задёшево недвижимость в послевоенном Франкфурте,

лишённая художественной ценности, была однако экранизирована в Италии («Время ангелов», 1975). Откровенно антисемитский дух пьесы побудил членов еврейской общины во главе с председателем Игнацем Бубисом (финансовые успехи которого, если следовать правде во всём, напоминали деятельность героя пьесы), захватить сцену и сорвать премьеру. Однако сам факт свидетельствовал о существующей в ФРГ подковёрной еврейской проблеме. Видимо, кое-кто в Германии решил, что пришло время снять с неё табу.

Под девизом «Покончить с запретами» летом 1986-го начался спор историков, развязанный берлинским пенсионером Нольтке, доклад которого «Прошлое, которое не должно проходить» неожиданно опубликовал Йохим Фест на страницах «Франкфуртер Альгемайне». Нольтке восхвалял войска СС как «высшее проявление воинской доблести», защищая национал-социализм, он сваливал его преступления на других, говоря, что Холокост – следствие, а то и копия большевистского террора. А вообще он был согласен с нацистами в том, что евреи – вредные насекомые, от которых следовало избавиться. Требования подобного пересмотра истории поддержали немногие. Дискуссия ничего не дала науке, но свидетельствовала о духе времени.

В 1998 году Вальзер, выступая с речью во франкфуртской Паульскирхе по случаю вручения ему премии Мира немецкой книготорговли, назвал Освенцим «моральной дубиной» и высказался против превращения «национального позора Германии» в «политический инструмент». Когда-то, в своём эссе он написал: «Всеми нами владеет это искушение освободиться от Освенцима... но мы должны признать: Освенцима нам не преодолеть». Под названием «Освенцим и несть ему конца» эссе Вальзера вошло в книгу-каталог «Berlin-Moskau. Москва-Берлин. 1900-1950», вышедшую в связи с одноимённой выставкой, прошедшей в двух столицах в 1995-96 гг. И вот спустя 2 года такой поворот, такая метаморфоза... Как я объясняю? Уже отмечено сходство писателя с сейсмографом. Вальзер уловил настроения в немецком обществе, потребность пересмотра отношения к национал-социализму и на них откликнулся, поддался искушению, ибо таков был *vox populi* – глас народа...

В 2002 году последовало продолжение скандала: Вальзер написал роман-пародию «Смерть критика», в герое которой все узнали живого Марселя Райх-Раницкого. Насмешка, смешанная с затаённым уважением кроется в его имени – Эрл-Кёниг (отсылка к гётевской балладе «Лесной царь»). Могущественный критик по-королевски вершит свой суд во имя Немецкой Литературы. Но не язвительный гротеск стал причиной скандала, а антисемитские клише (в частности выражение «убить еврея»), использованные автором.

Зав. отделом культурной политики «Франкфуртер альгемайне» Франк Ширрмахер отказался публиковать роман на страницах газеты и заклеил его как «документ ненависти». Книга написана наспех, и злобы в ней больше, чем остроумия – таково было мнение большинства. Эта книга нанесла серьёзный удар его репутации. Вальзер всячески отбивался от обвинений в антисемитизме и признавал лишь желание сквитаться с критиком, который «достал» его своими разгромными статьями. Тем не менее после вышеозначенных эскапад он уронил себя в глазах той части общества, мнением которой дорожил, и потерял право быть моральной инстанцией, каковой считался, как и Гюнтер Грасс, долгие десятилетия.

«Повинную голову меч не сечёт, или На круги своя...»

Обвинения в антисемитизме больно ранили писателя, но сидеть, посыпав голову пеплом, было не в его обычае. Одна за другой выходили новые книги, среди которых скандальная «Биография любви», «задевшая за живое самых благополучных читателей» («Шпигель»), роман о любви и сватовстве старого Гёте к Ульрике Леветцов «Любящий мужчина». Вышли «Мысли Мессмера» – «мозаичные камушки автобиографической психогаммы», отрывки из дневника и записных книжек. Вальзер назвал вымышленного Мессмера «самым интимным персонажем». Ему он доверил свои мысли о старости, боли, смерти и главное признание: «Для меня писать – значит жить».

Признание ошибок приходит с годами. Журналисту Ширрмахеру пришлось умереть, чтобы Вальзер в некрологе смог написать: «То, что он предпочёл Райх-Раницкого мне, я понимаю сегодня лучше, чем тогда». Перейдя рубеж 85-летия Вальзер переосмыслил и своё отношение к еврейству. Тому способствовало его обращение к прозе основоположника еврейской классической литературы Менделя Мойхер Сфорима (настоящее имя Шолом Абрамович). Он открыл для него мир, дух и душу восточно-европейского еврейства. Благодаря ему он понял, каковы были евреи, как они чувствовали, о чём думали и мечтали. Год назад Вальзер написал о нём большое восторженное эссе, назвав его памятником Абрамовичу и посвятив его Сюзанне Клингенштайн, его давней американской знакомой, автору капитальной книги о культурной истории евреев. Правда, критика приняла его книжечку недоверчиво как попытку компенсировать прошлые скандалы.

В большом интервью, которое Вальзер дал журналу «Шпигель» в Мюнхене весной 2015 года, он признался, что, только прочитав Абра-

мовича, он наконец понял, что произошло с евреями. Изучение Гейне, дневников Виктора Клемперера не столь мучительно подействовало на него, как романы Абрамовича. «Клемперер подвёл меня к вопросу о позоре и вине на интеллектуальном уровне. Этот народ, который мы хотели уничтожить и уничтожили миллионами, я сейчас, только сейчас, действительно узнал. Только прочитав Абрамовича, я пришёл к тому, что никогда больше не смог бы произнести того, что сказал в Паульскирхе».

На встрече с журналистами Вальзер принёс несколько книг, среди них сборник его эссе и выдержек из литературных произведений «Наш Аушвиц. Рассмотрение немецкой вины», выпущенный издательством «Ровольт» в 2015-м. «Инициатива исходила от издательства, несмотря на реакцию прессы на книжечку об Абрамовиче, – говорит Вальзер. А она ведь показала, что я наконец избавился от своих заблуждений. Это было, как переход в другую веру, избавление от мой прежней слепоты относительно еврейской судьбы. И Александр Фест из «Ровольта» попросил позволить сделать книгу, которая показала бы документально, как я десятилетиями рассматривал Холокост, в то время как критики не имеют об этом понятия».

Читатель может ознакомиться и с интервью, и с последними книгами Вальзера. На пороге 90-летия он жаждет реабилитации, уходить с клеймом антисемита ему невыносимо. Ну что ж, «повинную голову меч не сечёт».



Марк Эпштейн

А. Блока, В. Короленко, А. Франса и других.

Появилась брошюра «Протоколы сионских мудрецов», разжигающая новую волну антисемитизма. По средней полосе России и, особенно, на Украине и в Бессарабии прошли массовые еврейские погромы с грабежами, унесшими много жизней. Бесчинства «Чёрной сотни» откровенно не пресекались. К тому же, расте-

Леонид Бердичевский

МАРК ЭПШТЕЙН. ЗАМЕТКИ О ХУДОЖНИКЕ В КОНТЕКСТЕ «КУЛЬТУР-ЛИГИ»

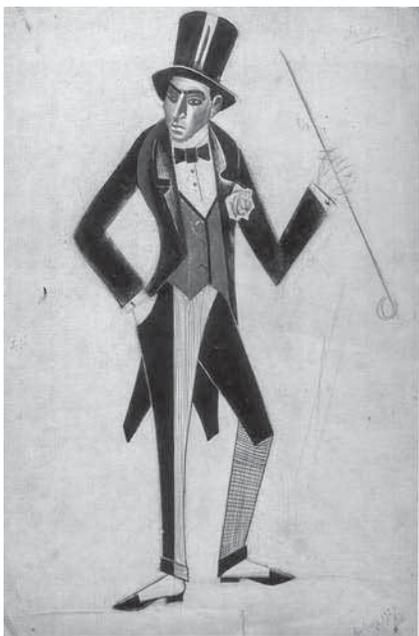
Начало XX века ознаменовалось в царской России ещё большим, чем прежде, разгулом антисемитизма. К пресловутой черте оседлости, вне которой евреям жить вообще не позволялось, а внутри, как правило, лишь в маленьких городах – «штетлах», прибавилось ещё «Дело Бейлиса». Тогда ни в чём не повинного приказчика кирпичного завода в Киеве обвинили в убийстве мальчика Андрея Ющинского якобы с ритуальной целью употребления его крови для выпечки мацы.

«Дело» потерпело крах благодаря защите невиновного крупными деятелями культуры в лице

рянность власти от поражений на фронтах Первой мировой войны и революционное движение, набравшее всё больший размах, вконец деморализовало органы правосудия.

На фоне этих событий начался невиданный ранее подъём национального самосознания еврейского народа. Стали появляться кружки, общества и даже союз еврейских активистов «Бунд», в них обсуждались и принимались решения для улучшения дальнейшей жизни в России.

Небывалый резонанс получили произведения писателей, пишущих на языке идиш, художников,



[261]

Д и П / 2016

Асониа Бердичевский



представляющих еврейские темы. Была предпринята этнографическая экспедиция по изучению наследия еврейского народа во главе с крупнейшим учёным Ан-ским (С.А. Раппопортом), выявившая много первоисточников возникновения еврейской культуры.

В Витебске, выпускник Санкт-петербургской Академии художеств Иегуда Пэн открыл частную Школу рисования и живописи, которая просуществовала до 1919 года. Среди учеников Школы были Эль Лисицкий, М. Шагал, О. Цадкин, Заир Азгур, И. Чашник, С. Юдовин, О. Мещанинов и другие, которые в дальнейшем стали выдающимися мастерами мирового значения. Кстати, эта Школа позднее была преобразована М. Шагалом в Витебское художественное училище. Но-

вейшие направления и веяния в искусстве на Западе оказали в то время огромное влияние на развитие изобразительного искусства в России, и в частности на учеников И. Пэна и М. Шагала.





Эти события стали почвой, на которой в 1919 году в Киеве возникло еврейское объединение «Культур-Лига». Помимо художников в неё входили литераторы, музыканты, артисты, книгоизда-

тели. Формально «Лига» просуществовала всего лишь до 1924 года, затем многие из её ярких представителей разъехались по разным городам и странам...

Главной задачей «Лиги» было возрождение национальной культуры еврейского народа во всех её ипостасях. Особенно явно подъём выразился в секции изобразительного искусства. В ней сосредоточилась большая группа художников, искренне верящих в своё предназначение. Это были молодые люди, которым в скором будущем предстояло внести большой вклад не только в еврейское, но и в мировое искусство. Среди них следует назвать Эль Лисицкого, А. Тышлера, Н. Шифрина, И. Бер Рыбака, С. Шор, И. Чайкова, С. Никритина, Б. Аронсона, М. Эпштейна.



На первых порах в «Лигу» входили также, уже к тому времени знаменитые, М. Шагал, Д. Штеренберг, А. Маневич, Н. Альтман, Р. Фальк. Влияние их несомненно и бесспорно. Во главе «Лиги» стоял министр по еврейским делам в правительстве Центральной Рады Моше Зильберфарб.

Синтез старого и нового, превращающий еврейское искусство в неотъемлемую часть мирового искусства, оказался точен, и вскоре был доказан художниками.

В этих заметках остановимся на самом молодом из всех членов «Лиги», скульпторе, графике и театральном декораторе, Марке Эпштейне, который, можно сказать, «ворвался» в необыкновенный мир искусства.

Вот его краткая биографическая справка.

Эпштейн Марк Исаевич родился в 1899 году в Бобруйске (Белоруссия), в семье ремесленника. Вскоре семья переехала в Киев. Здесь Марк пошёл в хедер, в котором он получил первые уроки религиозных знаний, по-видимому, именно отсюда идёт его постоянное стремление к познанию быта и культуры еврейства. Способности его обозначились с раннего детства. На сохранившейся фотографии ребёнком, в окружении ротозеев, он лепит из снега портрет Льва Толстого. Статья в газете с этой фотографией и комментарием сыграли решающую роль в выборе профессии.





В 1911 году его зачислили в первый класс Киевского художественного училища, откуда вскоре он был отчислен из-за неуплаты за учёбу, так как родители имели скромный доход. Но, тем не менее, он всё-таки окончил училище в 1918 году по классу скульптуры Фёдора Балавенского, знаменитого мастера декоративно-монументальной пластики. Затем Марк посещал студию Александры Экстер, где познакомился со многими, ставшими в будущем соучениками по «Культур-Лиге». Экстер, в основном, работала тогда для театра, находясь под влиянием кубофутуризма. Она была дружна с П. Пикассо, Ж. Браком, А. Лотом и другими основателями этого течения мирового авангарда. Её влияние на учеников неоспоримо. В частности, автору этих строк многое об этом периоде рассказывал её ученик В. Г. Меллер. И неспроста, первые работы Эпштейна и его коллег откровенно пронизаны этим влиянием. Весной 1918 года он участвует в выставке художников-евреев в Москве. Его работы получили положительные отзывы в прессе. Тогда же он стал одним из инициаторов создания художественного отдела «Лиги». В нём, помимо художественных работ, разрабатывалась теория развития еврейского национального искусства в контексте новых достижений мастеров «Лиги». Эпштейн стал преподавать в ней, предлагая авангардные убеждения на примерах своих работ.

В 1922 году студия при «Лиге» превратилась в еврейскую художественно-промышленную школу. Принципом школы была свобода творчества и самобытность каждого ученика. В 1924 году он писал: «Боюсь навязать что-либо от себя, заглушить ростки самобытности, даю технические приёмы, прививаю профессиональные навыки». В 28 лет он казался своим ученикам господином почтенного возраста. Окончательно «Культур-Лига» была ликвидирована в 1932 году. Вклад её огромен и, в частности, это касается творческой и подвижнической деятельности Марка Эпштейна. За все годы существования «Лиги» им были выполнены множество иллюстраций к произведениям еврейских писателей. Оформлено несколько спектаклей, появились скульптурные портреты деятелей еврейской культуры М. Гнесина, С. Михоэлса, Л. Квитко, Д. Гофштейна и других.

Первый биограф Эпштейна Г. Адольф писал: «До 1915 года в творчестве художника превалирует увлечение импрессионизмом. Велико влияние на него О. Родена, К. Менье и других. Тогда же его частые приезды в Москву и работа в музеях пополняли его художественное образование и углубляли поиски новых видений». С 1918 года он всецело увлечён кубизмом, как в скульптуре, так и в графических листах.

С 1920 года его станковые и иллюстративные циклы отличаются



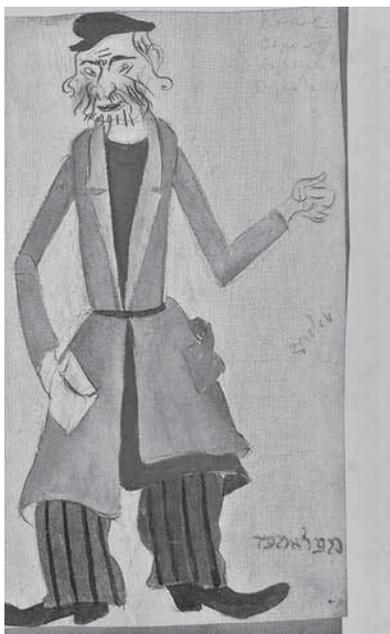
разработкой новых форм и новых решений. Это видно в листах «Родина», «Двое», «Портной». «Виолончелист». В последней работе он достигает особой динамики кубистического построения. В ней подчёркнуто острые углы, полукружия, чётко натянутые диагонали струн передающие движение мелодии. Тело персонажа моделируют конусообразные объёмы на геометрических площадях. Впрочем, так же можно разбирать и другие работы этого периода. Художник смело пользуется языком символов, подробностью повествования, старается точно передать фактуру материала в композиции. (Например, металл самовара, деревянный пол, каменные дома и т.д.).

С 20-х годов он сотрудничает с издательством «Культур-Ли-



ги». Рисует обложки к журналу «Фрейд», иллюстрирует книги Э. Фининберга «Стихи», Э. Сливака «Игра и работа», Шолом-Алейхе-ма, Д. Бергельсона, Р. Киплинга «Рики-Тики-Тави» и других. Он создаёт цельный книжный организм. Здесь и полосные иллюстрации, заставки и концовки, обложки и рисованные шрифты. Одним словом, оформление книги в одном ключе. В еврейских книгах ярко выражен подлинный еврейский характер, – этнография, фольклор, костюмы и т.д. Однако, индивидуальность художника, его стиль и метод ярко видны. Его лаконизм насыщен психологическим влиянием народного лубка, детского рисунка (в детских книжках), а также кубистической пластической новизны. Как подметил один из зачинателей «Культур-Лиги» Б. Аронсон: «Основной чертой всего еврейского народного искусства является его подчёркнутая двухмерность». И Эпштейн никогда не отходил от этого канона.

По иному развивается его мастерство в конце 30-х годов. Им создано более ста станковых композиций, изображающих евреев-переселенцев в поисках работы на свободных территориях новых земель. На выставке к десятилетию Октября были представлены также работы еврейских художников А. Тышлера, И-Б Рыбака, Н. Альтмана и дру-



гих. Эпштейн выставляет работы «Женщина, кормящая козу», «Возвращение с полей», «Крестьянин», в которых гиперболизация телесности в пластических композициях персонажей откровенна. Они переполнены силами природы. В частности, его работа «Рыбак» монументальна. Персонаж подан в таком ракурсе, что зритель рассматривает его снизу вверх. Его фигура создаёт впечатление гигантской мощи, даже несколько преувеличена, словно фреска.

Чувства античного объёма фигур, красоты, замкнутости композиций видны на многих последующих работах художника. Единение человека с окружающим миром, стихией, трудом. Он от этого никогда не отступал.

Эпштейном единожды избран путь, на котором еврейское искусство прочно вписано в контекст всемирного искусства. Его творчество совершенно как в скульптурных, так и графических работах. К сожалению, он прожил недолгую жизнь. В последние годы, в Москве, он организовал у себя в квартире художественную студию. Делал эскизы надгробий, а также оставил много пейзажей.

Умер Марк Эпштейн 19 августа 1949 года в Москве.



**Станислав
Львович**

[269]

БУКЕТЫ МОИМ БАБУШКАМ

(Окончание. Начало см. в альманахе «До и после» №19)

Раиса Наумовна Брудно-Аронсон-Стефанюк

* * *

Грустно смотрят звёзды с тёмной вышины. Бледное сияние призрачной луны. золотит решётку узкого окна. Где-то в отдаленье песенка слышна. Грустно распевает голос молодой: «Кто знаком с любовью – тот знаком с бедой». Сердце мне сжимает тихая печаль. Жаль мечты заветной... И было жаль... Позабить бы надо про тоску свою. Да не сладит с сердцем... Всё твердит: «люблю». Проплывают думы грустной чередой...

«Кто знаком с любовью – тот знаком с бедой»...

* * *

Полумгла. Причудливые тени. Грустный тополь шепчет у окна. В бледном полумраке ты одна. Уронила руки на колени. Дрогнули бескровные уста, На ресницах задрожали слёзы. Будит сердце робкая мечта, Веют грустью безотчётной грёзы. Всё растёт безумная тоска По любви схороненной, далёкой. Тает грустный вечер. Ночь близка. Ночь схоронит горе одинокой.

Судьба подарила мне шанс – узнать ИСТИНУ из самого первоисточника – и я этот шанс упустил...

Вместо пролога

[270]

В фундамент каталога знаменательных совпадений наша семья внесла свои, весомые, камешки. Весной мне должно исполниться – 50 лет, старшему сыну – 25, старшему внуку – 5 месяцев. После первого развода минуло 10 лет, а второй раз я женат уже пять лет... Но завершает список *пятикратных* моя Бабушка...

Ей сегодня 90 лет, и именно она и есть главный юбиляр...

Старушка согласилась отпраздновать годовщину в назидание и поучение внукам, правнукам, и уже наметившимся праправнукам (точнее – праправнучке, которая должна появиться на свет через пять месяцев).

После согласования всех дат и пожеланий мною, как старейшим из мужчин семейства, был назначен, юбилейный оргкомитет для празднования славной семейной годовщины пребывания Бабушки на земле. В своей краткой содержательной речи я обрисовал жизненный путь Бабушки от первых шагов в литературной журналистике далёкого, революционного, городка Гомеля, до первого, левореволюционного, кружка отчаянных соратников из рабочих... Затем вспомнил её годы в вологодской тюрьме и последующей якутской ссылке. Многие были обнародованы мной впервые и, не скрою, потрясло наших с Бабушкой потомков... Минувя многие биографические факты последних 55 лет жизни юбиляра, я перешёл, как всегда, пользуясь моментом, к изложению очередных задач семейного коллектива во всех его подразделениях, перечислил пути и способы субъективного преодоления до сих пор не преодоленных объективных трудностей...

Мой младший сын, аспирант-второгодник, «от имени и по поручению» предложил возглавить научно-семейную конференцию: «Здоровая семья – залог здоровья!» с докладами: «Долголетие – в массы!», «Обучение печатному и отучение от непечатного слова в детсадовском возрасте», «Разумное сочетание труда жены и отдыха мужа» и «Прогнозирование характера по поведению плода и плодоножек в пренатальном возрасте»...

От имени жён и матерей выступила моя супруга (от второго брака), призвав всех, способных сидеть, встать на трудовую вахту, ликвидировать малотоннажные и порожние рейсы по магазинам...

Будущий папа обязался вдвое ускорить оборачиваемость оборотных пелёнок, повысить качество их проглаживаемости и закупить для ближайшей заграничной поездки сотню памперсов... Закипела работа в банкетной, подарочной и гостевой комиссиях. Трудности возникали и почти одновременно разрешались... Заменяли дефицитные товары на дефицитные идеи и компромиссы, в результате дефицит становился

явью, плотью, статьёй расхода и предметом гордости и удовлетворённого тщеславия: икра, майонез, зелёный горошек, марокканские апельсины, сибирские кедровые орешки, французские мороженные цыплята и кубинский ром... С вином чуть не случилась промашка... Юбиляр категорически отказалась от кагора, который ей надоел ещё во время причащений в мрачные годы церковно-приходской школы. Пока ещё советское «Шампанское» она тоже забрала, так как его стали выдерживать не в дубовых, а в титановых бочках. А из общажных титанов Бабушка вдосталь напилась в голодные послереволюционные годы... Как всегда, выручила вишнёвая настойка моей рецептуры: патриотично, экономично, берёт за душу и хорошие мысли навеивает в любом возрасте...

В подарочной комиссии проколы! Не успевают ограничить пару драгоценных, якутских алмазиков и опоздали закупить вологодские лапотки... Остановились на козье-пуховом платке из башкирских степей и само-вывезенном мною янтаре с отвальных берегов Куршской косы... Дети выучили папины стихи... Отрепетировали танец «ручеек», и настригли девяносто бумажных журавликов «Оригами»...

Юбилей стремительно набегал и вот он грянул... По звонку старинного будильника моя сестра раскрыла двери столовой, все родные и приравненные к ним близкие сгрудились в коридоре у входа... Под свадебный марш Мендельсона-Бартольди правнук Юбиляра – весь в чёрнобелой, почти фракной паре, как дирижёр «Сна в Летнюю Ночь» – строго и почтительно провёл свою Прабабушку к столу. Прабабушка – чуть боязливо опиралась на крепкую руку своего потомка... На тёмно-синей батистовой кофте – сшитой ещё до рождения внука – тихо позвякивали самые скромные и такие бесценные медали: «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

Как всегда, она была в своих древних, целлулоидных очках с толстыми стёклами... Сквозь эти стёкла глаза её казались утонувшими в страшно далёкой глубине времён.

Потомок ласково помог ей усесться в её старенькое, хотя и старинное, кресло.

Усевшись, Бабушка начала рассматривать всё и всех и тихо улыбаться этой суете вокруг стола. Получив «добро», все младшие по званию и по возрасту бросились на заранее указанные места. Самые младшие из допущенных уселись за маленьким детским филиалом стола «для больших» и начали «оттягиваться», как кому позволяло воспитание и энергия... Взрослые, и приравненные к ним, приступили к разбору салатов (красно-свекольных, куро-картофельных, крабо-яичных), пошла апробация всяческих вин, крушонов и водок. Наконец, и как всегда

неожиданно, за столом возникла тишина. Все устремились взорами к Бабушке. Она же молча оглядывала нас сквозь круглые, серебристые очковые линзы и, казалось, заглянула куда-то так далеко, что нам не дано будет никогда. Для нас – далёкое и практически незнакомое прошлое, для неё – вечно настоящее. Что виделось ей в эту тихую паузу? Её политический кружок из подпольщиков - бомбистов? Бедный Петро? Михаил? Маркус? Измаил и Иван? Где их могилы?

Вологодская тюрьма и голодовка политических? Якутская ссылка? Редкие свидания с собственным сыном, отданным на сохранение в чужой дом? Голубые, прямолинейные шупальцы прожекторов в ночном небе столицы? Затяжной визг и небывалый грохот разорвавшейся около дома гигантской авиабомбы? Закоченевшее тело сына, пробитое пулей немецкого снайпера?

На стенах Войны отпечатки всех рук: Российских крестьян и берлинских рабочих. Среди них и твои – Политрук Стефанюк...

Полвека назад... Может, прошлую ночью?

Спустя десятилетия

А может быть, она с облегчением ощутила, что уже с самого утра не кружится голова, и ей удаётся расслышать такие молодые и громкие голоса её семьи?

И только старший по застольной должности запустил вереницу юбилейных тостов, как Бабушка поднялась, нетвёрдо держа серебряный шкалик, и произнесла еле слышно, как бы про себя:

– Вспомним Григория Яковлевича Аронсона – нашего Дедушку!

Мы разом загасили слегка слащавые, уважительные улыбки, встали и молча выпили.

Дедушка был семейной легендой...

Аронсон Григорий Яковлевич (1887–1969) – историк, публицист, общественный деятель.

Еще в гимназические годы под влиянием своей старшей сестры увлёкся идеями социал-демократии.

В 1908-м году вступил в Бунд, с 1909-го года – активный сотрудник еврейского «Общества Ремесленного Труда» (ОРТ), которое функционирует в Германии и по сию пору, уже в Берлине был его Генеральным Секретарём, также Общества для распространения просвещения между евреями в России. После Октябрьской революции – активный меньшевик, деятель Правого крыла Бунда.

Был арестован, и в 1922-м году выслан из России. Поселился в Бер-

лине, работал в архиве Бунда, печатался в эмигрантских газетах и журналах. С 1940-го года жил в Нью-Йорке, был сотрудником редакции газеты: «Новое русское слово». Автор многочисленных исторических, публицистических и мемуарных публикаций на русском языке и идише.

А вот удивительные этапы его бытия уже после всех Революций.

После 1917 г. занимался активной меньшевистской и правобундовской деятельностью.

После разгрома немцами Минской Думы в июне 1918 переехал в Витебск, где 18.7.1918 был арестован Витебской ЧК в связи с организацией конференции уполномоченных фабрик и заводов. Постановлением Президиума отдела контрразведки ЧК от 10.10.1918, приговорён к заключению в концлагерь в качестве заложника. Отправлен в Москву, содержался в Бутырской тюрьме.

По ходатайству Всероссийского Совета профсоюзов торгово-промышленных служащих, постановлением Коллегии ВЧК от 25.10.1918 освобожден на поруки.

Вновь арестован в Витебске в 1921. Постановлением ВЧК от 21.2.1921 освобождён под подписку о невыезде с обязательной явкой по первому требованию ВЧК. Арестован 25.2.1921 в Москве в клубе: «Вперёд». Содержался в Бутырской тюрьме, обвинялся в агитации против Советской Власти. В том же месяце с группой (31 чел.) членов с-д доставлен в Орловскую тюрьму, где находился по сентябрь 1921. Был выбран старостой. Провёл девятидневную голодовку. Постановлением Президиума Верховного Суда от 14.12.1921 выслан в Туркестан на один год.

Получив разрешение выехать из СССР, в январе 1922, вначале в Ригу, а затем, 13.2.1922 прибыл в Берлин. С этого момента – активный участник эмиграционной деятельности меньшевиков. Жил в Германии, во Франции, а с 1940 г. – в США.

Активный публицист, с 1920 года по 1966 год писал о советском еврействе.

Сочинения и Публикации (1920-1966): «На заре красного террора», Берлин, 1929г.; «Правда о власовцах», «Проблемы новой эмиграции», Нью-Йорк.1949г.; «Революционная юность. Воспоминания 1903 –1917гг.», Нью-Йорк, 1961г.; «Россия накануне революции», Нью-Йорк, 1962г.; «Россия в эпоху революции: Исторические этюды и мемуары», Нью-Йорк; Библи. изд. 1966г.; Автор книг лирических стихотворений...

Бабушка продолжала стоять. Красное вино чуть выплеснулось на скатерть, но никто не решился перебить её...

– Я хочу выпить за вас, мои дорогие и, по-прежнему, мои маленькие... Живите долго и мирно. Вспоминайте нас, когда меня не будет в живых. Наверное, и ждать-то уж недолго осталось...

Она пригубила глоток и села, облегчённо прислонившись к спинке кресла, с явным удовольствием стала кутаться в подаренный пуховый платок.

Все стали дружно разубеждать, предлагать жить долго, а затем все разговоры разбежались по разным застольным группкам. Правнук включил кинопроектор, мы ещё раз увидели себя в нежных младенческих и юных возрастах. Затем закрутился кассетник, потом появилось кофе и к нему мороженое, полились песни и песенки, начались танцы.

Соседи снизу приходили справляться: «Долго ли ждать окончания, завтра им всем на работу, а малышам в детский сад».

Квартира – и комнаты, и коридоры, и кухня заполнились сигаретным дымом. Уснувшая за столиком малышня разбросана по разным уютным углам. Отзвенела после дня летящая на пол тарелка.

Таксисты, заранее заказанные, один за другим подлетали на своих «мустангах» к нашему подъезду. Спустя час в затихшей и опустевшей квартире остались только я и Бабушка.

Мы молча, стараясь не вспугнуть тишину, собирали посуду иставляли по всем полкам вазы с цветами. Хрусталь и «кузнецовский» фарфор Бабушка предпочла вытирать сама.

Она осторожно прикасалась к изящной посуде «из раньшего времени», иногда с удивлением и задумчивостью рассматривала тот или иной реликт, что-то нашёптывала то ли ему, то ли себе, то ли кому-то нам неизвестному. Эти вещицы проводили её в прошлое.

А под самую полночь мы с Бабушкой опять стали перелистывать её «секретный» альбом с фотографиями. Я бывал на фотовыставках, сам с младенчества осваивал фотодело (для меня это всё же было развлечением), и осознаю цену многим фотографиям из её альбома.

Это вехи прежних времён, событий, людей... По каждой из них хороший беллетрист мог бы создать великолепные тексты во всех жанрах – от романов-эпопей до иронических детективов. Странно, но до сих пор некоторые, весьма важные детали событий своей жизни, имена спутников, моя Бабушка держит в себе, не озвучивая их ни под каким предлогом.

Однажды, в середине её рассказов о технологиях захвата и удержания Власти в далёких зауральских местах, я попытался включить магнитофон в тот момент, когда она рассказывала о чекистских экспериментах над арестованной «мелкобуржуазной сволочью».

«Любознательные исследователи» практическим путём определили: «Сколько голов пролетит - пробьёт пуля «маузера» расстрельщика... Обозначилась цифра – около одиннадцати. Но там же обнаружилось, что детских голов одна пуля может проскочить гораздо больше. Ни записать эти страшные «показания», ни услышать имена «исследователь» мне не удалось – «свидетельница ушла в глухую молчанку».

Интерлюдия

*Воспоминания Раисы Наумовны Брудно (Аронсон, Стефанюк), 28 ноября 1906 г.
Светлой памяти Николая*

«Целая неделя прошла в ожидании казни. Искали палача.

И каждую ночь мы ждали, что вот-вот возьмут, уведут НИКОЛАЯ от нас. Мы не спали по ночам – я и Маруся Спиридонова. Тюремная Камера спит. А мы обе затаимся в углу и шепчемся тихонько. Говорим, говорим. И во всём, в речах и взглядах – кровавые отблески смерти... Где-то застучали. Бросаемся к окну, впиваемся в темноту... «Не виселицу ли строят?» Нет, снова тихо. Прошли по двору. Из окон мужского корпуса блеснул огонёк. Не у него ли?

За ним ли пришли? Мы стискиваем прутья решётки, слушаем... Нет, возвращается одинокая фигура надзирателя. И снова мы сидим и шепчемся и прислушиваемся, вздрагивая от каждого шороха, от каждого стука. Светает внизу... Загрохотали тяжёлые двери: шесть часов, наверно. Мы ещё ждём. И когда все уже встают, мы, измученные, с издёрганными нервами, бросаемся в кровати и засыпаем тяжёлым сном... Так прошло семь дней! На 7-ую ночь тюрьма долго не спала. Николай стоял у окна, изредка переключаясь с нами. Одна из нас запела. Она знала только грустные песенки о любви и пела ему одну за другой. О любви – обречённому на смерть. Мы застыли в муке. Разрывалось сердце. Ночью мы дежурили, как всегда... Мы не спали и утром. И легли только днём, когда никто не ждал беды... И вдруг проснулись.

Нас будили: «Николая уводят!» Бросились к окну... Он зовёт! Но его уже увели...

Его отправили в крепость, и утром, на рассвете, расстреляли ... Марусе он прислал часы на память «от весёлого Николая».

Воспоминания о тюрьме

Здесь время счёт ведёт потерям, Всё в безысходность сплетено: В

железо кованные двери, Решёткой сжатое окно. По своду грубому, по стенам Бессильный, слепо бродит свет.

И в каждом шорохе – измена, И в каждом шёпоте – навет. Как на поруганном кладбище, Недвижно брошены тела. Но бродит дух их – зоркий нищий. Таит нечистые дела...

И мертвецы, с открытым взором, На утро встанут с жалких нар. По длинным, серым коридорам клубится медленный кошмар. Ползут часы, недели, годы... Беззвучной, мёртвой полосой...

И смерть у каменного входа Звонит ненужною косой...

Эжен ПОТЬЕ. ПЕСНИ РЕВОЛЮЦИИ

«Освобождённый труд» Перевод Раисы СТЕФАНЮК

Пред старым миром встал Колосс. Сановник, выскочка, священник. Всех мучит роковой вопрос И все дрожат: свободен пленник. Труд не поступит, как изменник.

Стальной, со взглядом, полным гроз, Он всё расчёл. Былой смиренник,

Он властелином сам возрос. Он говорит: «Весь мир земной, Со всем, что есть в нём – будет мой. Вы пьёте всё из нашей чаши». О призрак грозный! Ты восстал.

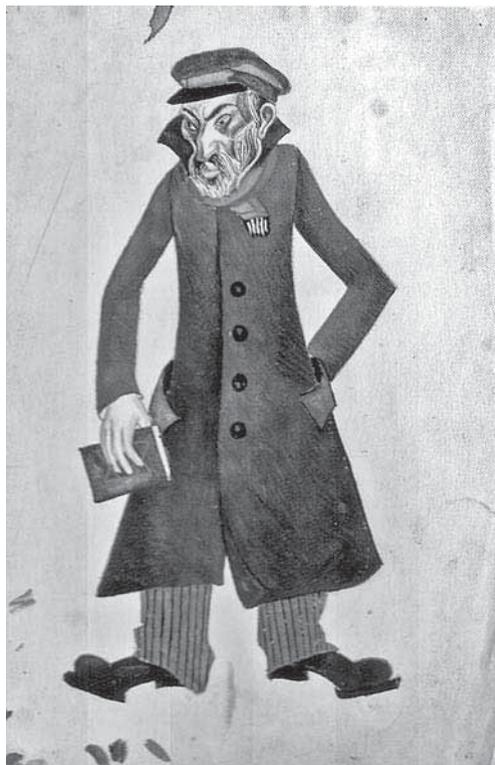
Делить ты хочешь капитал? «Делить? О нет! Теперь всё – наше»...

Post Scriptum

Прошло, увы, не очень много лет и свершилось то, что на Земле свершается и свершится с каждым... И на Даниловском кладбище г. Москвы Бабушка упокоилась совсем рядом со своим Сыном... Я, её старший внук, опустил прах глубоко в землю, над ним установил бронзовую плиту, из которой поднимается «раскрытая книга».

На левой странице, под овальным фото Бабушки, её именем и датами жизни, горельефы её поэтической чернильницы, из которой вытянулось большое гусиное перо.

А на правой странице «бронзовой книги» три слова: «РЕВОЛЮЦИОНЕР. ПОЭТ. ПЕДАГОГ»



Феликс Фельдман

С английского

УИЛЬЯМ БЛЕЙК
(1757-1827)

БОЛЬНАЯ РОЗА

Ты чахнешь, цветок.
То скрытая тля,
В штормящей ночи
Себя распала,

Проникла в постель
И, смакуя успех,
Убила тебя
Ради подлых утех.

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ
(1792-1822)

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

Потоки стремятся к рекам
И реки спешат в океаны,
В сладких объятьях – от века
Ветры сплелись, как лианы.
Нет одиночек в мире

И брак богоданный нужен,
Всё слилось в любовном эфире,
А я не твой почему же?

Целуются небо и горы,
Волны ласкают друг друга,
Но, если надменны взоры,
Цветку не простит подруга.
Луч солнца в обнимку с землёй
И лунный в объятьях морских,
Да что мне пыл страсти чужой,
Коль я без лобзаний твоих?

[279]

С немецкого

НОВАЛИС
(1772 – 1801)

ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНИ

Песнь IV

Из земных бессчётных хлопот
Мой свидетельствует опыт,
Верным был всего лишь час,
Где из тысячной юдоли
Ожил из сердечной боли
Тот, кто жизнь отдал за нас.

Мир разбит мой, он непрочен
И насквозь исчервоточен,
Раны сердце, душу рвут;
Дни и годы вереницей,
Пыл желаний – всё в гробнице,
Но для мук ещё я тут.

Здесь страдал я тайно, тихо,
Слёзы лил, изведал лиха,
В грёзах, страхе жил, как вдруг:
Будто глас богоподобный
Камень снял с души надгробный,

Разомкнув сомнений круг.
И о Том, чью видел руку
Промолчу, приняв и муку,
Чтоб Его мне вечно зреть;
А из всех часов желанны
Станут те, что, словно раны,
Смогут пламенем гореть.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ФОН ГЁТЕ
(1749 – 1832)

ПРОМЕТЕЙ

Загороди небесный купол, Зевс,
Завесой туч,
И, словно озорник,
Секущий хвощ,
Сбивай дубы, вершины гор!
Мою ж оставь мне землю,
Её не тронь,
И хижину, которую не строил,
И мой очаг,
Чей жар в тебе
Рождает зависть.

Ненужней вас, богов
Под солнцем я не знаю.
Вы скудно кормите
Закланной жертвой,
Выдохом молитв
Величье ваше.
В нужде страдали б вы,
Кабы не дети, нищие
А с ними и мечтатели-глупцы.

Я в отрочестве,
Не сведущий ни в чём
К светилу взор заблудший обращал.
Как будто там вверху
И уши есть и сердце,
Чтоб услышать мольбы

И сирого призреть.
А кто помог мне
Против дерзости титанов?
И кто от смерти спас меня,
От кабалы?
Не ты ль само, в святом огне
Ликующее сердце?
И, жизнь цenia, не ты ль несло поклон
И было предано
Уснувшими на небе?

[281]

Тебя ценить? За что?
Страданья ты ли облегчал
Обременённых?
И слёзы осушал
Охваченного страхом?
Не властное ли время,
Не вечная ль судьба,
Ковавшие из мальчика мужчину,
Суть господана над нами?

Желаешь, может быть,
Чтоб жизнь я ненавидел,
Бежал в пустыню,
Поскольку вызревают не все мечты
В отпущенные сроки?

Я есть. И создаю людей
Себе подобных
И равных мне. Способных
И плакать, и страдать,
Вкушать восторг и радость,
И твоего всего не чтить.
Как я!

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто скачет там ночью на стылом ветру?
Седок с мальчуганом в дремучем бору;
Он отрока держит в отцовских руках,
Его обнимает и греет впотьмах.

– Мой сын, что дрожишь ты, из страха горя?
– Не видишь, отец, ты лесного царя?
Гляди, он в короне, и с длинным хвостом.
– Сын, ключья тумана висят лоскутом.

«Мой птенчик, мой мальчик, пойдем же со мной!
Есть много забав у меня в кладовой,
Цветов на побережье средь пёстрых аллей,
Одежд златотканых у мамы моей».

– Ах, папа, ты слышишь он шепчет, зовёт,
И блага сулит мне от царских щедрот.
– Спокоен будь сын, ты не бойся сынок;
Листовою сухой там шуршит ветерок.

«Не хочешь ли мальчик, к волшебным местам?
Тебе своих дочек я в няньки придам,
В ночном хороводе утешат, любя,
Уймут, заласкают, упляшут тебя».

– Ах, папа, смотри же! В полночном часу
Не видишь ты царевых дочек в лесу?
– Сынок, я уверен: во тьме на земле
Замшелые ивы сереют во мгле.

«Ты люб мне, красив и пьянишь, посему,
Охотой не хочешь, так силой возьму».
– Ах, папа, отец мой, меня он схватил!
Мне больно, так больно, что нет больше сил!

Пришпорив коня, обезумел ездок,
В руках его стонет, слабея, сынок.
И вот уже двор, с ним спасительный сруб...
В руках у отца – коченеющий труп.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

(1875 – 1927)

ВСТУПЛЕНИЕ

(первая часть первой книги)

Кто б ни был ты: под вечер выходи
из комнаты, жилища суеты,
бесплодного пред целью впереди:
кто б ни был ты.
Лишь с глаз твоих исчезнет пелена,
и, дань отдав отжитым там часам,
сухое дерево разбудишь ото сна
и возведёшь его под небом сам.
И вот построен мир. И он велик,
как слово, вызревшее в тишине.
Едва лишь воля одолеет смысл вполне,
тотчас же отдохнёт усталый лик...

GERMANN HESSE

(1877 – 1962)

НОЧЬ

Я затушил свечу и мягко ночь
Вошла ко мне в открытое окно,
Позволив мне, обняв, и другом быть,
И братом заодно.

Мы оба ностальгически больны;
Полны предчувствий, грёзы шлём во тьму
И шепчемся о старых временах
В отеческом дому.

ДЕРЕВО ОСЕНЬЮ

Мой клён октябрьскими ночами
Хранит от стужи свой покров.
Зеленный шёлк своих листков,

Служивший много дней подряд,
Он сберегал бы месяцами.

Но снова злая ночь и снова
Суровый день, дрожит листва,
Он сник, оставшись без покрова,
И, подчиняясь чуждой воле,
Безропотно сдаёт права.

Ему к лицу багрец и медь,
Спокоен лик все дни подряд
И, коль не страшно умереть,
То осень, эта осень клён
Одела в царственный наряд.

ЭДУАРД МЁРИКЕ
(1804 –1878)

МАЛЬЧИК И ПЧЁЛКА

Средь лоз стоит домишко,
В нём ни дверей нет, ни окон,
Под ветром на пригорке
Молчит, скучая, он.

А день паряще душен,
И птичья трель весь день скудна,
Лишь пчёлка над ромашкой
Жужжит совсем одна.

У милой сад под горкой,
А в нём есть улей расписной:
Ты от неё явилась?
Не шлёт она за мной?

«О, нет, мой чуткий мальчик,
Никто не слал за пареньком,
Любовь ей непонятна,
И ты ей незнаком.

Что могут знать девочки,
Лишь после школы год спустя!
Да, и твоя зазноба
Совсем ещё дитя.

Вот мёд, и воск добыты;
Прощай! – Снесу ей целый пуд;
Распробует их прелесть
И слюнки потекут!»

Ах, мне известно, пчёлка,
Ты ей скажи и растолкуй:
Пусть знает, слаще мёда
сердечный поцелуй!

[285]

Д и П / 2016

Леонид Бердичевский

С французского

ШАРЛЬ БОДЛЕР
(1821 – 1867)

ИЗ БЕЗДНЫ

Душа моя ютится в склепе бездны.
Из глубины слова мои к тебе:
«Хоть жалость прояви к моей судьбе, –
уж небо и земля – мне бесполезны».

Полгода тьма, и солнца слабый лучик
Не светит, – здесь царит сплошная ночь,
Что остриём меня пронзить не прочь, –
полгода тени на кустах из тучи.

Лишь тишина из сумрака могилы,
Хаоса здесь совсем иссякли силы, –
Страх предлагает только вечный сон,

не слышатся ни вздох, ни слабый стон.
Закутаны в молчание пространства,
часы идут с завидным постоянством.

МОРИС МЕТЕРЛИНК

(1862 – 1949)

РАЗВЕТВЛЕНИЕ СЕРДЦА

К колоколам кристалла голубого,
моей тоски незыблемый контроль,
он там всегда, – и поперёк, и вдоль –
тревожней он синдрома болевого.

[287]

Нет выбора мне в изъяснениях чувства,
лишь тешит несколько прохладный мох
под пальмой, – он не даст застать врасплох,
да лилий вид – далёкий от предчувствий.

Отрадно видеть строгость вертикалей
в вершинах гордых и надменных крон,
окружностей, завёрнутых в бутон,
и тишину, такую, как вначале.

Горчичный лунный блеск всё гуще, гуще,
на листьях, превращаясь в жёлтый луч,
кристаллом голубым летит из туч,
к мистической молитве всех зовущий.

РЕНЕ ШАР

(1907 – 1988)

ИЗ ОТКРЫТОГО ОКНА

Лицо – белое и тёплое.
Сестра говорит в пространство.
Состояние влюблённости
на белом и тёплом лице

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ФАКЕЛА

Огорожен, – объявлен сгоревшим.
Ты плывёшь, ощущая себя облаком,
Навстречу другим облакам,

Но облакам пещерным
Под гипнозом солнца.

ПЬЕР РЕВЕРДИ
(1889 – 1960)

В ТИШИНЕ ИНТЕРЬЕРА

Зима.
Тишина.
Свет вечерний несут фонари.
За окном пролетают птицы.
Руки пляшут по крышке.
Тень вздрагивает позади.
Тишина учащённо шепчет.
В саду умирают цветы.
Легки огоньки мерцаний.
Каждый хочет заснуть.
На землю слетают листья.
В бликах стена напротив.
Ночь надела свои украшения.
Всё – внешняя драма без зрителей.

МЕЖДУ ДВУХ МИРОВ

Тень беспокойна, но это не всё.
Ветер гуляет напрапалую,
Его порывы цепляются за стену,
Оставаясь там, создают иллюзию
То ли мгновения, то ли жизни.
Ночь видоизменяет себя.
Я почему-то рядом, –
Томит лишь сомнение.
Звуки шагов на тропе удаляются,
Не видя того, что вокруг.
Стена гримасничает.
Сердце моё обращено к морю.
Думаю о странах в неволе,
О них говорит голубая звезда,
Что плывёт в стороне.

С немецкого

РИХАРД ДЕМЕЛЬ

(1863 – 1920)

ЭЛЛАДА

Её я вижу. Нет, не заблуждаюсь.
Под девственной горой цветут луга,
Священным трепетом я, право, маюсь.
Я море пересёк, и прямо с краю
К Элладе приросла моя нога.

Я вижу торсы мраморных богов,
Тут, у колонн, они нашли свой кров.
Пасётся лошадь старая, вздыхая, –
Не отвести глаза мне от картин, –
Античных удручающих руин,
О возрасте их я не забываю.

Меня заморозила мыслей смесь, –
Она кричит у поседевших мифов.
(Всё верно так, как я на свете есть),
вокруг лежит кольцо лесных массивов.

Легко здесь путь себе найти недлинный,
Пройдя по историческим руинам, –
Мой к ним не ослабевает интерес!

**ЕВРЕЙКЕ –
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА**

Страстную пятницу ты принимаешь тоже,
цветенье зелени тебя во всю тревожит, –
ты от него не отрываешь взгляд.
Сиренью воздух весь облагорожен, –
их звёздочки, как жемчуга, горят.

Но грудь твою томит тревожное волнение,
в ней утреннее созревает нетерпение,

[289]

Д и П / 2016

Асониа Бердичевский

как в Магдалине внутренняя грусть.
Ведомое любовью озаренье, –
к могиле свежей, – вздрагивает грудь...

Мул добросовестно, с рассвета начиная,
не глядя на жару, от зноя изнывая,
распашет поле, двигаясь вперёд.
Так, всех по Вере вместе собирая,
от спячки пробудился твой народ.

Округа колокольным огласилась звоном,
разнёс дыханье склепов воздух заражённый, –
он хочет снять угрозу от штормов.
И сразу тишиною сокрушённо
скончались языки колоколов.

Увы, сирень погасла под сухой листвою,
но от меня совсем не хочешь ты покоя,
хоть перелесок окунулся в пыль.
Всё, как обычно, и зачем другое,
со мной мой Бог, – на сердце полный штиль.

Я точно знаю: ты в могиле будешь жаждать
Со мною быть всегда, – весь день, и ночью каждой, –
хоть поколений новые ростки.
Признайся: грудь твоя тоскует также,
и к воскрешенью помыслы близки.

ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШУЛЕР
(1869 – 1945)

ПОСЛУШАЙ, БОГ

Перед глазами проплывает ночь,
собрав в кольцо картину панорамы.
А в пульсе кровь горячая, как пламя,
но холод всё равно не превозмочь.

День напролёт, Тебе признаюсь, Бог,
не прекращаю думать я о смерти.

Моя печаль огромна, – все поверьте,
я пью её, хлеб обмакнув в глоток.

Послушай, Бог, – я неба синий цвет
вписала в песню о небесной крыше.
Не трогала я день, хоть был рассвет,
рубец на сердце он, –
но стыд не выжечь?

[291]

Гляжу на звёзды, – мой закончен путь,
и на луне, и на плодах долины.
От них мне хочется вина хлебнуть,
хоть знаю, – зёрна здесь без витаминов.

ЕРУСАЛИМ

Из позвонков Бог создал Палестину.
Ерусалим был из её зачина, –
я по его блуждаю мавзолеям.
В них город наш святой окаменел, –
в своей постели мёртвый сон лелеет,
нет шёлковой воды, – он опустел.

Направлен к нам долин суровый взгляд,
что тонет вмиг в оцепененье ночи.
Повсюду страх, – мой разум им зажат.

Но если ты придёшь когда-нибудь,
в альпийское завёрнут покрывало,
в день сумерек моих, не обессудь, –
моя рука окажется с бокалом.

Темницу сердца мне не превозмочь,
глаза твои, как облака летали, –
лечили от хандры, чтоб мне помочь.

Но если всё же ты прийти решил
сюда, в страну моих далёких предков,
меня ты, как младенца приручил,
Ерусалима блеск заметив метко.
Привет послали бы наверняка,

Единственного Бога нам знамёна,
дыханьем жизни, – в ней твоя рука.

С польского

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА
(1921 – 2013)

СКЕЛЕТ ДИНОЗАВРА

Дорогие собратья!
Представлен скелет динозавра,
Пример нарушения пропорций.
Дорогие друзья!
Слева хвост – стрела в бесконечность,
Справа шея, – почему-то глядит обратно.
Это, товарищи,
Лапы, погрязшие пальцами в иле,
Под всей громадиной туловища.
Милые граждане!
Ошибкой природы, как шуткой,
Его смешная головка.

Дамы и господа!
Все понимают, что мы его краше,
И жизнь на земле прекрасна.
Господа делегаты!
Всё под звёздами мыслимо,
Полный свод законов морали.
Чтимая комиссия!
Всё возникает не однажды
Под луной и под солнцем.
Инстанция важная!
Уста и руки наши ловки,
И голова, обычно, на месте.

Верховный Синклит!
Жаль, – но под хвостом
нашей Совести место, –
Ей было бы там комфортно.

В ЦИРКЕ

Здесь неуклюже танцуют медведи.
Львы пролетают в горящие кольца.
Мчится макака на велосипеде, –
Цирка арена пред вами. Извольте!

Задорно, но грустно, – ведь человек я.

Звуки оркестра несутся бравурно,
И несмолкаемы аплодисменты.
Даже в кнуте есть сила дрессуры, –
Тень от него длинной стелется лентой.

[293]

Д и П / 2016

Асониа Бердичевский

Нора Гайдукова

С немецкого

ГЮНТЕР КУНЕРТ

(род. 1929)

ЛАВКА СТАРЬЁВЩИКА

Из вчерашнего дня, которого больше нет,
Набухает снова и снова лишь строительный мусор.
Шляпной ниткой прошитая кружка латерны
Старики-красавцы на хрупких ногах
Больше ни шагу не могут сделать
В их бутылке кораблик
Берёт курс на пробку.
Древний воздух его парус вздымает.
Мы на борту, мы со временем в схватке
Сцилла и Харибда теперь
Спрятались под псевдонимами
«Декоративных часов» и «Самовара».
Рассчитывай координаты
По положению лампочки тусклой
(меридианы проходят по краю стола)
Призывы: страсть к путешествию
В Никуда. Оно существует в бутылке.
Иначе совсем испарится.

Давид Яновский

С немецкого

АВТОР НЕИЗВЕСТЕН

Три маленьких слова: Он, Ты, и Я,
Но в них – вся безмерная суть бытия.
От счастья душа моя вмиг замирает,
Как только слова эти вдруг вспоминает.

ВИНКЕЛЬТ

Гений – век свой обгоняет,
Умный – в ногу с ним идёт,
Хитрый – пользу извлекает,
Глупый – с ним войну ведёт.

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕБЕР

(1813 – 1894)

Часто Бог в наш дом приходит скрыто,
Он добро и радость нам несёт.
Жаль, во время этого визита
Он нас дома редко застаёт.

* * *

Ты абсолютно прав, мой друг:
Ужасен, лжив весь мир вокруг.
Зло совершить готов любой,
Конечно, кроме нас с тобой.

* * *

Если в тягость тебе дневная работа.
Это значит, что не достоин её ты.

Я. Рейнгарту

Ворча, ты ушёл, но весёлым вернулся.
Тебя словно добрый волшебник коснулся.
Так где же ты был? С кем вместе ты шёл? –
Я просто хорошую книгу прочёл.

ХРИСТИАН ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ
(1813 – 1863)

Художник, ты должен врагу
Не словом ответить, а делом.
Бросает он в тебя камни? –
Статую сделай из них.

**ИОАНН ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЮДВИГ
ГЛЕЙМ**
(1719 – 1803)

Без лицемерья, без затей,
Самим собою будь ты строго.
Ты должен быть в глазах людей
Таким же, как в глазах у Бога.

ВАЛЬТЕР ХАЗЕНУЛОВЕР

(1890 – 1940)

Как роза принимает смерть
С горячим поцелуем солнца,
Как звёзды меркнут в небе
беспредельном,
Вот так уйти бы, чисто и красиво.

[297]

ФРИДРИХ РЮККЕРТ

(1788 – 1866)

Не вопрошай, что суждено
Нам завтра Провиденьем.
Нам настоящее дано,
Так пользуйся мгновеньем.

* * *

Горе тому, кто с жизнью простился,
Любви никому не подарив.
Горе сосуду, который разбился,
Жажды ничьей не утолив.

АНОНИМ

* * *

Хоть медленно мелют мельницы Божьи,
Но тонок помол и мука безупречна.
Долготерпение кончится всё же,
И будет наказан преступник беспечный.

ЛЮДВИГ БЕХШТЕЙН

(1801-- 1860)

Слово маленькое «надо»,
Из орехов твёрдых всех,
Что судьба подбросит рада,
Самый твёрдый, ты, орех.

П. ЛУКАС

Счастье, что извне приходит,
Легковесно, как полова.
Что в груди твоей родится, –
Долгой радости основа.

ТЕОДОР ШТОРМ

(1817 – 1888)

«А правильно это?» – один сомневается,
Другой «А что это даст мне потом?»
И это решает, кем он является,
Человеком свободным или рабом?

* * *

Любовь – это только приятный угар;
Жить в браке – искусство, особый дар.

ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ

(1832 – 1908)

Лишь только кто-нибудь что-то получит,
Находится тот, кого это мучит.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

(1749 – 1832)

Ненавидеть злого тирана
могут и рабские души;
Ненависть к тирании –
вот признак великой души.

ГОТФРИД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ

(1729 – 1781)

Наш мир несправедный весы напоминает:
Тяжелое в нём падает, а лёгкое взлетает.

ФРИДРИХ ЛОГАУ

(1604 – 1655)

Дружба, что возникла благодаря вину,
Действует, как выпивка, только ночь одну.

ФРАНЦ ГРИЛЬПАРЦЕР

(1792 – 1872)

Исследуйте почву, строенье листвы,
Копайте, внедряйте механику.
И, хотя цветов не взрастите вы,
Но изучите вы ботанику.

АНОНИМ

Когда глаза увидеть не желают,
Ни свечи, ни очки не помогают.

ЛЕОПОЛЬД ШАЙЕР

Кто себя не уважает,
тот ценить не может женщин,
Кто ценить не может женщин, –
что он знает о любви?
Кто любви совсем не знает, –
что он может знать о чести?
Ну, а кто не знает чести, –
для чего он на земле?

ПАУЛЬ ГЕЙЗЕ

(1830 – 1914)

Всегда будь готов поделиться с другими
И не скупись, помогая людям.
Запомни: в твоей последней одежде
Ни одного кармана не будет.

С украинского

ЛИНА КОСТЕНКО

(род. 1930)

* * *

Я выросла в Киевской Венеции.
Цвели у нас под окнами акации.
Вода в протоках прибывала по инерции
и заливала все коммуникации.

Раскачивались бешено причалы,
Светились все киоски, как киотики.
А наводнение упорно заливало
вербняк до неба, до пушистых котиков.

О, как нам было весело, как весело!
На чердаках мы жили и террасах.
И всё махало крыльями и вёслами.
Щипали козы сено на баркасах.

Когда на лодочках залитыми кварталами
Мы возвращались по домам из школы,
звенели смехом, солнцем и гитарами
балкончиков воздушные гондолы.

И слушал месяц золотистым ухом
сказанья про волхвов, князей и ханов.
И проплывал рыбак старинный Трухан.
Труханов остров... Остров Тугархана...

А после бомбы тишину разбили.
Чернели крыш обугленных трапеции.
И превратились в столб золы и пыли
дома моей бревенчатой Венеции.

[300]

Д и П / 2016

Новые переводы

* * *

Во мне есть некто. Спрашиваю: Кто ты?
– Не знаю, – говорит. – Быть может, кто в роду.
Меня водил под руку Аристотель
в каком-то удивительном саду.

Под вечер солнце закатилось в лузу.
И в Риме правил Тит или Нерон.
А я жила в то время в Сиракузах,
стихи писала золотым пером.

Повсюду я своя, и мне нигде нет места.
Душа летит в сиянии эпох.
Где этот путь начался – неизвестно.
Где кончится он, – знает только Бог.

* * *

С трудом шиповник отдаёт плоды.
Он человека за рукав хватает.
Ему кричит: – «Постой, послушай ты!
Не жадничай! – его он умоляет. –
Не всё, не всё! Прошу не для себя.
Меня давно одна синичка просит!
Я тут для всех, не только для тебя.
И просто, чтоб была красива осень».

* * *

Днём – как летом, вечерами – осень.
Ночь теперь – могила для тепла.
Выйдут в утро яблони, как лоси,
ветви обезлистив догола.

Пейте воду, чтоб язык ласкала.
Жуйте, лоси, сладкую траву.
Мысли так печаль прополоскала,
что как сад под ливнем я живу.

* * *

Сорока, не кричи. В лесу я не чужая.
Я знаю всех. Меня тут знают все:

Вагаги птиц, дубов семья большая
и сосны, сосны, SOS – тону я в их красе.

И реченька, где утром рано-рано
работают бобры так филигранно.
И лис, и лось. Листвы осенней чудо.
И вдаль тропиночки стремительный полёт.

И тот, кто никогда и ниоткуда
уже не выйдет, и меня не позовёт.

* * *

Так хочется какой-то этики.
Пера и кисти, и струны.
Чудесной хочется поэтики
в прекрасном нимбе седины.

А что имеем? – идиотство моды,
амбиций обветшалый рюш.
И чёрный выброс сероводорода
Отравленных столетьем душ.

* * *

Вчера в грозу ко мне явился Блок.
Мокроволосый, на щеках росинки.
От мыслей тихий, бледный от тревог,
почти в слезах, реальный до ворсинки.

Слегка помедлил, слов не говорил,
поулыбался дивными очами.
И ночь в изломах врубелевских крыл
стояла долго за его плечами.

* * *

Лес изменился. Может, постарел,
Быть может, трасса распатала сосны.
Иль старый пенёк под старость одурел
и осень корнем ухватил за косы.

Иль навезли тут битого стекла?
Змеинный царь лишился вдруг короны?
Иль радиация вокруг всё обожгла?
Увяли от дождей кислотных кроны?

Вчера, быть может, прорывался снег?
Или обжётся парень крапивою?
Печальный ёж обиделся на всех
и листьями укрылся с головою.

* * *

Снега и ночь. И лес дорогу пишет.
Всё спит в снегах, что дышит и живёт.
Лишь иногда охрипший голос тиши
твою звезду из вечности зовёт.

* * *

Чуда хочу и немного вина.
Сереньких дней пролетают перроны.
Чёрный букет предвечерний – вороны,
городу дарит их с неба луна.

Что ж, я свой век отслужила сполна.
что ж, отслужила я по-человечьи.
Дни оплывают, как чёрные свечи,
Чуда хочу и немножко вина.

Кто же мне ношу мою облегчит?
Где ж золотые мои пасторали?
Лето летает и осень звенит.
Чёрные дни навивают спирали.

Песня моя никому не нужна.
Снова пошла Украина по кругу.
Снова и снова в смертельную вьюгу.
Чуда хочу и немножко вина.

* * *

Порой так тяжело, что мне сдаётся,
что сердце у меня уже не бьётся,
и что напоминает обо мне
лишь тень моя на каменной стене.
И боль моя, придирчивый судья.
И стих мой, неприкаянный, как я .
И дикий хмель, примёрзший у ворот.
И на колодце необбитый лёд.

* * *

День начался в осенней ворожбе.
Тоска туман пыталась сотворить.
Я думаю всё время о тебе.
Не надо лишь об этом говорить.

Ты вновь придёшь. И будем мы на «вы».
Неповторимое кто может повторить?
Свою печаль во мне переплыви.
Не надо лишь об этом говорить.

Пусть будет так, как я себе велю.
Мы будем будни сердца мастерить.
Я Вас люблю, о как я Вас люблю!
Не надо лишь об этом говорить.

* * *

Ах, осень, осень, краски чудотворные!
Курлы! Курлы! – кричат нам журавли.
Увы, уходят люди неповторные.
А ведь они ещё пожить могли.

Деревьев ветви – как рога олени.
И лист последний облетает с крон.
И в памяти душа, как в наводнении.–
И бакены свои зажжёт Харон.

* * *

Ты смотришь на меня. А я уже на трапе.
Слов не найти. И горе через край.
И жизнь идёт по «Гауссовской шляпе»,
где так вот – «здравствуй», а вот так – «прощай».

Ты мне чужой. Уйди, меня не мучай!
Родней, чем ты, никто не сможет стать.
И это тот невероятный случай,
когда отвага высшая – бежать.

[305]

Д и П / 2016

Давид Яновский



Белла Якубова

С немецкого

ИОЗЕФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ
(1788 – 1857)

УТРО

С утра врывается к нам первый луч,
Разрезав мглу безмолвия долины.
Лесам он присылает шёпот туч,
И птицам спать нет никакой причины.

Нарушил ветер нам покорность шляп,
Они с голов слетают, словно птицы,
И взору мира приоткрыт масштаб,
И он вокруг безудержно кружится.

Впитал его просторы человек,
Он понимает: надо жить, как прежде.
Он ночью понимает, – мчится век,
продлить с утра, – появится надежда.

ТЕОДОР ФОНТАНЕ

(1819 – 1898)

КРУГОВОРОТ

В воскресный день закончит песнь поэт,
А в понедельник казнь придёт вослед.
Во вторник, принца заболит живот,
А в среду битва завершит поход.
В четверг сыграю партию я в скат,
А пятница – на жизнь новый взгляд.
В субботу мир взорвёт одна лишь мысль,
В конце недели пересмотр чисел.

Круговорот в событиях и лицах, –
Всё заново, увы, всё повторится.

ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ

(1832 – 1898)

ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ

Где есть ещё земля такая свежая?
Её я вижу в солнечное утро.
Восторг для взгляда и ему прибежище,
Под зеленью долин, весною чуткой.

Со всеми разделяю я весеннюю
гармонию, что мне приносит радость.
Её животворящее течение.
Ведь лик природы – на сердце отрада.

Природа не всегда бывает добрая,
Все знают это, – но к ней бережливы.
И радует нас всё, и даже облако,
Что принесёт грозу, и град, и ливень.

[307]

Д и П / 2016

Белла Якубова

Генриетта Ляховицкая

С французского

ФРАНСУА КЮССЕ
(род.1969)

ИМЯ «ЕВРОПА»

Фрагменты из поэмы

Европа. Замалчивать ли надо это Имя,
звучащее прекрасно, благозвучно,
иль выплеснуть его совместно
с трагическими водами былого?
Иначе называть всю эту мешанину
на устаревшей шахматной доске?

Европа, Имя окончности Земли,
позора Имя в вечности времён,
ты Времени старинный полуостров
с неясным корнем – эллинским
или семитским,
видение величия – здесь
иль любящая дама – там.
Принцессы ты неосторожной Имя,
той, некогда богами соблазнённой
и проданной позднее ими.

Захватнических планов Имя,
тысячекратно начинаемых всё вновь,
для поселенцев – Имя штаб-квартиры –

их Родины или убежища для них.
Европа – Имя смехотворного Единства,
так издевательски предписанного всем
официально, для лучшего народов подчиненья,
программ фашистских подлого Единства
от стен Венеции до самого Руана,
в нём мания нацистского величия
в пространстве от Ла-Манша до Амура.
Советское фальшивое Единство
для призрака сияющего Завтра,
а напротив – Единство антикоммунизма
от берегов Атлантики вплоть до Урала.

Иль, наконец, ещё смешнее, то
совсем невероятное Единство
из лоскутов составленных чудовищ –
ничтожно-жалкое, в дешёвых блёстках,
из шлягерного мусора Единство,
бесмысленно принявшее обличье
певицы с бородой и с именем моллюска,
с фамилией колбасной и венским адресом.
И этот адрес стал пародийным повтореньем
прекрасной и единственной Эпохи,
в которой пара крошечных осколков
Европы обходились без хозяев.

Европа – Имя, что оружием торгует,
которым можно бы весь глобус пристрелить,
Европа – Имя бочки с порохом, где люди
друг друга беспощадно истребляют,
Нечистое Имя мечты о Чистоте –
Рациональной, иерархичной,
расистской, радикальной мечты,
Имя проекта нового, белого и гордого
человека, всё ещё омытое кровью,
и против такой судьбы отныне
вооружается Европы Имя,
чтоб впредь не начинать с нуля.

Имя беспощадного вымогательства,
вызывающего чувство безгливости:

Плутократия или Смерть!
Рынок или Война!
Ничто иль Технократия!
Свободная торговля
иль бесконечное самоубийство!
Добровольное повиновение
иль к худшему возврат!
Что ж, выбирайте!

Нам внушено, что если
мы Имени такому скажем Нет,
то значит предрешим его конец.
А Имя не воспеть, сведётся лишь к тому,
чтоб наплевать на наши же могилы.

Европа – давняя, засаленная шутка,
Имя общей могилы,
ставшее Именем западни.

На самом же деле Европа –
довольно дрянное Имя...
(...)

Всё еще неизвестно, что Имя сие означает.
Разве что, точно известно, чего оно не означает.

Слабые,
сбитые с толку,
заурядные,
изломанные,
трусливые,
больные.
Те, кто всегда в меньшинстве.
Ломкие,
неделимые,
неприкасаемые
подонки,
паразиты
Мелкие,
невидимые.

Беспользные,
нежелательные.

Брошенные объекты,
эксплуатированные люди.
Запертые животные,
отравленные растения.
Убогие смыслы,
сомнительные идеи,
темы, что меньше, чем темы.
И всё остальное,
едва уловимое.

Всем этим, стало быть, нами,
всеми нами, мы должны, наконец,
наполнить Имя «Европа»
или забыть его навсегда.
(...)

[311]

Д и П / 2016

Новые переводы

In memoriam

ПАМЯТИ ДАНИ ЯНОВСКОГО



(28 марта 1933 – 18 февраля 2016)

Удары Судьбы безумны и беспощадны.

Всего за три дня до случившегося, ни у кого из присутствующих на заседании Клуба литературы и искусства не было даже случайно промелькнувшей мысли об этом чудовищном горе... Но, увы, – это факт, истина, от которой не заслониться, не уйти.

Сердца и души наши, его друзей и коллег, никогда не примут этого.

Мы встречались около двадцати лет каждый понедельник, встречались на презентациях, встречались при частных беседах. Но никогда Дани не позволял себе, несмотря на то, что все годы был бессменным членом редколлегии альманаха «До и После», повысит голос, резко сделать замечание, оборвать кого-либо из авторов, а прецеденты, чего греха таить, – бывали.

Он не поучал, лишь учил стихосложению во всех его ипостасях, учил переводам с других языков. Ведь в этом он был, (какое страшное слово «был»), – подлинным Мастером. Он направлял, исправляя огрехи в текстах, ни в коем случае не пытаясь задеть чьё-то авторское самолюбие. Делал это с мягкой, виноватой улыбкой.

Его собственное творчество было всегда классически-точным, с соблюдением канонов стихосложения, без ритмических и рифмовых «выкрутасов», что было доступным для широкой читательской аудитории.

Его уход – огромная, невосполнимая потеря для всех, с кем он общался.

Мы, его друзья и коллеги, никогда не сможем забыть его голос с мягкой интонацией, его улыбку, его прекрасное лицо.

Наши глубокие соболезнования, наши слёзы и грусть – Лилечке, обожаемой им супруге, его изумительным дочерям – Инге и Мальвине.

Прощай, друг наш, Данечка!

Клуб Литературы и искусства.

Авторский коллектив альманаха «До и После».

[313]

Д и П / 2016

СТРОКИ ЖИЗНИ

Памяти Д. Яновского.

Вот и всё... С нами нет больше Дани...
Он ушёл так внезапно от нас,
не успев нам сказать «До свиданья!»
Нету слов, только слёзы из глаз.

В наших клубно-семейственных спорах
он спокойствие тихо хранил,
не участвовал в разных раздорах,
никого чересчур не бранил...

Он в любви много раз признавался,
но не к разным, а только к одной –
к той, чьим мужем когда-то назвался,
к той, что стала навеки женой.

Дочерям он оставил в наследство
красоты родовые черты,
чувство слова привил он им с детства,
И с поэзией обе «на ты».

Вот стихи, вот его переводы –
заготовки для будущих книг...
Отдаляются в прошлое годы –
оборвалось всё в смертный тот миг.

Торжествует победу усталость,
сердце смолкло... Но слово живёт.
Что написано – с нами осталось –
строки жизни и их перевод!

Генриетта Ляховицкая,
19.02.16

ДАНЯ – ЛИКЕ

Не просыпаюсь и кофе не пью,
И не сажусь в самолёт.
Я слушаю птиц и им подпою,
Когда настроенье придёт.

Не числюсь, не значусь, не состою,
И не плачу за проезд...
Каждую шутку я слышу твою,
Вижу я каждый твой жест.

Не устаю, не болею, не жду
Крутых поворотов в судьбе.
И я подбираю к звезде звезду
На яркие бусы тебе.

Я рядом с тобою и день, и ночь,
Я каждый твой взгляд ловлю.
Ты прогони все сомнения прочь, –
Я жив, потому что люблю.

Мальвина Зор (Яновская)

Авторы альманаха «До и После»

[315]

Д и П / 2016

КАРЛ АБРАГАМ

Родился в Берлине в 1930 г. В 1933 г. эмигрировал с родителями в Советский Союз. По профессии – онкогинеколог, кандидат медицинских наук. В 1991 г. вернулся на родину, в Берлин.

Публиковался в периодических изданиях, в том числе в журналах: «Радуга» (1991, Киев); «Донбасс» (1983, Донецк); в еженедельнике «Секрет» (2006, Израиль); в Русско-еврейском историко-литературном и библиографическом альманахе «Параллели» (2012, Москва); в Берлинском альманахе «До и После» (№№ 3–20). Автор книг: «Два часа и вся жизнь» (2000); «Возвращение» (2005); «Этюды на еврейские темы» (2004); «Романское кафе» (2015); две из них вышли на немецком языке.

МАРИНА АВЕРБУХ

Родилась в Москве. В Германии с 1995 г. Закончила Московский 1-й Медицинский Институт. Клинический фармаколог; дипломированный иридодиагност.

Публикации: «Берлинский Поэтический Листок» (2001–2006); Поэтические Антологии (СПб., Алетейя, Русские поэты в Германии, 2005, 2013); Семейная Антология «Искренне говорю Вам» (Россия, Германия); Литературный альманах «Третий Этаж» (Берлин); Сборники поэтических турниров в Дюссельдорфе (2005, 2009, в одном из них – победитель);

«Lichtschatten» и «Контрасты» (Бранденбургский русско-немецкий сборник); Альманах «До и После» (Берлин, №№ 5 – 20); Сборник стихов и прозы: «Это Я – Марина!» (2012).

Многое опубликовано в «СТИХИ.РУ» и «ПРОЗА.РУ».

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

Родился 24 ноября 1938 г. в Киеве. В Берлине с 1993 г.

Закончил Академию художеств (Санкт Петербург). Участник многих художественных выставок.

С 1998 г. – руководитель Клуба «Литературы и искусства». Главный редактор ежегодного литературного альманаха «До и После» (№№ 7–20, 2003 – 2016).

Публикации: в журналах «Зеркало загадок», «Радуга», «Крещатик», «Литературный европеец», «Родная речь» и др; в альманахах «Берега», «Параллели», «Иерусалимский библиофил», «Библиофильские известия», «До и После»; в антологиях изд-ва «Алетейя»: «Ступени», «Четвёртое измерение», «Прощание с Вавилоном».

Книги стихов: «Сонеты»; «В пути меж небом и землёй»; «Бессонница»; «Нить Ариадны»; «Свидание»; «Странник»; «Берлинские этюды»; двухтомник «Избранные переводы и стихотворения» (изд. «Дух и літера», Киев, 2008, 2010); двухтомник стихов «Графика звуков» (2015); книги переводов: Р.Цихлински «Мои еврейские глаза» (с идиш); Р.Ауслендер «Звёздная трава» и «Розарий писем» (с немецкого); И.Мегрелишвили «Божественный огонь» (с грузинского).

Составитель и участник коллективных сборников: «Скрипач из гетто» (стихи поэтов, узников концлагерей. Берлин, 2002, 2005); «Еврейские мотивы» (произведения современных берлинских авторов, Берлин, 2011, 2015).

Указан в справочнике «Писатели русской эмиграции, 1920 – 2014гг.».

Член немецкого отделения международного ПЕН клуба «Zentrum Schriftsteller in Exile Deutschsprachiger Länder».

ДАВИД БРАЦЛАВЕР

Родился в 1938 г. в Одессе. Закончил Одесский политехнический институт. Инженер-электрик. Долгое время жил в Израиле. С 1989 г. живёт в Германии.

Публикации: в пяти сборниках «Запятая»; в петербургском альманахе «Голое небо»; в альманахе «До и После»; в сборнике «Еврейские мотивы».

Книги стихов «Листопад» (2010) и «Рифмуя мира панораму» (2012, 2014).

НОРА ГАЙДУКОВА (Бреслав)

Родилась в Ленинграде.

Руководит русско-немецкой литературной группой «Поэты Моабита» (основана в 2010). Редактор двуязычного сборника «Шлосс Моабит» (2010, 2011, 2013). Ведёт двуязычную литературную студию в Еврейской Общине Берлина..

Публикации: в альманахах «До и После»; «Третий этаж»;

«Остров Андерсвал», «Первый фестиваль русскоязычной поэзии в Копенгагене» (2015).

Сборник стихов «Берлиноград» (2008).

ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР

Родилась в Санкт-Петербурге. Закончила в 1981 г. Петербургское Реставрационное училище. Реставратор. Проживает в Германии.

Публикации: в альманахе «До и После» (№№ 11 – 20, Берлин, 2007 – 2016); в антологиях: «Голое небо»; «Прощание с Вавилоном»; «Певчий Ангел» (Поэты русского зарубежья, СПб. изд. «Алетейя»).

ГРЕТА ИОНКИС

Родилась в Павлово-на-Оке. В Германии с 1994 г. В 1959 г. закончила с отличием МГПИ им. Ленина, затем там же аспирантуру по кафедре «Зарубежная литерату-

ра». Доктор наук по филологии, профессор. Двадцать пять лет заведовала кафедрой русской и зарубежной литературы в Кишинёвском пединституте. С 1991 г. биография включена в справочник Кембриджского биографического центра «Кто есть кто в мире женщин».

Публикации в периодике Германии, США, Израиля, России, Молдовы (эссе, очерки, статьи).

Изданы 10 книг. Среди них: Семейная сага «Маалот» (СПб.); «Евреи и немцы в контексте истории и культуры» (СПб.); «Золото Рейна. Сокровища немецкой культуры» (СПб.).

Победитель конкурса сетевой литературы «Art-Lito 2000» в номинации «Non fiction».

Член Международного ПЕН клуба «Zentrum Schriftsteller in Exile Deutschsprachiger Länder» и Пушкинского общества Германии.

СААДИ ИСАКОВ

Родился 21.05 1955 г. в Москве. С 1991 г. живет в Германии. Закончил Московский Государственный Педагогический институт им. Ленина. Педагог русского языка и литературы.

1988 – 1990гг. – семинар для молодых писателей под руководством Д.М. Урнова. Преподавал славистику в Университете г. Билефельд.

С 1994 по 2015 редактор русской страницы в немецкой еженедельной газете Osnabrücker Sonntagzeitung.

С 2013 по 2015 год – главный редактор «Еврейской газеты» (Jüdische Zeitung) и газеты «Европа-Экспресс».

Публиковаться начал в 1988 г. Всего более сотни публикаций в периодике России и Германии, а также в ежегодном сборнике «Писатели Оснабрюка» (2012 – 2014); в альманахе «До и После» (№№ 1 9-20, 2015 – 2016).

Книги: «Рассказы о коммунистах» (соц-арт. изд. Хюнтельман, Оснабрюк, 1992); «Ф. Нуссбаум» (нем. яз. изд. Раш, Оснабрюк, 1994); «Война и Мир Че Гевары» (изд. ЛитИнвест, Берлин – Москва – Нетания, 2016).

Член русского ПЕН-центра.

КОНСТАНТИН КЕРБЕЛЬ

Родился 03.01.1948 г. в городе Копейске (Челябинская область). В Германии с 2004 г. Педагог. Публикации: в альманахе «До и После» (№№ 11-20, 2007 – 2016).

ИГОРЬ КОГАН

Родился 23.11 1947 г. в Москве. Закончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ им. А.М. Горького.

Публиковался: в периодике России, а также в альманахе: «До и После» (№№ 10 – 20, Берлин); в поэтическом сборнике «Я вижу сны на русском языке» (изд. «Литературная газета», М., 2008);

Победитель 2-го поэтического конкурса среди соотечественников, живущих за рубежом «Я ни с кем никогда не расстанусь» (М., Росзарубежцентр, 2008).

Лауреат литературного конкурса «Человек и природа. Времена года» (в номинации «Поэзия», лит. объединение «Источник», Гамбург, 2008).

Книга «Между небом и землёй» (поэзия и проза, изд. ООО «Интер-ЕС», Пермь, 2009).

АЛЬБЕРТ ЛЕИН

Родился в 1939 г. в Смоленске. В Берлине с 1983 г.

Публиковался в периодике Литвы, Латвии, Якутии, США, России, а также в альманахах: «Литва литературная»; «Всегда в строю»; «Третий этаж»; «До и После»; в антологиях «Поэты русского зарубежья».

Книги стихов: «Листопад»; «Письма из-за границы»; «Серебряный рассвет»; «Сонеты»; «Избранное».

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

Родилась в Ленинграде. С 1996 г. живёт в Берлине. Выпускница Ленинградского Политехнического Института. Инженер. Дополнительное обучение при философском факультете ЛГУ.

Литературные публикации в различных жанрах – с 1984 г. В 1988 г. в издательстве «Музыка» опубликована «Сказка про Скрипку» с пьесами для фортепиано (композитор Ю. Симакин), созданными к сказке. В 1993 г. и 1994 г. изданы книжки стихов «Увидеть рассвет» и «Загадка карт влечёт». С 1994 г. – член Российского союза профессиональных литераторов в Санкт-Петербурге.

Многочисленные публикации в периодике России и Германии, в их числе – в журналах «Колобок», «Весёлые картинки», «Нева»; в различных альманахах и антологиях, в числе которых – антология российских писателей Европы (МГО СП России ИПО «У Никитских ворот», М. 2009).

Изданы 14 книг, среди которых выпущенные издательством «Алетейя» в Петербурге два сборника стихов и прозы – «Лики любви» (2007) и «Талисман запоздалый» (2010), а также научно-популярная философская монография «Генер. Модель мироздания» (2008). Три книги на русском и немецком языках.

Многое из опубликованного можно прочесть в Интернете (см. Генриетта Ляховицкая и Genrietta Liakhovitskaia в yandex и google).

ОЛЕГ НИКОГОСЯН

Родился в Ереване в 1947 г. С 1998 г. живёт в Берлине.

Публикации в русскоязычных и немецких изданиях в Германии и Армении. В том числе, в альманахах «До и После» и «Третий этаж».

Книги: «Натюрморты» (Эчмиадзин, 1996); «Тебе» (Берлин, 2012).

Литературно-актерский псевдоним – AL.EX.

Публикации можно прочесть в Интернете на сайтах «СТИХИ.РУ» и «ПРОЗА.РУ».

МАРИНА ОВЧАРОВА

Родилась в Ленинграде. В Германии с 1999 г. Закончила ЛВХПУ им. Мухиной. Художник. Печатается впервые в альманахе «До и После» (№20, 2016).

ВЕНИАМИН ПАЛАГАШВИЛИ

Родился в Ташкенте. С 1999 г. года живёт в Германии.

Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Инженер-строитель.

Публикации в альманахе «До и После» (№№ 13, 15 – 20).

Книги стихов «В перевёрнутом пространстве» и «Зерно граната».

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

Родилась в Киеве. В Берлине с 1994 г. Выпускница Киевского Государственного Университета им. Т. Шевченко. Математик-программист.

Публикации: в альманахах «Берега» (№№ 1-2, 1996, 1997); «Параллели» (двухязычный, Потсдам 2001); «До и После» (№№ 1 – 20, 1997 – 2016); в сборниках «Еврейские мотивы» (2011, 2015); «Третий этаж» (2012, 2013); в антологиях русских поэтов Германии: «Ступени» (СПб., 2005), «Четвёртое измерение» (СПб., 2008).

Изданы книги: «Я не от плоти» (Сборник стихов, Берлин, 2001); двухтомник избранных произведений «Черновик чувств» и «Рисунки на песке» (Повести, рассказы, стихи, лирические миниатюры, Берлин, 2016).

МИНА ПОЛЯНСКАЯ

Живёт в Германии с 1991 г. Выпускница филологического факультета ЛГПУ им. Герцена. В 1995 г. с Игорем Полянским основала культурно-политический журнал «Зеркало Загадок» (Берлин, 1995 – 2003).

Участвовала в сборнике Сената Федеральной Земли Берлин «Das russische Berlin» («Русский Берлин», 2002). Победитель 8-го и 9-го международного Волошинского конкурса ВОПЛИ в номинациях «Лица русской литературы» и «Новейшая антология». Победитель литературного Конкурса им. Короленко, учреждённого Союзом петербургских литераторов.

Публиковалась в альманахе «До и После».

Изданы 12 книг, многие из которых посвящены Берлину 20-х годов. Среди них: «Музы города» (Берлин, 2000); «Брак мой тайный...» Марина Цветаева в Берлине (М., 2001); «Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922» (М., 2009); «Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне» (СПб., 2011).

Член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба «Zentrum Schriftsteller in Exile Deutschsprachiger Länder», член Союза российских писателей.

ЯКОВ РАСКИН

Родился в 1942 г. Долгое время жил в Израиле. В настоящее время живёт в Берлине. Закончил Металлургический институт. Работал гл. редактором журнала «Зеркало».

Публикации в альманахе «До и После» (№№ 17–20, 2013– 2016).

СВЕТЛАНА СОКОЛЬСКАЯ

Родилась в селе Лад-Балка. Закончила Кишиневскую консерваторию по классу скрипки. Музыкант и преподаватель музыки. Живёт в Берлине.

Публикации: в альманахе «До и После» (№№ 17 – 20, 2013 – 2016); «Литературная летопись» (изд. «Союз писателей», Новокузнецк, 2015); Литературно-художественный журнал «Союз писателей» (№ 3, Новокузнецк, 2016); «Созвучие муз» (альманах Международной гильдии писателей (МГП, 2016).

СТАНИСЛАВ СТЕФАНЮК

С 1995 г. живёт в Берлине. Химик, профессор, доктор наук.

Публикации: в альманахах «До и После» (№№ 5 – 20, 2001 – 2016); в семейной антологии «Искренне говорю Вам» (М., 2008), (Германия, 2005 – 2015); в антологиях «Ступени» и «Голоса» (Русские поэты в Германии, СПб., «Алетейя» 2005, 2013); «Lichtschatten» и «Контрасты» (Бранденбургский русско-немецкий сборник); «Берлинский Поэтический Листок» (издатель 2001 – 2008);

Многое, в том числе повести и драма-фантазия опубликованы в Интернете на сайтах «СТИХИ.РУ» и «ПРОЗА.РУ».

Член Союза писателей Северной Америки.

ТАТЬЯНА УСТИНСКАЯ

Родилась в Москве. В Берлине живёт с 1996 г. По профессии – горный инженер.

Публикации в литературных альманахах «До и После» и «Третий этаж».

ФЕЛИКС ФЕЛЬДМАН

Родился в г. Тирасполе. По профессии – философ, доцент высшей школы.

Публикации: в альманахах «До и После» (№№ 16 – 20) и «Созвучие муз». (Международной гильдии писателей, 2016); в антологии «Прощание с Вавилоном» (поэты русского зарубежья, «Алетейя», СПб., 2014); в сборниках «Еврейские мотивы» (выпуск второй, 2015); «55-ти словники» (№3, изд. «Союз писателей», Новокузнецк, 2015); «Литературная летопись» (изд. «Союз писателей», Новокузнецк, 2015); «Золотой томик стихов» (выпуск 1, изд. «Союз писателей», Новокузнецк, 2015); в хрестоматии «По ту сторону реальности» (Новокузнецк, 2015); Книга «Предзимняя осень» (Стихотворения, Поэма. Изд. «Союз писателей», Новокузнецк, 2016).

ВЕРА ФЁДОРОВА

Родилась в Ленинграде. С 1996 г. живёт в Германии.

Публикации в альманахе «До и После» (№№ 5 – 20, 2001– 2015).

Сборники стихов «Стихи» (СПб., 2003) и «Аннотины глазки» (СПб., 2003).

БРОНИСЛАВА ФУРМАНОВА

С 1994 г. живёт в Берлине.

Публикации: в литературном альманахе «До и После» (№№ 16 – 20, 2012 – 2016); в сборнике «Еврейские мотивы» (второй выпуск, 2015); в сборниках Российского Союза писателей «РСП Стихи 2014» т. №7; «РСП Стихи 2015» т. №1; «РСП Проза 2016» т. №1; «Поэт года 2016» т. №1; «Наследие 2016» т. №2; в антологии «Прощание с Вавилоном» (из серии «Поэты русского зарубежья», изд. «Алетейя», СПб., 2014).

Книга: «Кружева памяти» (поэзия и проза, Берлин, 2015)
С 2014 г. – член Российского Союза писателей.

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

Родился в 1932 г. в Одессе. В Берлине с 1997 г. Геолог.

Публикации в периодике США, Германии, Украины, Израиля, в том числе – в журналах «Студия», «Крещатик», «Русский глобус»; в альманахах: «До и После» (№№ 3 – 7, 9 – 13, 15 – 16, 20) и «Третий этаж».

Книга прозы «Путешествие в обратно» (Берлин, 2011).

[321]

БЕЛЛА ЯКУБОВА

В Берлине с 1995 г. Публикации в альманахах «До и После» (№№ 17 – 20) и «Третий этаж» (2012).

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

Родился в 1933 г. в Киеве. С 1997 г. в Берлине. Инженер-металлург.

Публикации: в альманахах «До и после» (№№ 3 – 20); в украинском журнале «Соборность»; в сборниках «Скрипач из гетто» (2002, 2005) и «Еврейские мотивы» (2011, 2015); «Переводы – мосты между культурами»; в антологиях русских поэтов Германии: «Ступени» (СПб., изд. «Алетейя» 2005); «Голоса» (СПб., «Алетейя» 2006); «Прощание с Вавилоном» Поэты русского зарубежья (СПб., «Алетейя» 2014); «Талисман» (СПб., «Алетейя» 2016); «Мосты» (Гамбург 2007);

Книги: Стихи и переводы с немецкого языка (Киев 1997, Берлин, 2002).



Оглавление

«Tempus Fugit» – Бег времени 5

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Леонид Бердичевский	8
Анжела Подольская	22
Бронислава Фурманова.	41
Саади Исаков	51
Феликс Фельдман	64
Константин Кербель	75
Давид Яновский	86
Светлана Сокольская	95
Олег Никогосян	103
Нора Гайдукова	111
Татьяна Устинская.	117
Михаил Эненштейн	122
Марина Овчарова	130
Игорь Коган	135
Давид Брацлавер.	146
Марина Авербух.	150
Альберт Леин	157
Яков Раскин.	161
Вера Фёдорова	174
Елена Зельгер.	184
Вениамин Палагашвили	193

ПУБЛИЦИСТИКА. МЕМОУАРЫ. ЭССЕ

Генриетта Ляховицкая	200
Мина Полянская	215
Карл Абрагам	233

Грета Ионкис	252
Леонид Бердичевский	260
Станислав Львович	269

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Феликс Фельдман.	278
Леонид Бердичевский	286
Нора Гайдукова	294
Давид Яновский	295
Белла Якубова.	306
Генриетта Ляховицкая	308
Памяти Дани Яновского	312
Авторы альманаха	315

